

Наталья
Аросева

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Документальная повесть
об отце

К 1237599

Москва
Издательство
политической
литературы
1987



ББК 66.61(2)8

A84

A $\frac{0902030000-162}{079(02)-87}$ 246-87

© ПОЛИТИЗДАТ, 1987 г.

Часть
первая

КОРНИ*



* Части повести я назвала заглавиями произведений моего отца.
(Прим. авт.)

Пьешь воду —
помни об источнике.

Вьетнамская пословица

Глава первая

Человека формируют место и время.

«Родился в Казани в 1890 году» — эти сухие начальные слова биографии Александра Яковлевича Аросева уже говорят о многом.

Казань... Жар-птицею легла у впадения речки Казанки в Волгу, уткнулась в междуречье венчанной главой. Глава эта — крепость, а венец двурогий — терем царицы Сююмбеки, жены двух татарских царей, и надвратная Спасская башня — символ двойственности всего в Казани. Ибо сталкивались в ней, узлом завязывались европейская и азиатская история, мусульманская и православная религия, национальная и классовая борьба, самая высокая культура и самая задавленная темнота.

На окраинах выросли крупные заводы. Казенный Пороховой. Европейской известности мыловаренный Крестовникова. Текстильная фабрика братьев Алафузовых. Знаменитые волжские пароходства держали здесь свои конторы и пристани. И трудились на них русские, татары, башкиры, чувашы...

Цари отправляли сюда в изгнание непокорных поляков и кавказцев. Ссылные народовольцы селились тут, женились, рожали детей, передавали им свое бунтарство, свой революционный идеализм.

Удивительным организмом был Казанский университет, один из старейших в России. Неодолимая тяга к науке и столь же преодолимая революционность издавна определяли настроение студенчества. Как сказано в одном из протоколов студенческой сходки, оно, это студенчество, «отдавало примат революционной деятельности перед академическими занятиями».

На этой благодатной почве пробился в свое время один из первых российских ростков марксизма — группа Федосеева.

Ленин, Бауман, Свердлов, Куйбышев, Киров, Горький оставили в Казани частицу своей молодости. Казани

предопределено было стать как бы подготовительным классом многих революционеров.

Таково место рождения Александра Аросева.

А время?

За девять лет до его рождения убит народовольцами царь Александр II. Царскими властями повешены Желябов, Перовская и их товарищи. Три года назад казнен Александр Ульянов с товарищами. И уже работал в самарской глуши, накапливал знания и опыт могучий гений его младшего брата — Владимира Ульянова.

Четырнадцать лет было Саше Аросеву, когда началась русско-японская война. На пятнадцатом году его жизни Россию потрясло Кровавое воскресенье и разгорелась, то притухая, то снова полыхая вовсю, первая российская революция.

Пятнадцать лет — возраст широко открытых глаз и сердец. В этом возрасте юный человек, начинающий мыслить, озирается, чтобы понять, в каком мире назначено ему жить.

В мир войн и революций вошел Александр Аросев. И этот мир вошел в него и заполнил собою всю его жизнь.

Но человека формируют еще и люди.

Александр Аросев мог бы оказаться и по ту сторону баррикад: он не был пролетарского происхождения.

Дед его Михаил был еще крепостным. Искусный мастер каретных дел, то был человек богатырской силы: однажды он ударом кулака перешиб хребет вожаку волчьей стаи, напавшей в зимней степи на его кибитку. И был он человеком великого практического ума: дал обоим своим сыновьям надежное и прибыльное ремесло. Сыновья оказались людьми одаренными и работающими. Иван стал отличным ювелиром, Яков — прекрасным мужским портным.

Со временем Яков Михайлович открыл собственную мастерскую, а там еще и магазин готового платья на главной улице Казани — Воскресенской (ныне имени Ленина). Однако натура скорее артистическая, он не обладал нужной коммерческой жилкой. Яков Аросев любил театр, музыку, тянулся к знаниям, самоучкой освоил немецкий язык, много читал и не уделял достаточного внимания делу. Мужчина красивый, он рано женился, за четверьмя сыновьями последовали три дочери...

Одним словом, через несколько лет Яков Михайлович разорился и снова, как в молодости, поступил закройщиком к своему же конкуренту. У него оказалось больное сердце, и он умер перед первой мировой войной со-рока с небольшим лет от роду.

Сыновей своих Яков Михайлович отдавал не в гимназию, а в реальное училище: программа последнего лучше вооружала мальчиков для жизни. Дочери его учились в частной женской гимназии, владелица которой, Шумкова, была настроена революционно.

Ничем не отличалась семья Аросевых от сотен других семей разночинцев, ремесленников, мелких хозяев. Что же привело ее детей, и в первую очередь старшего, Александра, в революцию?..

Другой дед Александра был прибалтийский немец. Август Гольдшmidt принимал активное участие в митавской организации «Народной воли» и был за это сослан в Пермь. Его-то дочь Мария и стала женой Якова Михайловича.

То была любовь с первого взгляда. Шестнадцатилетняя Мария Гольдшmidt уже тогда проявила свойства, не изменявшие ей всю ее недолгую жизнь. Мужественная, решительная девушка, она пошла за любимым человеком без раздумья, без оглядки — и без приданого. Ибо что мог дать ей ссыльный отец, кроме светлого и прямого взгляда на жизнь, независимого ума и глубокого чувства справедливости? Но этого он дал ей в изобилии.

Достойная дочь революционера, Мария Августовна стала достойной матерью революционера. Когда ее совсем еще юный сын пошел по этому пути, она поощряла его, ободряла, помогала ему. Старше сына всего на семнадцать лет, она всегда была ему надежным другом. Александр же любил свою мать больше всех людей на свете.

Мария Августовна сумела создать в семье атмосферу дружеского тепла. Как водится почти во всех многодетных семьях, старшие становились помощниками матери, приобретая авторитет у младших — и вместе с ним чувство ответственности за них. Это делало их самостоятельными и справедливыми, учило помогать слабейшим, впрочем, отнюдь не мешая им и поддразнивать друг друга, и прикрикивать на непослушных, и наслаждаться веселыми, шумными играми. И читать. Читать много — и вслух, для всех, и про себя.

Однажды Александр затеял с братьями и сестрами домашний спектакль, для которого он выбрал не более и не менее как... «Горе от ума» Грибоедова. Сам он, разумеется, взял себе роль Чацкого. Софью должна была играть старшая из сестер — пятилетняя Августа, «Гусынька». Выучили текст, смастерили декорации, занавес. Собралась публика — взрослые родные и знакомые. Спектакль начался. Уже дошли до реплики Чацкого: «Чуть свет — уж на ногах! и я у ваших ног» — тут-то и случился конфуз, о котором потом рассказывали детям и внукам. «Софья» как-то мялась, жалась и вдруг брякнула во всеуслышание: «Шуничка*, я хочу пи-пи!»

Справедливости ради скажем тут же, что это кошмарное событие раннего детства не помешало Августе Яковлевне Аросевой-Козловой стать превосходной актрисой и воспитать для этой же профессии сына своего, Игоря Козлова.

Чувство дружеской семейной спайки Александр перенес впоследствии и на своих товарищей.

Революции 1905 года предшествовало — и следовало за ней — многое, в сущности, вся история России, а в последнее время — образование партий, деятельность подпольных кружков, заграничные центры, съезды, брожение среди интеллигенции, растущее самосознание рабочих, крестьянские бунты, демонстрации, забастовки, несчастная война...

Все это отразилось и на семье Аросевых. Отец, Яков Михайлович, был, правда, настроен против революции. Понимая цели ее несколько примитивно, он не верил, что малограмотный народ будет способен управлять страной. Но он настолько обладал чувством реальности и справедливости, что понимал тяжелое положение рабочих и считал необходимым соглашаться на их требования, например о повышении оплаты и т. д. В его портновской мастерской трудилось 10—12 человек, подавляющее большинство из них считало себя социал-демократами. Однажды, когда осенью 1905 года решался вопрос о забастовке, один из рабочих сказал Якову Михайловичу в лицо:

«Мы, конечно, скотина незлобивая, мы снисходительные. Вот, например, все это — и ваш магазин, и ваша

* Так в семье ласкательно называли Александра. (Прим. авт.)

квартира, — все это наше, а вы сидите здесь из-за нашей любезности. А ведь мы могли бы и попросить вас того... Конечно, мы вежливые...»

Забастовка длилась неделю и окончилась полным успехом.

В противоположность мужу Мария Августовна как-то сразу была захвачена революционным движением. Вскоре аросевская квартира превратилась в своего рода клуб, где часто собирались левые интеллигенты, студенты — преимущественно эсеровского толка. Засиживались допоздна, говорили, спорили, пели... Наслушавшись об экспроприациях и терроре, Александр собрался бежать в Москву — участвовать в революционных событиях. Но тут попался ему навстречу один знакомый гимназист и спросил, не хочет ли Александр записаться в боевую дружину эсеров. Еще бы не хотеть! Это ведь будет почище, чем обычные драки реалистов с гимназистами на берегу Булака, в которых Александр весьма отличался. Тем более что годом раньше дед Август подарил внуку... револьвер системы смит-вессон!

Воскресенская улица, прямая, как просека в лесу, проходит по гребню длинного кряжа, на мысу которого, над речкой Казанкой, высится крепость. Переулки, отходящие от Воскресенской в обе стороны, все спускаются под горку, к параллельным улицам, которые лежат значительно ниже. Сама же Воскресенская, словно река перед плотиной, расширяется перед крепостной стеной, образуя площадь, и тоненьким ручейком вбегает в щель «плотины» — в Спасские ворота крепости. На правом берегу площади — здание городской думы (ныне городского Совета). А рядом с думой — дом, где в 1905 году находились квартира и мастерская Аросевых. Напротив окон мастерской, посреди площади, торчал бронзовый памятник царю Александру II.

В противоположном конце Воскресенской стояло — и сейчас стоит — невысокое и длинное, с белыми колоннами, голубоватое здание Казанского университета.

Саша бежал к университету — сегодня, 16 октября 1905 года, отсюда должна была двинуться демонстрация. Саша опаздывал: никак не мог отвязаться от младших братьев, вцепились как клещи, возьми да возьми с собой! Пришлось как следует цыкнуть на них.

Он был уже на середине Воскресенской, у пассажа, когда от университета повалил темный вал. Пошли! Но что это? Почти одновременно сзади словно горохом по стеклу: цоканье копыт! Саша обернулся: из крепости выскакали казаки.

Это было грозно: вал надвигается, неотвратимый, темный, и скачут, скачут навстречу ему черные всадники, сейчас разобьются об этот монолит...

Казаки столкнулись с демонстрацией у самого пассажа. Не в силах бежать, не в силах крикнуть, охваченный тошнотворным чувством жути, Саша видел, как распался темный вал, и люди, люди, только что словно спаянные в единый монолит, побежали врассыпную. А казаки с непонятной яростью гнали их, теснили лошадьми, хлестали нагайками. Пробежал мимо Саши гимназист, за ним скакал остервенившийся кентавр. Взмах руки с нагайкой был молниеносным, глаз не уловил его, казалось, гимназист споткнулся — вскинул руки — плашмя упал на тротуар. Кентавр уродливой тенью промчался дальше.

Свалка приблизилась и пронеслась. Люди, люди, кони, кто-то падает, мелькают напряженные руки, лица, лошадиные хвосты... Когда поток пролился дальше, от него, подобно грязной луже, осталось напротив трое верховых: прижав к забору пожилую женщину, они хлестали и хлестали ее нагайками. Саша дрожал, но не мог отвернуться, он видел, как слетела шляпка женщины и рассыпались седеющие волосы, она стояла, прижавшись лицом к забору, потом стала медленно оседать, сползать — упала под ноги коней комочком мягкого тряпья...

Улица опустела. Саша будто просыпался после кошмара. С той минуты, как он приник к колонне пассажа, он не слышал ни единого звука — все происходило словно в кинематографе, когда молчит тапер.

Поперек тротуара ничком лежал гимназист, и голова его свешивалась в канаву.

«Ему так неудобно!» — мелькнула у Саши нелепая мысль, он бросился поправить, присел на корточки, подсунул руку под грудь гимназиста. Тот не шевельнулся.

«Наверное, сознание потерял. Какой тяжелый! Будто мешок, набитый землей...»

Перевернул с усилием податливое тело — упруго откинулась рука, чуть не ударив Сашу по лицу, а голова затылком стукнулась о край тротуара.

— Убит? — спросил кто-то, и Саша, не удивившись, обернулся: сзади стоял Макарыч, пожилой рабочий из мастерской отца.

— Убит, — утвердительно сказал Макарыч, наклонившись к лицу гимназиста. — Ай, что делают!

Саша побледнел. Как же так! Этот мальчик только что, вот пять минут назад — или пять часов? — бежал, спасаясь от кентавра, и просто споткнулся..

— Как... убит? Ведь не стреляли? — не своим, каким-то противным голосом выговорил он.

— А нагайкой. Вот, — Макарыч подвел широкую ладонь под затылок мертвеца, приподнял свинцовую голову. — Видишь на виске?

От корней волос до закрытого глаза была содрана кожа, кровь уже засохла и начала чернеть.

— Вон там еще лежит... — Саша инстинктивно отставил руки — трогал мертвого! — и пошел на ватных ногах на ту сторону улицы, где лежала пожилая женщина. Макарыч, пристойно уложив тело гимназиста, тоже пошел.

— Нет, эта жива... Дышит.

Вдвоем они приподняли женщину, посадили ее к забору. Макарыч поправил ей юбку, задрывшуюся до колен и открывшую полные ноги в высоких шнурованных ботинках. Вглядываясь в ее распухшее, мокрое лицо, Саша растравлял себя, представляя на месте этой женщины собственную мать, молодую сероглазую маму с ее волнистыми, рано седеющими волосами.

— Ну, ничего, ничего, — бормотал он, сам себя не слыша. — Ничего, завтра мы отомстим... Ох как отомстим!

На завтра, на 17 октября, было назначено вооруженное восстание, и Саша знал об этом. И знал он, что теперь-то, после такого потрясения, он будет, он просто обязан быть в рядах повстанцев — вот где пригодится подарок деда!..

Время остановилось. Жило и руководило действиями одно: стрелять. Только когда кончились патроны, рассеялся несколько угар, туманивший голову.

Бой шел уже не с той яркой силой, как вначале. Ливень пуль поредел — как дождь, который перестает. Щелочки тишины расширились. Постепенно отходила глухота.

В глубине пассажа, посреди круглой площадки под стеклянным куполом, архитектор возвел для чего-то сложную скульптурную группу. Вдобавок она была позолочена, и в рассеянном свете, падавшем сверху, тускло поблескивали воздетые руки и запрокинутые подбородки каких-то символических существ. Вокруг этой группы толпились сейчас дружинники, слушали какого-то семинариста из учительской семинарии, что напротив пассажа.

— ...У нас уже вся лестница завалена, — тяжело дыша, рассказывал тот; он то и дело вынимал скомканный платок и так, комочком, вытирал пот, все время выступавший у него на лбу.

— Вся лестница завалена камнями, мы и сами теперь спуститься не можем, только через окно. Зато солдатам до нас не добраться! Как сунутся — а мы их камнями! Ждали мы с самого утра, ждали — ничего. Смотрим с нашей верхотуры, а улицы-то оцеплены. Ну, думаем, значит, нам начинать — бросили бомбу, слышали, как ахнуло? Ну и заварилось... Сейчас положение такое: в наших руках три точки на Воскресенской — вы в пассаже, мы в учительской семинарии да еще в университете. А по окраинам ведут бой рабочие! В общем, слоеный пирог: нас осаждают казаки, а их осадили рабочие. Может, прорвутся к нам... Так что держитесь!

Спустился ранний осенний вечер. Стрельба совсем затихла: войска перестали отвечать на огонь. Дружинники настороженно вслушивались в тишину: что замышляет враг?

Саша сидел на каменном полу, привалившись спиной к стене. Он сосредоточенно думал: что же это такое в сущности происходит? И что такое вершится в его душе, такое огромное и неведомое, от чего захватывает дух?

И вдруг он ощутил гложущий голод. Вспомнил — с утра ведь ничего не ел. Ах стыд какой — тут революция, а он о еде.

Совсем стемнело. Фигуры дружинников вырисовывались черными тенями. В глубине пассажа, в одной из лавчонок, печально мерцал красноватый огонек свечи — там заседал штаб дружины.

Саша совсем изнемог от голода и стал засыпать...

— Победа! Победа! Ура!

Нет, это не во сне: Саша чувствует, как давит на

плечо и бедро каменный пол, как занемела шея и холод змейками расползается по телу, а кто-то все кричит:

— Победа! Вставайте!

Вставали, встряхивались, зарождался гомон, а было еще темно: длинные октябрьские ночи. Красноватый огонек в штабе осветил ошалелые, мятые, счастливые лица. Саша не успел еще проникнуться ликованием и только предчувствовал нечто необычайно для себя приятное, как его схватили, сжали, горячо зашептали в ухо:

— Шуничка! Шуничка!

— Мама! Погоди... Как ты здесь? Что случилось?

— Победа! На улицах расклеивают царский манифест! Войска и полиция отведены в казармы, сражаться не с кем! Свобода!

— Товарищи дружинники! — крикнул, встав на ящик, невысокий кудлатый человек в какой-то немыслимой рыжей пелерине. — Расходитесь! А с утра все — к думе, на митинг!

Поспав дома часа три, Саша проснулся с великолепным ощущением, что он действительно герой, уже не в мечтах, а на деле. Открытые глаза и рты братьев и сестер, сияющее лицо матери и настороженно-пытливый взгляд отца вознесли его высоко. Не знал он тогда еще — то, что они приняли за свою победу, было всего лишь следствием нерешительности губернатора Казани Хомутова. Получив накануне текст царского манифеста, губернатор, не поверив непривычным словам этого документа, решил придержать его до выяснения. И в результате в Казани манифест появился сутками позже, чем в других местах, то есть не 17, а 18 октября 1905 года. Не пошел еще гулять по России насмешливый куплет:

Царь испугался, издал манифест:
Мертвым свободу, живых под арест!..

Саша вышел из ворот и тотчас попал в чьи-то объятия: незнакомый человек в шляпе троекратно, как в светлое воскресение христово, приложил к его лицу жесткие усы, пробормотал умиленно:

— Поздравляю! С конституцией!

— Поздравляю! С конституцией! — то и дело слышалось на улице, вчера такой пустынной и трагичной. Многие целовались.

В двух шагах от дома стояли трое рабочих отцовской

мастерской и о чем-то тихо разговаривали. В памяти Саши со внезапной отчетливостью всплыла вчерашняя картина: да он же видел их в пассаже, всех троих, и демонически красивого Преснякова, и краснолицего Семенова, и черного немолодого Макарыча. Ну да! Видел их в толпе, слушавшей рассказ семинариста, но этот образ был тогда загорожен другими и лишь теперь выплыл на поверхность.

— Здравствуйте, товарищи!

— Здорово, брат!

Пресняков как равному пожал ему руку, и Саша понял, что и они заметили его вчера. Ух ты!

— И вы к думе? — спросил он голосом, срывающимся от великого счастья.

— И мы. Там, слышать, речи, речи...

В этих совсем обыкновенных словах Семенова пряталось жало насмешки, и Саша тоже заранее настроился иронически: говорить-то легко, а попробовали бы с оружием в руках...

Дума заседала в зале, битком набитом публикой. Такого еще не бывало — чтоб заседания шли принародно! Люди теснились вокруг длинного стола, за которым сидели депутаты. Только человек на председательском месте не сидел, а стоял. У него было красивое смуглое лицо, черная аккуратная бородка. Это был самый левый из депутатов, Осип Мандельштам, естественно ставший теперь во главе думы. Звучным голосом он вдохновенно говорил о роли интеллигенции в революции, и по тому, как он говорил, видно было, что он высказывает заветные, любимые мысли, которые долго берег и лелеял и теперь отдавал людям как дар.

Он кончил и сейчас же сам объявил, что слово принадлежит большевику Кулеше.

С подоконника прыгнул и протиснулся к столу высокий рябоватый человек в черной меховой шапке. Сдвинув шапку на затылок, он заговорил:

— Позволю себе напомнить уважаемому предыдущему оратору один пустяк, — он улыбнулся задорно, насмешливо, — а именно, что помимо интеллигенции существует такая штука, как пролетариат, и что этот самый пролетариат в современном обществе есть именно тот класс, на котором зиждется вся экономика. Более того, пролетариат — единственный до конца революционный класс, и только он, господа, только этот забытый и недооцененный вами класс способен увлечь за собой в револю-

цию и крестьянство, и даже столь вам любезную интеллигенцию! Вы, господа либералы, меньшевики и эсеры, празднуете победу, вы создали миллионную комиссию, пытаетесь не дать рабочим оружие. Но революционному народу остается решить много серьезных боевых задач, и мы, большевики, призываем разоружать полицию и вооружить народ!..

С тех пор как он проснулся в пассаже под крики «Победа!», Саша постоянно находился в блаженно-счастливом состоянии. Хотелось праздновать свое геройство. Выйдя на улицу, он нос к носу столкнулся с товарищем по реальному училищу, Николаем Мальцевым. С ним был незнакомый студент-ветеринар.

— Аросев, айда с нами фараонов разоружать! — крикнул Николай.

— С удовольствием! — Это предприятие обещало продолжение подвигов.

Их встретил рыжеватый, с очень белым и холодным лицом полицейский офицер. Он вежливо встал — оказался слишком высоким для крошечного темного кабинета — и отрекомендовался с таким видом, будто принимает мальчишек всерьез:

— Пристав шестой части Васильев. Чем могу служить? Оружие? — Рыжие брови удивленно поднялись. — Помилуйте, господа, разве у полиции есть оружие? Обыщите всю часть — сам буду рад, если найдете хоть что-нибудь кроме ржавой «селедки»! Верите ли, нас уже уголовники не боятся. Сколько я прошений исписал относительно оружия — как об стенку горох. Проклятые чинуши тормозят где-то. Так что рад бы служить, для революции, поверьте, готов на все, но... — он картинно развел руками.

Так и ушли несолоно хлебавши три идеалиста. Выйдя на улицу, студент махнул рукой и, злясь на себя, буркнул:

— Ведь врет этот рыжий, и мы отлично знаем, что врет, а молчим — стесняемся. О, проклятое интеллигентство!

На другой день хоронили — со знаменами, с оркестром — павших повстанцев. Густые толпы неторопливо двигались за город, к Арскому кладбищу, и все время — по дороге и над братскими могилами — звучали речи, речи, речи...

Саша стал уставать от речей. С утра до ночи с балкона городской думы говорили, говорили. Неважно было, о

чем. Пьянила сама возможность вот так, любому человеку, выйти из толпы и заговорить о чем угодно. Пьянило, что так много людей выходит на улицу, будто в праздник. Пьянило, что можно невозбранно слушать и выкрикивать запрещенные слова.

Долой самодержавие!

«От этого всеобщего опьянения никто не замечал, как под покровом новой власти зреют темные силы,— напишет впоследствии Александр Аросев.— И неудивительно. Ведь складывавшаяся было казанская коммуна повторяла шаг за шагом ошибки Парижской коммуны. Демократические предрассудки, широчайшие представления о свободе мешали настоящему революционному творчеству, и именно в момент наиболее критический.

И за эти демократические предрассудки мы тогда жестоко поплатились».

Три дня длилось упоение победой. А 21 октября началось. Сначала будто бы мирная контрманифестация монархистов, с иконами и портретами царя. Депутат думы, Михайлов-Двинский, просил митингующих не препятствовать этой манифестации: «Как же! Свобода! Они тоже имеют право!» Черносотенцы, естественно, ободрились и, расширив свои ряды за счет лавочников и нанятых босяков, выдвинув вперед татарских мулл, обрушились на тех, кто праздновал «свободу»,— обрушились с камнями, балками, рельсами... Надсадный вопль «Бей жидов!» стоял над площадью—классический боевой клич всякой реакционной швали. И первым разорванным толпой был тот самый Михайлов-Двинский, который столь прекраснодушно признавал за реакцией право на манифестации...

А потом из-за спин беснующихся босяков появились солдаты. Начался обстрел думы. Губернатор Хомутов перешел к действиям.

Здание думы боковой стеной выходило в аросевский двор.

Через окно в этой стене стали вылезать осажденные в думе повстанцы. Александр вместе с Марией Августовной наладил их спасение—двор через дровяной сарай сообщался чем-то вроде подземного хода со Вшивым переулком на задах, через него-то и выводили спасенных. Но скоро солдаты заняли и Вшивый переулок. Не успели вывести человек десять. Их Мария Августовна—с согласия мужа—укрыла в мастерской под видом рабочих.

До темноты тянулась перестрелка. В десять вечера осажденные сдались. Три дня в городе шли погромы. Наконец, иссякнув, улеглась звериная ярость черной сотни.

Буря удалялась, слабея, оставляя после себя все поломанным, исковерканным, измученным...

Глава вторая

Пароход прощально гудел, как будто все не решался отвалить от деревянной пристаньки. Сверху, с крутого лесистого берега, он казался маленьким среди широкой, враждебно темной Камы. Александр почувствовал симпатию к пароходу: сам он тоже был одинок в чужой стихии, и от этого делалось зябко.

Вечерело. На всем лежал сиренево-розовый свет. Сосны над обрывом стояли как изваяния: стволы из жаркой бронзы, хвоя — холодный изумруд. Казалось, концы иголок накалились и сейчас пышные кисти сосен вспыхнут с треском, как на костре...

Саша вздохнул, повернулся и пошел по песчаной дорожке в глубь леса.

Стояло лето 1906 года.

Зима прошла в непривычных заботах. Еще в ноябре Александра исключили из училища «за участие в беспорядках», правда, с правом поступить снова, если сдаст особые экзамены.

Он было обрадовался: конец учебе, можно полностью отдаться революционной деятельности! Но тут его встретил одноклассник, серьезный юноша Вячеслав Скрябин. С этим Вячеславом Саша как-то подрался еще в первом классе: учуял его спокойную силу и вознамерился над ней восторжествовать. Торжества не получилось, поединок окончился вничью, и с тех пор противники подружились.

Скрябиных было четыре брата. Они приезжали в Казань из родного Нолинска учиться в реальном и снимали комнату в доме старушки Капитоновны на Георгиевской улице. Все четверо были изрядные музыканты и порой по вечерам играли квартетом: скрипки, виолончель, пианино. Музыкальная одаренность братьев прекрасно сочеталась с весьма революционной настроенностью.

Этот-то Вячеслав и усовестил Александра, когда тот решил отказаться от реального.

— Ну и глупо,— коротко бросил он, выслушав товарища.

— Почему? — искренне удивился Саша.

— Потому что, сознайся, просто ленишься.

— Послушай, ты все-таки думай, что говоришь! — вспыхнул Александр, в глубине души вдруг осознав правоту Вячеслава. — Сейчас не время думать о себе, когда революция разгромлена, и революционер обязан...

— Революционер обязан иметь авторитет, иначе грош ему цена.

Больше Вячеслав не сказал ничего, но Александр задумался. Задумался и засел за учебники.

Экзамены он сдал без труда и снова поступил в тот же класс, из которого был исключен. И, помня слова Вячеслава об авторитете революционера, учился на совесть. Все же свободное время он проводил в портновской мастерской отца, где стал вполне своим человеком.

Он воображал, будто пропагандирует рабочих: читал им беллетристику, политические брошюры, затевал споры. Рабочие относились к нему дружески. Он твердо знал это и только потому не чувствовал себя несчастным, когда с ним не соглашались. Андрей Пресняков смотрел на него добрыми глазами, но как только Саша начинал читать Пешехонова* или рассуждать о крестьянской общине, прекрасные глаза Преснякова моментально становились насмешливо-колючими, как будто говорили: пошел барчук врать, чего сам не знает. Макарыч, тот не насмешничал, тот огорчался, и взгляд его прищуренных черненьких глаз словно с сожалением выговаривал: эх, брат, не туда ты загнул. Саша терял уверенность под этими взглядами и остро чувствовал свою незрелость.

Как-то пятнадцатилетний мальчик-дневальный в мастерской, показав прокламацию с девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», совершенно поставил Сашу в тупик, так прокомментировав этот лозунг:

— Вот как наш брат пролетарий объединится, что тогда будет? Вот это оно самое главное и есть! Понимаешь, всех стран — и один только пролетарий! Тут и прокламации даже нечего писать, тут, понятно, жизнь

* Пешехонов А. В. (1867—1933) — публицист, статистик, политический деятель. С 1904 г. сотрудничал в либерально-буржуазных журналах и эсеровских газетах.

сызнова, по-другому начнется. Нам и не надо никаких программ, лишь бы соединиться, а потом все само пойдет!

А потом в мастерскую пришел тихий невзрачный человек в стареньком пальтишке. Прислонившись спиной к жаркой печке, он объявил, что прислан социал-демократами, поскольку стало известно, что здесь агитирует кто-то из эсеров. Саша, сидевший на портновском катке с книжкой в руках, покраснел от удовольствия: стало быть, его принимают всерьез, раз прислали для спора с ним взрослого человека!

Эсдек незамедлительно посадил Сашу в глубокую калошу, до того глубокую, что уж рабочие сжалились над ним, перестали на него смотреть. А эсдек в общем задал один только вопрос. После горячей, но бессвязной речи Саши он тихо, застенчиво улыбаясь, спросил:

— Вы так страстно защищаете эсеров — не потрудитесь ли изложить нам, хотя бы кратко, ваше отношение к аграрному вопросу?

Саша не знал, что такое «аграрный», но все-таки стал что-то говорить, путаясь и повторяясь. Послушав немного, эсдек перебил его:

— Не будем спорить, вы, по-видимому, не читали аграрной программы социалистов-революционеров.

И Саша понял: мало чувствовать в груди какое-то раздражающее жжение, мало даже стрелять в полицейских, — чтобы делать революцию, надо многое и твердо знать.

Этот почти уже юноша — в мае Саше исполнилось шестнадцать лет, — с толстым носом, с ежиком чёрных волос над широким лбом, с небольшими, серыми — в мать — глазами, обнаруживал в характере своем необыкновенное упрямство. Он упирался и стоял на своем, даже если видел, что неправ. Когда иссякали аргументы, он воздвигал между собою и противником непробиваемую стену своего упрямства. Так было и с его эсерством. Не зная еще ничего об этой партии, в упоении от звонкого названия, от будоражащей стрельбы в пятом году, он объявил себя эсером — и только после этого упорно стал искать доказательства того, что эсеры революционнее эсдеков. Уперся он тем более, что Вячеслав Скрябин, серьезности которого Александр втайне завидовал, очень определенно объявил себя эсдеком. И тем более, что социал-демократом оказался сосед Скрябиных, Виктор Тихомирнов, учившийся в том же реальном, но

классом старше. Сторону Александра принял из близких товарищей только его одноклассник Николай Мальцев — легкий, шутливый, взбалмошный, как апрель. Легковесность единомышленника уязвляла Александра.

Аграрный вопрос! Таинственная община, эта загадочная «ячейка социализма», давала пищу для всяческих умозрений. В самом деле, чего хотят социалисты? Чтобы средства производства стали общими. Земля — тоже средство производства. И если существует община, сообщество крестьян одной деревни, то чего же лучше? Вот и начало, вот естественная ступень для социализации земли! В той литературе, которая до сих пор служила Александру путеводной нитью, ничего не говорилось ни о расслоении крестьянства, ни о закабалении бедных крестьян богатыми...

Александр решил все увидеть сам. Он упросил капитана Крохина, женатого на его родной тетке, взять его на пароход — и отправился в самостоятельное исследовательское путешествие. Вот почему он шагает теперь по незнакомой песчаной дороге, среди незнакомого леса в незнакомую, никогда не виденную деревню. Над его головой полоса сиренево-розового, уже темнеющего неба рассекала черную плоть леса. Саша шел и декламировал в такт своим шагам:

— «Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячее, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жадной свободой, светом!»

И что-то горячее чувствовал в своей груди этот мальчик, будто впрямь капля соколиной крови брызнула ему на сердце.

Он даже под пытку не сознался бы в таких ощущениях, даже ближайшим друзьям, но он знал, что все они временами переживают нечто подобное. Да, и легкомысленный Николай, и сумрачный большелобый Вячеслав, и румяный красавец Виктор Тихомирнов втайне, как слабость, переживают временами такой же восторг. И оттого что Саша знал это, товарищи делались ему роднее, ближе. Но говорить об этом было невозможно, как невозможно целомудренному человеку рассказывать о том, что он испытывает к любимой женщине.

Уже погасло небо и стерлись краски, оставив мир черным и серым — как в кинематографе, — когда мельк-

нул за редееющими стволами красный, будто заплаканный огонек. Лесная деревня открылась на прогалине темными пятнами изб, собачьим брехом, гибнущим в глухоте ночи, и дымным запахом жилья. Саша постучался в первую избу и скоро сидел на лавке, привалившись спиной к круглым бревнам стены, и потягивал из глиняной крынки чуть горьковатое молоко.

Старик, открывший ему дверь, был очень стар — про таких говорят: бог забыл. Лицо его было, как кора осины, — серое, с черными узорами морщин, а борода уже прозеленела. Холщовая рубаха, как на вешалке, висела на широком костяке. Почесывая спину странно вывернутой в локте мосластой рукой, старик близоруко щурился на мальчика. Тихо потрескивала лучина, освещая только пустой, ничем не покрытый стол, зеленую бороду хозяина да румяное лицо искателя истины, которое то и дело заслонялось глиняной крынкой, подносимой к губам.

— Стало быть, хочешь поглядеть, как крестьяне живут, — говорил старик удивительно красивым русским языком, неторопливым и выразительным. — Дело нехитрое: все мы тут, — он выложил на стол обе руки ладонями вверх, и были эти ладони, как корявые лодочки, какие мальчишки вырезают из коры. — Весь мир, внучек, кормим, а сами...

Он устало помахал рукой и замолчал, задумался.

— Я знаю, сейчас очень... несправедливо устроена жизнь, а как сделать лучше? — допытывался Саша.

Луч оживления вспыхнул и тотчас погас на столетнем лице, замшелые глаза с недоверием оглядели мальчика и опустились.

— А лучше только там будет, — просто и грустно проговорил старик, чуть приподняв к низенькому потолку неразгибающуюся ладонь.

Саша решил подойти с другого конца.

— Ну вот скажите: община — это хорошо?

— Община-то? — старик загадочно и, как показалось, насмешливо улыбнулся. — Община кому мать, кому мачеха...

— Как так? — не понял Саша.

— А так: кто богат, тот и хват, а бедный — что грош медный.

— Ну а если, — с загоревшимися глазами настаивал Саша, — если община возьмет да и разделит землю поровну между всеми?

— Э-эх, молодо-зелено,— печально усмехнулся дед.— Это, внучек, сказки такие рассказывают. Ты им не верь. Не будет того никогда.

— А если все-таки будет?

— Если будет,— медленно, будто всматриваясь в неведомое, ответил дед,— все одно людская скверность все перепутает. Вот ведь спокон-то веков земля вольная была и люди вольные. А что они с этой самой волей сделали! То-то...

Саша сник. Он все меньше и меньше понимал в этом запутанном «аграрном» вопросе. Из разговора со стариком выходило, что то, что ему представлялось правильным, здоровым стержнем,— община — тоже было плохо. И никак не хотел этот зеленобородый старик подсказать ему, что же надо-то...

— А вообще,— неожиданно промолвил звенящим голосом старый,— дай ты нам только ее, землю вольную, уж мы управимся. Мы распорядимся.

Саша встрепенулся, но не успел уловить выражения, с каким были сказаны эти слова: старик уже отвел глаза и, почесывая грудь через разрез рубахи, проговорил обыкновенным, тусклым голосом:

— Положить тебя на сеновале? Нынче тёпло...

— Да вы не беспокойтесь, я с удовольствием, я на сеновале,— заторопился Саша.

Нет, ничего не успел он толком выяснить для себя. На следующее же утро произошло то безобразное, что долго потом тревожило его по ночам, от чего он просыпался с колотящимся сердцем.

Ранним утром высыпали из лесу казаки, окружили деревню, как неприятельский лагерь. Казачий есаул, brave, черноусый молодец, выскакал, красуясь на рыжем донце, на середину травянистой деревенской площади. А по дворам уже поднимались бабьи вопли, кудахтанье кур, бешеный лай собак. Мужиков сгоняли на сходку.

Саша проснулся. По шуршащему, пахнущему мышами прошлогоднему сену, измятый и сонный, с сеном в волосах и на одежде, он подобрался к слуховому оконцу. Площадь лежала прямо перед ним. Если бы есаул повернул своего донца, он мог бы свободно увидеть Сашу — малы были расстояния в лесной деревне.

Мужики, подгоняемые казаками, брели на площадь.

— Все? — высоким голосом осведомился есаул.— Еремеев, построй и отсчитай каждого десятого!

Из истории Рима Саша знал о децималиях. Он понял, что сейчас случится что-то недоброе. И снова то же тошнотворное предчувствие неотвратимого, какое он испытал прошлой осенью при виде надвигающегося вала демонстрантов, охватило его. Ему захотелось бежать. Бежать, стать невидимым — и самому ничего не видеть. Но он тут же устыдился слабости. «Хорош революционер... Нет, ты смотри и запоминай — будет, будет когда-нибудь народный суд, и станешь ты тогда грозным свидетелем, а может быть, и мстителем...» Он открыл глаза.

На середине площади жалось несколько мужиков. Остальное население деревни, оттесняемое казачьей цепью, серым войлочным поясом обрамляло площадь.

— Начи-най! — нараспев скомандовал есаул.

Двое казаков схватили одного из мужиков, что топтались посередине, растянули на земле. Один казак задрал ему рубаху на голову и сел на его вытянутые темные руки: открылась белая костистая спина. Другой казак прижал коленом ноги мужика, одновременно дернув на бедра его худые портки. Подошли еще двое казаков — и закачались, мерно, поочередно взмахивая руками...

Саше вспомнилась простая игрушка, которую давно как-то подарила ему крестьянка-бабушка: грубо вырезанные из дерева фигурки мужичка и медведя с топориками. Потянешь за узкие дощечки, к которым прикреплены фигурки, потом сдвинешь их — мужичок и медведь закачаются, вперед-назад, вперед-назад, так же бесчувственно, так же деревянно, как и эти два казака: вперед-назад, вперед-назад...

Мужик сначала крепился. На белой его спине будто ребенок начертил беспорядочно красным карандашом. На каком-то ударе он не вытерпел — взвыл, дернув головой, и, уже не переставая, кричал дурным, истощным голосом. Есаул улыбался.

Кончилось. Мужик не встал. Тогда принесли ведро, выхлестнули воду на обмершего. Тот пошевелил руками, уперся ладонями в землю, приподнялся. Застонал, медленно встал на четвереньки. Это медленное, судорожное какое-то собиранье человека было ужасно, еще ужаснее, чем сама порка; будто раненое животное...

Мужика подхватили под руки, повели-поташили к безмолвной серой толпе. Толпа приняла, поглотила, укрыла полуживого человека. А у ног есауловой лошади растянули следующего.

Саша бросился вниз. Во дворе на завалинке сидел вчерашний старик. Видно, по возрасту освободили его от зрелища порки. Он сидел, сложив на палке корявые руки и уперев в них лоб. Казалось, спал.

— Дедушка, что же это такое? — с тоской спросил Саша.

Старик медленно, очень медленно поднял голову, и мальчик увидел, что все черные морщины-узоры на его сером лице полны слез.

— Вот тебе, внучек, и ответ, — глухо, будто что-то стояло у него в горле, проговорил старик. — Плетью обуха, видать, не перешибешь. А ты ступай-ка лучше, пока по домам не пошли, от греха подале...

И Саша, такой самолюбивый и обидчивый, никакой обиды не почувствовал. Не разумом, не мыслью, а каким-то чутьем он понял, что он, городской мальчик, в самом деле лишний тут сейчас, когда пришла беда к этим серым, многотерпеливым людям. Не любит человек показывать чужому свою боль — это глубоко целомудренное чувство понял Александр. Быстро собрал он свою котомку и пошел к пристани, чтоб захватить на обратном рейсе пароход своего дяди Крохина.

Он шел тем же лесом, что и вчера, теперь лес стоял веселый, пронизанный солнцем. Но так отвратительно было на душе, так это не соответствовало солнечному лесу, что он не замечал его красоты. Все старался понять: кто виновник этого ужаса? Кто позволил тому есаулу ворваться в чужую деревню и перепороть незнакомых ему людей, чьими именами он даже не поинтересовался? Ведь есаул не мог питать к ним никакой личной вражды. Он не был в гневе, он даже улыбался. Кто же послал его? Царь? Но царь не знал ни есаула, ни деревни...

И Саша силился представить себя на месте поротых: какое ощущение бессилия, попал в руки, не вырвешься, нарочно держат, чтоб нарочно причинить боль, страшную, невыносимую, и ты бессилен против насилия. Насилие! Почему эти казаки так властны над телами этих мужиков?

Господи, какой ужас!..

То, чему свидетелем оказался Саша, был мелкий отплеск той волны расправ, которая прокатилась по Казанской губернии весной и летом 1906 года. Как и всегда, деревня всколыхнулась с некоторым опозданием: брошенный в городе камень уже ушел на дно, и сомкнулась

над ним вода, а круги, разошедшиеся от него, только еще достигли берега. Уже и Московское декабрьское вооруженное восстание было подавлено, когда на Волге забунтовали мужики. Были случаи погромов и поджогов помещичьих усадеб, волостных управ, побили кое-кого из урядников. Тогда казанский вице-губернатор Кобеко направил по деревням карательные казачьи отряды. Скоро известия о зверствах карателей разнеслись всюду. Казаки на рысях врывались в бунтующие деревни, стреляя налево и направо, несколько человек повесили, в мирных деревнях ограничивались поркой. Имя Кобеко приобретало кроваво-черный цвет.

Саша вернулся в Казань, взбудораженную «подвигами» усмирителей. Но произошло какое-то неуловимое, хотя и очень резкое изменение в атмосфере; еще прошлой осенью немыслимы были вице-губернаторские «подвиги», и уж во всяком случае они вызвали бы немедленно протесты, стачки, манифестации, а сейчас гнетущая какая-то сила будто сковала людей. Они чувствовали свое бессилие — и только с ужасом и злобой передавали друг другу вести о новых и новых бесчинствах кобековских банд. Люди скрытно копили ярость и боль, которым нельзя было в ту пору открыто вырваться наружу. Копили силы, ослабленные разгромом восстаний.

На другой день после возвращения в город Саша встретил на улице Виктора Тихомирнова.

— А, ты вернулся, это хорошо, — каким-то рассеянным тоном, будто думая о чем-то важном и вовсе не удивившись тому, что Александр явился значительно раньше предполагаемого срока, сказал Виктор. — Завтра точно в восемь будь у меня — очень нужно. Придешь?

— Конечно!

Дом потомственного почетного гражданина Казани Тихомирнова стоял на Георгиевской улице. То был добротный, старой постройки, просторный по тем временам особняк с большим залом окнами на улицу, со множеством комнат и комнатушек, пристроек и надстроек, со двором и садом. Ушедшие поколения этой семьи были староверами, и дух сопротивления властям предержащим издавна царил в этом доме.

Старший сын, Николай Тихомирнов, студент Лесного института в Петербурге, был уже членом РСДРП, старшая дочь, Зинаида, тоже заявила себя марксисткой. По

их стопам пошел и реалист Виктор. Это был красивый, но болезненный юноша — румянец на его щеках говорил о слабости легких, а из-за какого-то дефекта его глазные яблоки непрестанно чуть-чуть покачивались из стороны в сторону, словно Виктор все время глазами говорил «нет, нет».

У Виктора была своя комната на втором этаже пристройки, с отдельным входом по лестнице прямо со двора, что оказалось весьма удобным для нелегальных занятий.

В этом-то доме зародилась, окрепла и разрослась впоследствии революционная ученическая организация Казани, в комитет которой вошли «четыре мушкетера» из реального училища: Виктор Тихомирнов, Александр Аросев, Вячеслав Скрябин и Николай Мальцев. Однако прежде чем деятельность этого сообщества юных энтузиастов революции стала заметной, осенью 1906 года произошло событие, сильно повлиявшее на умонастроение Аросева.

Александр занимался. Алгебра давалась ему легко. Удивительно логическая, точно пригнанная наука. Ничего лишнего, и все целесообразно. Саша испытывал эстетическое наслаждение от стройности собственных мыслей, выравненных алгеброй. Настоящая философия в математике! Ах, если бы и политическая философия была столь же четкой и доказательной...

От сильного взрыва захлопнулась рама, посыпались стекла. Саша вскочил, бросился к окну — в чем дело?!

Посреди площади у ног бронзового царя бились упавшие лошади, покосилась набок карета, ветер относил дым, с козел свисало безжизненное тело кучера. Рядом с каретой — вице-губернатор Кобеко, стоял, прижимая к щеке платок, по подбородку струилась кровь. Перед Кобеко навывтяжку — полицмейстер Васильев, высокий, с белыми от ужаса глазами.

Сбегался народ. Кого-то волокли. Гортанно кричали дворники-татары, загоняя во дворы выскочивших было мальчишек.

Саша побежал в мастерскую — оттуда лучше видна площадь. У широкого окна на портновском катке стояли на коленках, лезли на плечи друг другу рабочие — смотреть на происшествие. Отца не было. Саша примостился сбоку, прижал нос к стеклу — странно, здесь почему-то стекла уцелели.

— Эх, не так бы, не так,— досадливо пробормотал Макарыч.

— А как надо? — спросил Саша.

— Нет, братцы, я бы к этому Кобяке подбежал близехонько, да бонбой ему по коленке — бац! И боле никаких.

— И сам бы на куски,— мрачно усмехнулся красавец Пресняков.

— Ну и на куски,— охотно согласился Макарыч.— Меня бы не стало, а массы рабочие остались. Их не перебьешь. А губернаторы — не массы.

— Нет, братцы, нестоящее это дело, губернаторов шлепать,— возразил краснолицый, белобровый Семенов.— Сами гляньте, какой профит? — Семенов любил шеголять заковыристыми словечками.— Кучера беднягу убило, из лошадей кишки выпустили, а Кобяка целехонек! Вон как командирствует! — кивнул Семенов на площадь, где Кобеко, потрясая окровавленным платком, кричал на полицмейстера.

Лошадей уже оттащили, откатали сломанную карету, унесли тяжело раненного кучера. Теперь дворники присыпали песком кровавую лужу.

— Ох, сколько крови пролилось уже на эту площадь! — вздохнул Саша, вспомнив ужасную смерть Михайлова-Двинского.

— Никакого смысла во всех этих взрывах нет,— решительно проговорил Пресняков.— Одного убьешь, другого поставят.

— Но это мстили Кобеко за повешенных крестьян! — горячо возразил Саша.

— Мстили! Не такая месть нам нужна. Теперь опять зверство начнется. Зря это эсеры сгношили.

— Почему вы думаете, что эсеры? — наивно спросил Саша.

Пресняков усмехнулся.

— А кому ж еще? Им бы только бомбы кидать... — И он презрительно отвернулся.

Этот решительно-презрительный тон рабочего снова поколебал восхищение Саши перед эсерами и заставил его задуматься. Но, как сказано, он был упрям и потому твердо решил ни за что не «предавать» своих идеалов

Учебный год начался так:

24 августа во 2-й мужской гимназии собирали деньги

на политзаключенных. 31 августа там же пели «Марсельезу», а 3 сентября пришлось и вовсе закрыть старшие классы на два дня: гимназисты объявили забастовку из-за ареста одного своего товарища и исключения другого.

4 сентября четвертый класс реального училища заперся, не впустил учителей, пел «Марсельезу».

5 сентября старшие классы 1-й мужской гимназии забаррикадировались партами и пели революционные песни.

6 сентября старшие классы Ксениинской женской гимназии пели «Марсельезу», после чего с криками «Ура!» разошлись по домам.

Во всех учебных заведениях разбрасывали листовки с призывом бастовать.

15 сентября в 7-м классе 1-й гимназии во время урока закона божьего разлили зловонную жидкость.

20 сентября в том же классе от жестянки с порохом взорвалась печка...

Участились «химические» обструкции.

Полицмейстер Васильев *, чуть ли не ежедневно строчивший своим мелким, четким почерком рапорты губернатору, приходил к неутешительному обобщению: «Во всех средних учебных заведениях занятия идут неправильно, ученики хором поют «Марсельезу», после чего кричат «Ура!» и проявляют разные беспорядки».

«Беспорядки» эти, естественно, не остались безнаказанными: из 1-й гимназии уволено 28 учеников, из 2-й — 48, а из реального исключили целую сотню, в том числе Виктора Тихомирнова и снова — Аросева. Скрябина и Мальцева почему-то не тронули.

Однако, к возмущению полицмейстера, исключенные явились в училище и гордо расхаживали по коридорам с видом победителей, вызывая зависть у сотоварищей.

Дальше — больше.

Реалист Левин, пятнадцати лет, сунул приказчику одного магазина на Воскресенской прокламацию. Приказчик отдал листок околоточному, тот сделал обыск на квартире Левина — и что же? Обнаружил кучу других прокламаций и нелегальных брошюр!

Гимназист Рожнов был задержан раздающим листовки в Свияжском батальоне — вон куда подобрались

* Не тот ли Васильев, начальник 6-й части, которого «разоружали» в 1905 г. мальчишки? Быть может, его в награду за то, что единственным из всех полицейских сумел сохранить оружие, и повысили в должности? (Прим. авт.)

мальчишки! Полицмейстер кинулся по следу и узнал, что в войсках, расположенных вокруг Казани, действует около двадцати нелегальных кружков.

Из регулярности этих событий задерганный полицмейстер сделал совершенно справедливый вывод: существует какая-то организация учащихся... и кто-то ее направляет!

Бурлил университет. Студенты агитировали за бойкот выборов во II Государственную думу, но выставляли и свои требования: например, отменить студенческую форму, убрать профессора-черносотенца Залесского, доверить охрану университета самим студентам.

Была в университете таинственная 9-я аудитория, к которой давно принимался полицмейстер Васильев. Эту аудиторию ректор Загоскин, человек мягкий и демократичный, отдал студенческому совету. Ключи от нее хранились у членов совета, и никто посторонний не мог туда проникнуть.

В ночь на 22 ноября 1906 года полицмейстер взломал замок и устроил обыск в 9-й аудитории. Из найденной переписки совета явствовало, что здесь нередко собирались рабочие, подпольная военная организация. Вот для чего нужна была мелкая, казалось бы, победа студентов — отмена формы! Теперь студентов не отличить от посторонних, и желчные рапорты Васильева сообщают, что собрания подпольщиков под прикрытием невинных студенческих сходов стали довольно обычным явлением.

Еще Васильев нашел в 9-й аудитории потрясающий документ: двойной тетрадный лист, разграфленный от руки и надписанный фиолетовыми чернилами: «Отчет за 15 дней в израсходовании денег, собранных студентами на политзаключенных и высланных с 1 по 15 ноября 1906 года». В отчете никаких расписок, часто ни получатель, ни жертвователь не названы по фамилиям. О какой же кристальной честности говорит этот листок, о каком высоком благородстве! «Получено от Николая... 30 копеек. От студентов 2-го курса — 2 рубля 16 копеек. Отдано заключенному Т. 10 рублей. Шести семьям заключенных рабочих — 15 рублей. Заключенным солдатам — 13 рублей. Бежавшему из ссылки на побег за границу — 25 рублей».

Собирали по копейкам, отдавали по рублям...

Да, революция была подавлена, но нелегкая жизнь наступила и для полиции и жандармерии. Никак не хотели успокоиться самые разнообразные силы. Разбужен-

ные революцией, но не угасшие с нею. Полиция и жандармерия сбивались с ног.

Бунтовали деревни. В лесу за городом полиция нашла спрятанное оружие. Возникали и разгонялись рабочие демонстрации — в Пороховой слободе, в Адмиралтейской, в Суконной, в городе и за городом. Грянули забастовки. Бастовали столяры, булочники, мыловары, наконец, пристанские грузчики всех пароходных компаний, а их в Казани было немало: Волжско-Вятское, Купеческое, «Самолет», «Дружба» и еще другие... И это — в самую горячую пору навигации! Полицмейстер Васильев, измотанный, прошедший весь день на причалах, писал губернатору: «Грузчики толпой ходили по пристаням, снимали с работ посторонних (то есть штрейкбрехеров. — Н. А.), делали угрозы и некоторых побили. Один из подстрекателей был задержан, но грузчики отбили, бросая камни в городского и подоспевших казаков. Казачий прапорщик два раза выстрелил с испугу, один казак тоже. Арестован 61 человек, но вскоре всех отпустили, оставив четырех зачинщиков...»

Полицмейстер Васильев стал получать анонимные письма с угрозой убить его.

Вся Казань, казалось, помешалась на печатных изданиях: священники, купцы, дамские комитеты, профессора, общества трезвости, эсеры, черносотенцы — все наводняли канцелярию губернатора ходатайствами о разрешении купить типографию, выпускать журналы, брошюры, газеты...

Ежегодно, а то и по два раза в год, полиция раскрывала и «ликвидировала» комитеты и типографии РСДРП.

Вскоре после подавления восстания 1905 года в доме Беловой обнаружена подпольная типография. Арестованы Иван Ямзин, Александр Мунгалов, Петр Рябов, Павел Беликов.

18 мая 1906 года в доме Шимраевской раскрыта подпольная типография РСДРП. Арестованы Неухум Эттинген и неизвестный, проживающий под фамилией Лебедев.

Годом позже начальник губернского жандармского управления полковник Калинин докладывал губернатору Казани:

«Имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что в ночь на 28 мая вверенным мне управлением была произведена ликвидация «казанского комитета РСДРП», подготовлявшего конференцию, и «военно-революционной организации» при вышеупомянутом комитете...»

По этому делу арестованы студент Борис Захваткин и молодая акушерка Александра Морозова, которая еще в 1905 году «привлекалась к дознанию по делу о социаль-демократической группе учащихся средних школ в Казани», а в 1906 году участвовала в демонстрациях учащихся в Державинском саду и на озере Кабан. Тогда учащиеся зафрахтовали прогулочный пароходик и, выплыв на середину озера, стали петь революционные песни. Теперь ее арестовали уже как члена комитета РСДРП и приговорили к полутора годам заключения в крепости. Морозова не могла не знать «мушкетеров», ибо во всех этих демонстрациях участвовали и они. Но из этого неизбежно вытекает, что комитету учащихся удалось связаться с комитетом РСДРП.

Возможно, именно эта связь и заставила «мушкетеров» серьезно задуматься о революции.

Разрастались кружки революционной ученической организации. Их стало уже три — высшего типа, среднего и третий — для «начинающих». Устраивали диспуты, чтения, рефераты, читали и современную беллетристику — Леонида Андреева, Горького, Куприна... Сочинили устав организации — основным его автором был Вячеслав Скрябин. Неожиданно получили конспиративные письма от подобных же организаций в Елабуге и Пензе. Возникла мысль о создании всероссийской революционной организации учащихся.

Шел май 1907 года, когда решили наконец разобраться в главном споре — между «эсерами» и «эсдеками» (беру эти слова в кавычки, потому что речь шла о юношах, не состоявших еще ни в какой партии, а только объявлявших себя приверженцами той или другой). Решено было на нелегальном собрании всех трех кружков прочитать два реферата: «Философское обоснование социал-демократической партии» и «Философское обоснование партии социалистов-революционеров». Первый реферат поручили сделать Вячеславу Скрябину, за второй взялся Аросев.

Запаслись литературой, причем уговорились читать одних и тех же авторов, а именно: Михайловского, Лаврова, Плеханова, Маркса и Энгельса. Труды Ленина были им тогда еще неизвестны.

Запаслись — и разъехались на все лето: Скрябин домой, в Нолинск, Аросев — в деревню Малые Дербышки под Казанью, где семья снимала дачу.

Во всем этом было еще что-то от ребяческого сорев-

нования — как и та драка в первом классе, положившая начало их дружбе.

Однако само дело быстро заставило их отнестись к своей задаче серьезно. Началась напряженная работа юного ума. Эти мальчишки, эти почти еще дети вчитывались, вдумывались в сложнейшие мысли крупнейших философов. И это было поразительно! Их ведь никто не заставлял, никто не стоял над ними с палкой, а может быть, именно поэтому они сумели себя заставить, пробудили в себе интерес к этим нелегким проблемам. И вскоре обоих захватило увлечение — следовать за чужой мыслью, исследовать ее, сопоставлять, прикладывать к собственным впечатлениям, таким еще новым, переваривать все это в своем мозгу... Иной раз, по выражению Александра, у них «мозги кипели». Позднее он напишет, вспоминая то время, что сильное впечатление произвел на него Михайловский, но главным образом — изяществом слога, той мягкостью и свободой, с какой он обращался с понятиями. Однако его формула прогресса показалась Саше скучной — критическим своим умом юный исследователь увидел, что формула эта сводится, говоря попросту, к тому, что хорошее лучше плохого. Михайловского поправлял Лавров, но он показался насмешливому уму Саши слишком энциклопедичным, популярным — «у него было все, как в кратком словаре». Лаврова в свою очередь поправлял Чернов, и в эту путаницу интеллигентских идей, формул, поправок к формулам, поправок к поправкам, в эти потоки туманных понятий — как «преображение», «просветление» и т. п., которые Александр не мог наполнить конкретным содержанием, — вдруг ворвался Маркс со своими спокойными, точными определениями, с научными доказательствами, с математически конкретной, неотразимой аргументацией.

Впечатление было ошеломляющим. Александр чуть ли не физически ощущал, как каждая строка Маркса прощупывает мысль до самого корня, отмечает все эти путанные представления о мире и оставляет в голове наконец-то полную ясность, чистую истину.

И вспомнив свой вздох над расплывчатостью и запутанностью политической науки в отличие от логики алгебры, Саша, к великому своему облегчению, впервые ощутил и тут твердую почву под ногами.

Вернувшись в конце лета в Казань, Александр отправился в хорошо знакомый домик старушки Капито-

новны. В комнате братьев Скрябиных сидели Вячеслав и Николай Мальцев. Вячеслав глянул на Сашу с каким-то торжествующим вниманием, словно заранее чувствовал себя победителем.

— Ну, как твой реферат? Готов? — с жадным нетерпением спросил Николай.

— А я, братцы, не буду читать реферат. Не разделяю я больше идей эсеров! — брякнул Александр.

Николай опешил.

— Как же так? Ты что, переметнулся?..

— Не переметнулся, а переубедился, — с некоторым вызовом поправил его Александр.

— И к какой же фракции теперь примкнешь? — В то-не Николая слышалась ирония, под которой он пытался скрыть свое разочарование.

— К большевикам, конечно, — твердо ответил Саша. — Я понял: настоящие марксисты — только они!

— Ну-ну...

Саше даже жалко стало Николая, шевельнулось не очень-то приятное чувство вины, будто он бросил товарища, предал его.

— Пойми, Коля, не могу я, не имею права решить иначе! — заторопился он объяснять. — Поверь, я долго и честно боролся сам с собой, но... Да ты сам почитай, сам!

— В общем, Платон мне друг, а истина дороже, — пробормотал Мальцев.

— Да! И еще раз да! И я уверен — дашь себе труд вникнуть в суть, тоже придешь к тому же.

Наступила неловкая пауза.

— Если ты отказываешься от реферата, — заговорил все время молчавший Вячеслав, — то и я не стану читать свой. Если уж такой упрямец, как Сашка, заявляет о переходе на позиции большевиков, то лучше агитации и быть не может! И мы оба заявим об этом на кружках.

Но Александр, этот мечтатель-оптимист, увидел в программе Российской социал-демократической рабочей партии еще и другое. На том общем собрании трех нелегальных кружков, на котором он отказался защищать платформу эсеров и объявил себя эсдеком-большевиком, естественно вспыхнул спор с теми, кого сильно разочаровало такое его заявление.

— Все-таки нужны дела! — горячился Мальцев. — Эсеры проводят эксы, а что эсдеки — одни прокламации пишут! Те хоть бомбы под задницами у сатрапов рвут!

— А толку что? — возразил Виктор, и Александра поразило совпадение с точно такими же словами рабочего Преснякова в тот день, когда было совершено покушение на Кобеко. А Виктор продолжал, словно прочитав мысли Саши. — На примере Кобеко видно: сам жив остался, пострадали ни в чем не повинные люди.

— Промахнуться всякий может!

— Допустим, да я не об этом: а какой отзвук в массах? Рабочих эсеры такими действиями повели за собой? Объяснили им что-нибудь?

— На это я тебе возражу словами самих эсеров. — Николай вытащил из-за пазухи сильно потрепанный номер газеты «Революционная Россия». — Вот что тут написано. — Он развернул мятый листок, нашел нужное место. — Слушайте! «Террор заставляет людей политически мыслить, хотя бы против их воли... Он вернее, чем месяцы словесной пропаганды, способен переменить взгляд тысяч людей на революционеров... Способен вдохнуть силы в колеблющихся, обескураженных, пораженных печальным исходом многих демонстраций...»

— Постой, постой, Коля, как там? Прочитай-ка еще раз сначала, — перебил товарища Саша.

— «Террор заставляет людей...»

— Вот! Стоп! — вскочил Аросев. — Как это? Заставляет? И кажется, там сказано еще «против воли»? Да ведь это, братцы... в этом же нравственная разница! Чего требуют эсдеки? Привлекать массы, убеждать, разъяснять, потому что без масс не может быть никакой революции, надеюсь, с этим ты согласен? И надо, чтобы массы шли в революцию с открытыми глазами, это — честно. А эсеры хотят навязать, насильно... — Сашу захлестывали не поддающиеся выражению мысли, вернее, еще не мысли, а ощущения — и вдруг он выпалил неизвестно откуда взявшееся сравнение: — Это как естественные роды — и кесарево сечение! А то и выкидыш!

Грянул дружный хохот.

— Откуда у тебя такие познания?! — ржал Николай.

— Да ну вас к бесу! — обозлился Александр. — При чем познания, важна суть! Естественный ход — и искусственный, нравственное — и безнравственное.

— А Сашка-то прав, — отсмеявшись, сказал Вячеслав. — Вот, братцы, достал я тут одну вещичку...

Он вытащил из-под рубашки тоненькую, мятую, вчетверо сложенную брошюрку в сером шершавом переплете. Какими-то бурыми буквами на ней было напечатано

длинное вопросительное название: «Почему социал-демократия должна объявить решительную и беспощадную войну социалистам-революционерам?» *

— Вещь не новая,— спокойно пояснил Вячеслав,— но отлично проясняет путаницу, которой у нас немало, и не только в башке у Николая...

То, что достается в борьбе, особенно в борьбе с самим собой,— вдвойне дорого.

Очень скоро и в «башке у Николая» прояснилось, и он, тоже с каким-то внутренним облегчением, присоединился к друзьям. И быть может, и у него, и у Александра, перешагнувших через собственные заблуждения, тем прочнее стало столь нелегко доставшееся убеждение.

А убеждение, выработанное самостоятельно, собственным разумом и принятое свободной волей — даже вопреки противодействию всех официальных и неофициальных противников,— такое убеждение несокруσιμο.

Так к семнадцати годам эти мальчишки стали убежденными большевиками. У них уже был опыт. Два года прожили они после революции 1905 года, познали ярость черной сотни, ожоги казацких нагаек, чувство бессильного возмущения насилием. Они видели подлость бесправия — и видели смерть, но узнали они уже и поднимающий на подвиг восторг души.

И были у них знания. Множество книг, нужных и ненужных, проглотили они с молодой прожорливостью, разные учения и теории переварил их мозг, чтобы сделать наконец выбор, чтобы здоровым рассудком восхититься единственно стройной, единственно верно ведущей в борьбе философией марксизма.

А фон, на котором происходили все эти сходки нелегальных кружков, запальчивые споры, усиленная и плодотворная работа мысли юных философов, был весьма безрадостным. Время отмечалось арестами, судами, ссылками...

В сентябре 1907 года арестованы члены Казанского комитета РСДРП — студент Микаэль Атабеков и дочь профессора Наталья Клепцова.

Летом 1908 года — очередной разгром очередного комитета РСДРП. Но тотчас на место выбывших становятся другие. И все молодые, молодые... В январе

* Работа В. И. Ленина. 1902 г.

1909 года раскрыт новый подпольный комитет, арестованы студент Евгений Сеньковский, 21 года, студент Шая Лерман, 25 лет, но уже опытный подпольщик, утвержденный для поездки на заграничную конференцию РСДРП, Иван Урманов, 19 лет, рабочий завода «Рама», Сусанна Козлова, 27 лет, Розалия Левидова, 20 лет,— у нее были все явки, через аптеку ее отца связывались приезжие товарищи, Тимофей Субботин, 20 лет,— руководитель группы булочников, сильный пропагандист и агитатор Мовша Стам...

Кончилась юность Александра Аросева и его друзей. Они были уже толковыми агитаторами, большевиками. Начался новый период в их жизни. Теперь им суждено было восемь лет провести в тюрьмах и ссылках, в побегах, в подполье. Они стали профессиональными революционерами.

Глава третья

Испытывая недостаток в средствах после разорения Якова Михайловича, семья Аросевых вынуждена была перебраться в дешевую квартирку на окраине Казани, в Суконной слободе. Несмотря на тесноту, старшему, Александру, была предоставлена отдельная боковушка, в которую никто из братьев и сестер носа не смел казать.

В этот-то деревянный флигелек и пришли однажды на рассвете за Александром.

Он еще спал. Накануне вернулся домой поздно: был на демонстрации рабочих в Пороховой слободе. Народу, правда, собралось маловато, всего человек шестьдесят. Когда дошли до елового леска, за ними погнались стражники. Кто-то из рабочих выстрелил, пальнул и Саша раз за два из своего смит-вессона. Стражники дали залп в воздух, и все разбежались. Отвязавшись от преследователей, Александр добрался до дому часа в два пополудни, промокший, голодный, и тотчас завалился спать.

Разбудил его тринадцатилетний брат Сергей. Не смея входить в боковушку, он только сунул голову в дверь, крикнул:

— Шунька, жандармы! — и мгновенно скрылся.

Екнуло сердце, только от чего — от страха или от гордости?

Он вышел в столовую. Мама стояла у пианино и спокойно следила, как два жандарма роются в книжном шкафу. За обеденным столом, таким голым без скатерти, сидел со скучающим видом пожилой жандармский офицер. В дверях, прислонившись к косяку, томился дворник Абдулка.

— Селям алейкум, Абдул! — не без озорства, игнорируя офицера, бросил Саша.

— Алейкум селям, молодой хозяин, — растерянно отозвался тот. — Жандарм пришел, — добавил он, как бы извиняясь.

— Сын цехового Александр Яковлев Аросев? — безо всякого выражения осведомился офицер. — Потрудитесь взглянуть, вот ордер на обыск и арест.

Тут Саша обмер: вспомнил вдруг — так и оставил вчера свой револьвер в кармане пальто! Непростительная небрежность! А пальто висит в сенях, на самом виду, карман даже, наверное, оттопыривается...

«Тоже мне конспиратор! — возмущался собой Александр. — Руки-ноги тебе переломать мало! Теперь наверняка крепость — так тебе и надо, сам виноват!»

Томительно тянулось время. Жандармы обыскиали его боковушку, комнату братьев, комнату сестер, спальню родителей, даже кухню — это было для Саши медленной пыткой. Скорей бы уж нашли! Что же они?! Посмотрел на маму, которая за все время обыска так и не тронулась с места, только позу переменила: теперь она опиралась локтем на крышку пианино. Саша уловил озорной огонек в ее серых глазах — или это стекла пенсне блеснули? Нет, мама над чем-то втихомолку посмеивается... Непонятно!

На неприятном столе перед офицером лежали уже крамольные газетки, дотошные жандармы откопали в щели оконного косяка даже прокламацию ученического комитета. На шершавом листке лиловыми, от руки писанными буквами (писал лучшим своим почерком Коля Мальцев) — горячие слова о вольности, о равенстве, о борьбе, они звали всех, всех, кто алчет свободы, объединиться и «манифестовать свой протест»... Печатали на гектографе, раздобытом по частям. Работали по очереди — и сами с ловкостью индейцев (спасибо романам Майн Рида!) рассовали, расклеили шершавые листки. Один такой листок долго висел на фонарном столбе у ворот крепости, Саша нарочно ходил мимо, тайком скашивая глаза на бледные лиловые строчки — впервые об-

народованные его собственные слова и мысли! Вот так обнародованные — безмянно...

Оттого что жандармский офицер не знал того, что знал Саша, он перестал казаться опасным.

Револьвер так и не нашли. Загадка! Вскинув голову, как человек, получивший высокую награду, Саша вышел из дому с жандармами по бокам. Плакали маленькие сестры, братья грозили кулаками в спину офицеру, болезненно покачивал головой Абдулка. А мама, проводив сына торопливым поцелуем, захлопнула дверь и поспешила к пианино: приподняв крышку, вынула маленький, почти игрушечный револьвер и, быстро оглянувшись, прижалась щекой к его гладкой поверхности — к тому месту, где ее охватывала ладонь сына.

Со скрипом отворилась тяжелая дверь, и Саша зажмурился: поток солнечного света ударил по глазам. Он ступил вперед, прямо в солнечное сияние, ничего не видя, за спиной заскрипело, запело, загремел ключ, и звуки эти отрезали его от вольного мира. Он был в тюремной камере. Открыл глаза, перед которыми еще плавали зеленые круги. Камера была просторная, с низким потолком, довольно опрятная комната. Два зарешеченных окна пропускали достаточно света. Напротив окон, вдоль стены, в два этажа тянулись нары. Ближний к двери угол отгорожен фанерной ширмой, оттуда шибала в нос карболка, как в вокзальных уборных. Перед окнами стоял стол, и вокруг него черными силуэтами сидели люди — Саша не сразу разглядел их лица. Но один из них поднялся и, знакомым голосом воскликнув: «Сашич!», быстро пошел навстречу.

Виктор Тихомирнов! Саша обрадовался, будто сто лет прожил в пустыне и наконец-то встретил живое существо. Только теперь понял, до чего ошеломлен первым арестом. Чувства, насильственно скованные, разомкнулись, но мысль еще бездействовала, — он не сразу понял, что Виктор тоже арестован.

— Идем, идем, здесь все свои, — радостно говорил Виктор и тянул друга за руку, будто тот по доброй воле зашел к нему в гости.

Они подошли к столу, и Саша действительно увидел знакомых. Во все свое широкое лицо улыбался Скрябин, и Саша понял теперь, почему ни Виктора, ни Вячеслава не было в Пороховой слободе.

— Давно вас? — спросил он.
— Да уж десятый день. А тебя?
— Пару деньков в одиночке провел, теперь вот — к вам. За что, не знаешь?

— Естественно — за нашу организацию.

— Значит, не за демонстрацию в Пороховой! — обрадовался Саша — и наткнулся взглядом на рябоватого человека, сидевшего боком к окну и с любопытством поглядывавшего на новичка. Да это Кулеша! Первый большевик, которого узнал Александр! Он и в камере не снял свою черную меховую шапку, хотя было тепло, только сдвинул ее на затылок, отчего обнажился большой лоб, переходящий в плешь. Напротив него сидели еще двое: студент и молодой рабочий. Хотя студента Саша где-то встречал и раньше... Ну да, это же с ним он в пятом году ходил разоружать полицию, и так они тогда оскандалились. Рабочий, совсем молодой, смуглый, бритоголовый, в старенькой тюбетейке, сосредоточенно нахмутив черные брови, лепил что-то из хлебного мякиша. Вот его Александр никогда не видел.

— Поздравляю с боевым крещением, — глухим баском сказал Кулеша, пододвигая Саше табуретку. — Ну-с, что у вас нашли?

— Да так, пустяки, — застеснялся Саша, разве сравнить их «подвиги» с тем огромным таинственным делом, каким заняты настоящие большевики! — Три номера «Демократа» да нашу прокламацию.

— Ваше место будет на втором этаже. — Кулеша поднялся, подошел к нарам. Он был высок, верхняя нара пришлась ему против груди. — Мы вас будто ждали, оставили место рядом с Виктором и Вячеславом, — он похлопал по соломенному тюфяку, словно это была пышная перина и он проверял, хорошо ли взбита.

— Спасибо. А что надо делать сейчас?

— Ничего, — усмехнулся Кулеша. — Сидеть. Скоро поведут на прогулку. Потом обед. Потом ужин. Однообразно. Впрочем, можно спорить, вы, небось, любите это занятие. Вас уже допрашивали?

— Да.

— Ротмистр Трескин?

— Не знаю, пожилой такой, безразличный. Он же меня и арестовал.

— Ну да, Трескин. Заведует политическим сыском. Недавно переведен в Казань. По слезнице полковника Калинина, местного шефа жандармов, — Кулеша, кото-

рого давно распирали смех, теперь захохотал при виде недоумения, отразившегося на лице Саши. Он предвкушал, как расскажет смешную историю.— Видите ли, года полтора назад полковник Калинин обратился с ходатайством в центр. Мол, жандармы сбились с ног, заболевают от переутомления, один даже — представьте! — скончался от нервного расстройства! Писари завалены перепиской, не хватает филеров. Причем какая неразбериха: прикомандировали к жандармам двух околоточных, да забыли уведомить по начальству, и бедняг уволили из полиции за неявку на службу.

Все рассмеялись.

— Ну вот, и прислали Калинин у двух помощников — один из них и есть Трескин.

— Усталый человек,— впервые проронил слово рабочий.

Он сказал это тихо, но так, что все к нему обернулись, удивившись меткости определения. В одном этом эпитете — «усталый» — заключалась целая гамма отношений революционеров к тем, кто их преследовал: легкое презрение, понимание того, что взор этих преследователей обращен вспять, что они приговорены всем ходом истории, и даже насмешливое сожаление по поводу бесплодности их усилий. «Если б Трескин услышал, с каким выражением этот рабочий сказал про него «усталый человек», он пошел бы и застрелился», — мелькнуло в голове у Саши.

— Так о чем же этот Трескин расспрашивал вас на допросе? — спросил Кулеша.

— О, он быстро со мной разделался. От кого получил, кому передал. Я сказал, что прокламацию нашел в Державинском саду — мы их там действительно разбросали,— а газеты кто-то подсунул.

— Не поверил?

— Конечно нет. А поди докажи! Он говорит: «Ах, мальчишки, мальчишки, драть вас надо!» А я ему: «Не имеете права».

В ту ночь Саша долго не мог уснуть. Соломинки тюфяка кололи шею, под боком был провал, зато под плечом взбурилось что-то вроде булыжника, но Саша с наслаждением принимал «тюремные муки»: они возносили его над обыденностью. Рядом с ним тихонько сопел Виктор, уже «вознесшийся» и привыкший к этому возвышенному состоянию. Саша не мог сосредоточиться ни на одной связной мысли, их пестрый калейдоскоп кру-

жился у него в голове. Образ мамы, загадочно усмехавшейся у пианино, плавал где-то на заднем плане, просвечивая сквозь лица жандармов, голоса товарищей по заключению бились в ушах, словно порхающие тени,— если у голосов могут быть тени... Гвоздил вопрос: откуда Кулеша мог знать о тайной переписке жандармов, о нехватке филеров, о двух околоточных, уволенных из-за неразберихи? И как этот молодой рабочий сказал: «усталый человек»... Усталый... Талый... Алый... Эхо мысленных слов удалялось, удалялось. Какой-то тихий стук смешался с отлетающим отзвуком слов, мгновенно оборвав его: Саша очнулся. Стук был не в его голове, он жил отдельно в темной тишине, наполненной дыханием. Саша не мог уловить ритм этого странного стука: стучали то часто, то делали паузу, потом снова два-три удара, и опять остановка. Саша не смел пошевелиться, чтобы шорохом соломы не спугнуть этого стука, который явно исходил откуда-то снизу. Вдруг открылась догадка: да это выстукивают знаменитой тюремной азбукой! И стучит, конечно, Кулеша. Вот он перестал — и через несколько секунд раздались ответные постукивания. У Саши захватило дух. Завтра же попросит Кулешу научить его! Это решение сразу его успокоило, и он крепко заснул под дробь таинственных сигналов.

Кулеша охотно согласился, и вскоре застучала вся камера. Усевшись вокруг стола, новоселы тюрьмы старательно постигали речь лишенных свободы. Кулеша потирал руки:

— Браво, реалисты! Вот вам новая, революционная грамматика!

Саша решил не спать в эту ночь — хотелось попробовать понять, что будет «говорить» Кулеша неведомым соседям. Однако стояла тишина. Зарешеченный лунный свет лежал на столе клетчатой скатертью, Саша не мог оторвать от нее замороженного взгляда. Вдруг какая-то тень скользнула и закачалась на клетках этого нереального покрыва, будто большая темная бабочка присела на стол. Послышалось осторожное шуршание — с нижних нар спустилась длинная белая фигура, бесшумно босыми ногами прокралась к окну. Так напряжены были чувства у Саши, что ему казалось, будто он слышит, как прижимаются, расплющиваясь, босые ступни к половицам. Белая фигура протянула руку к окну — тень руки протянулась по клетчатой лунной скатерти к тени бабочки, схватила ее. Обострившимся зрением Саша разгля-

дел, как тонкая черная нить, освободившись от тяжести, потянулась к верхнему краю окна и исчезла... Значит, сверху спустили что-то для Кулеши! И наверное, между вчерашним перестуком и сегодняшней «бабочкой» есть связь.

Но утром он не успел расспросить Кулешу; пока колебался, имеет ли право задавать такие вопросы подпольщику, загредел замок и следом за служителем, принесшим чайник и хлеб, в камеру ввалился Николай Мальцев. У друзей хватило выдержки промолчать, пока служитель не удалился.

— Ну, теперь почти весь комитет в сборе,— с горьким юмором проговорил тогда Виктор.— Хоть заседание открывай!

— И открывайте,— одобрительно заметил Кулеша.— Отчего же? Место самое надежное, охраняется на совесть. А если что на волю передать надо...— он поскреб в затылке,— то и это можно.

С этими словами он увел студента и рабочего на нары, где немедленно начался шахматный турнир. Фигурки искусно вылепил из хлебного мякиша молодой рабочий.

Четыре «мушкетера» сдвинули головы.

— Отличная идея — продолжать работу здесь,— сказал Вячеслав.— Пускай знают, что наша организация действует!

— Листовку сочинит Александр, а мы подредактируем,— предложил Виктор.

— Ну ладно, передать на волю нам Кулеша поможет, а кто ее печатать-то будет? — усомнился Николай.

— Найдутся! — с многозначительным видом возразил Виктор.

После жарких споров текст листовки был одобрен, и ночью очередная «бабочка» вспорхнула с лунной скатерти за окно.

Потянулись тюремные дни, но не скучали новобранцы-заключенные. Многое узнали они за это время и от Кулеши, и от рабочего... Да и сами непрестанно спорили о самых высоких, самых важных вещах.

— Не понимаю одного,— сказал как-то задумчиво Саша.— Казалось бы, всем должно быть ясно, что нет организации человеческого сообщества лучше и справедливее, чем коммунизм. Однако с каким трудом эта идея пробивает себе путь даже в умы простых людей!

— Видишь ли,— отозвался Виктор,— это вот как:

человек всю жизнь живет в темноте, привык к ней и другого существования себе не представляет. И вдруг — яркий свет: он подействует как удар по глазам! Вызовет шок, слепоту, протест! Тут надо постепенно, чтоб не оглушить...

— Что мы и стараемся делать, — вставил Вячеслав. — И все это называется классовой борьбой. Класс, живший в темноте, должен научиться видеть свет.

— Мне кажется, — перебил Скрябина Виктор, — что классы — это производное. Главное зло — собственность. Классы и возникли-то в тот момент, когда человечество разделилось по принципу собственности: у меня много, у тебя ничего нет. Вот когда первый человек захватил для себя одного больше, чем было у другого, заставил на себя работать, и начались классы. А с ними и классовая борьба. Потому что собственность... это такое зло, такая гадость... Ведь заразившись собственностью, человек, в сущности, перестал быть человеком. Он стал собственником. А собственность заставляет умножать себя, беречь, отстаивать от других.

— Она развращает! — горячо воскликнул Коля. — Ведь и войны все — из-за собственности. И нас-то преследуют потому, что мы — угроза собственности: царя, помещиков, фабрикантов. Ведь до того дошло развращение, что уж и на людей распространяется принцип собственности: моя жена, мой сын, мой раб. И ни у кого это не вызывает протеста!

— Но как же быть с такими вещами, как одежда, книги, жилье? — вмешался рабочий. — Неужто и их отставить?

— Ну нет, — ответил ему Кулеша, прислушивавшийся к спору. — Большевики считают, что у каждого должна быть личная собственность на те предметы, которые необходимы для жизни, как раз те, о которых ты говоришь. Никто, конечно, не потребует, чтоб твои штаны принадлежали всем. А речь идет о большой собственности, как мы говорим, на средства производства: на фабрики, землю, на все то, где трудятся не сами владельцы, а наемные силы, где происходит эксплуатация людей, где они, то есть рабочие, батраки, даже инженеры, создают ценности, которые присваивает себе один человек: хозяин. Читайте, ребята, Маркса, его «Капитал» — там все написано черным по белому...

Недели через две прилетела очередная «бабочка» — письмо Саше от матери. Товарищи напряженно следили,

как бегают по строчкам его серые глаза. Уныние отразилось в них.

— Что, плохо? — непривычным для себя нерешительным тоном спросил Вячеслав.

— А вот слушайте: «Милый сын, сказали мне, что вас ожидает ссылка... Ездили мы вдвоем с Любовью Петровной Мальцевой в Петербург...— При упоминании о своей матери Николай придвинулся ближе.— Не могу сказать, каких трудов нам стоило, но все же мы добились аудиенции у самого Столыпина. Просили заменить вам ссылку разрешением уехать за границу. Вот его ответ: «Если бы они были рабочие, я бы отпустил их за границу, потому что рабочих не исправишь. От негодных рабочих нужно просто избавляться. А так как они все учащиеся, интеллигенты, то ссылка, спокойный север, чистый воздух их могут исправить и они еще пригодятся государству...»

— Мерзавец, он издевается! — вскричал Николай, вырывая письмо у Саши.— «Чистый воздух, спокойный север...» Негодай! — Он скомкал письмо и нацелился швырнуть его в парашу, но Виктор схватил его за руку:

— «Иван Кузьмич, Иван Кузьмич, полно кипятиться, ведь можно обвариться...» — пропел он довольно грустным тоном — эту пословицу они обычно употребляли, чтобы остудить горячие головы друзей.— А письмо-то Марии Августовны при чем? Отдай!

— Что ж, братцы, видать, придется нам прогуляться на «спокойный север», — проговорил Вячеслав, поддериная штаны, будто прямо сейчас собрался в путь.— Ехать так ехать, сказал попугай...

— Когда его тащила кошка, — с горькой иронией подхватил Николай.

Кулеша молча наблюдал за юношами.

— Эх, ребята, ребята, — заговорил он каким-то мягким, отеческим тоном.— Не бойтесь вы, ребята, ссылки. Понятно, в первый раз оно неприятно, да вы вот о чем подумайте. Сколько раз за последние два года ликвидировали у нас в Казани комитет РСДРП? Четыре раза! А он всякий раз возрождается. И всякий раз находятся новые люди. Что это значит? Значит, дело наше забирает вглубь! Люди идут к нам. И в ссылке — там ведь тоже наших много. Вы и там работайте! Строго говоря, правительство, распахивая нас по ссылкам, помогает распространять наше движение по самым глухим углам матушки Расеи... Есть такая байка о Суворове: по-

бежали было наши солдатики от неприятеля, а Суворов кинулся к ним, кричит: «Так, так, братцы, заманивай их, заманивай, потом ударим!» То есть то, что было вредно, пагубно,— обратил в пользу. Так и вы. Вообразите, что вас посылает сама партия... Одного бойтесь: бездеятельности. Опуститесь, падете духом — и погибли. Нет, вы и там боритесь!

Глава четвертая

Об этом, полном тревог и напряжения периоде жизни Александра Аросева сохранилось мало документов. Правда, многое он раскрыл в своих книгах, но часть из написанного им пропала во время арестов и побегов. Остальные его произведения были популярны в двадцатых — тридцатых годах, как живое свидетельство непосредственного участника борьбы. Известный литературный критик тех лет Воронский считал Аросева первым писателем-коммунистом, изобразившим деятельность большевиков не со стороны, не с «верхов поэзии», а как бы изнутри, из самой гущи деяний.

Однако из скурых архивных документов — донесений секретных сотрудников, жандармов, полицейских — можно, как мозаику из мелких камушков, составить, кое-где дополняя воображением, картину его жизни в те глухие годы. Так мы узнаем, что «Александр Яковлев Аросев, сын цехового города Казани, арестованный 11 апреля 1909 года за принадлежность к комитету революционной ученической организации», 16 июня был выслан на два года под надзор в Тотьму Вологодской губернии, но уже 11 октября того же года бежал за границу...

В Льеже, в этом дымном европейском городе, Аросев не без труда разыскал русских политических эмигрантов; они предпочитали селиться кучкой, поближе друг к другу. И Александру нашли жилище неподалеку, в высоком сером доме со множеством квартир. Мадам Гаваш, хозяйка квартиры, сухопарая дама лет пятидесяти, не представлявшая, как с усмешкой отметил про себя Александр, большого соблазна для молодого человека, провела нового квартиранта в узкую сумрачную келью, обставленную лишь самым необходимым. Железная кровать, железная печка, топившаяся углем, эмалированные

таз с кувшином на трехногом умывальнике в углу, столик перед окном, пара венских стульев да узенький стенной шкаф. Зато цена оказалась вполне по карману беглецу со «спокойного севера». Денег, присланных матерью еще в ссылку, должно было хватить на первое время...

Прежде всего Александр отправился записываться на лекции в университет, плата за которые сразу пробила изрядную брешь в его бюджете. Но в девятнадцать лет кто не предпочел бы духовную пищу телесной? Сэкономит на еде, а там подыщет какую-нибудь работу, хотя бы метельщиком улиц!

В публичной библиотеке набрал французских книг, главным образом по истории Великой французской революции — для практики в языке, который знал пока только по урокам в реальном училище.

Первые дни ушли на знакомство с товарищами по эмиграции, на осмотр города. Потом начались лекции в университете, собрания эмигрантов с привычными еще по России горячими спорами, встречи с местными социалистами...

По ночам, когда в железной печке прогорали последние угольки, в комнатухе становилось холодно. Даже под периной Александр никак не мог согреться, да и в желудке урчало. Этот холод и вечное ощущение голода не давали уснуть. Невольно вспоминались тюремные камеры — и, как теплое мягкое облако, обволакивающее все эти неприятные ассоциации, вспоминалась дружба товарищей. Где-то они теперь? Коля Мальцев, Веча Скрябин, Виктор Тихомирнов? Как славно было рассуждать с ними о социализме, о том, что будет, когда революция победит — в чем они нимало не сомневались... «Скорее всего, будет все совсем не так, как мы представляем, — слышался Александру глуховатый голос Виктора. — Такие движения огромных человеческих масс не могут уложиться в сухие теоретические рамки. Наверное, возникнет что-то непредвиденное, которое сейчас нам и не объять ничтожным нашим разумом». — «Ну уж и ничтожным! — вспыхивал Николай. — Зачем такое самоуничижение?» — «Это не самоуничижение, а просто: что такое разум одного человека или даже многих людей в сравнении со стихией?» — возражал Николаю Александр, немедленно вызывая на себя атаку Вячеслава: «А, так, по-твоему, революция — стихия?!» И разгорался один из тех яростных споров, в которых, в сущно-

сти, все они были заодно, только не умели точно формулировать свои мысли и цеплялись за эти неточности. Сейчас, здесь, в этом чужом холодном городе, те споры, наскоки друзей казались Александру такой радостью, таким утерянным счастьем!

Господи, зачем я здесь? — тосковала мысль. Для чего мерзну под этой чужой периной? Уж мерзнуть, так, ей-богу, лучше в родных краях. Там осталось все свое, товарищи, самый близкий друг — мать...

Однажды утром в комнату Александра постучалась мадам Гаваш и с любезной улыбкой подала открытку. Александр недоуменно уставился на одно-единственное слово в открытке: «Рше» — и три восклицательных знака. Глянул на почтовый штемпель — отправлено из Вержболово. Пограничная станция.

И вдруг возликовал. Ну конечно же, Виктор! Пхе! Его любимое междометие! Им он выражал широкий диапазон чувств, от восторга до презрения... Значит, вырвался из ссылки, едет сюда, уже проехал границу! Милый Виктор — органически не выносит ничего обыкновенного. Ах, какая радость!

Сразу приятным стало все — и Льеж, и эта келья, и даже тощая мадам с ее жиденькой улыбкой.

Действительно, на третий день ввалился Тихомирнов. Друзья обнялись — и долго не могли выговорить ни слова.

— Бежал? — спросил наконец Александр.

— Да нет: отпустили на лечение. Сам знаешь, легкие... — Виктор не любил говорить о своей болезни и тотчас перешел к расспросам. — А ты как тут? И вообще, что здесь? Свобода, поди?

— Свобода-то свобода, да как-то больно... — не найдя определения, Александр только рукой махнул.

— Но как же так? Ведь социалисты тут — легальные?

— Вот именно. Легальные.

Александр принялся мерить шагами комнатку, пять шагов от двери к окну, столько же обратно. Виктор, сидя на стуле, долго следил взглядом за шагающим и вдруг онемевшим другом. Наконец не выдержал:

— Слушай, Сашич, перестань изображать маятник, сядь! Объясни толком, почему их легальность тебя... чуть ли не возмущает?

— Ну смотри. Был я пару дней назад в Народном доме. Слушал Вандервельде...

— Самого Вандервельде? Этого многолетнего учителя социализма?

— Его самого. Сигарами от него пахнет. А во всем Народном доме — этакый устоявшийся запах... кофе и пива. Они там на собраниях за столиками сидят, слушают да пивко потягивают. Или кофе.

— Ну и что? Да что он говорил-то?

— Знаешь, я вот стараюсь и не могу припомнить его главных мыслей, кроме одной: что он вовсе не считает себя марксистом. Почти ничего мне эта речь не дала, так все это как-то... обтекаемо. Любой наш пропагандист в глуши, в нелегальном кружке дает слушателям куда больше. Да, Вандервельде довольно остроумно критиковал частности, отдельные черты капитализма. Но ни к чему не призывал, ни к каким действиям.

— А они что? Слушатели-то?

— Аплодировали. Враз, словно по команде. Будто артисту. А потом, говоря о нем, поднимали подбородки и этак многозначительно произносили: «Вандервельде — это о-о-о!» А что такое «о-о-о», зачем оно — неизвестно. Нет, брат, если говорить честно, все эти Вандервельде с их Народными домами кажутся мне такими мизерными в сравнении с тем, что деется у нас дома. Послушай! — Александр коротко хохотнул. — На демонстрации выйдут с зонтиками! Вдруг дождь — не промокнуть бы.

— По-твоему, мы преувеличиваем значение революционной борьбы в Европе?

— Не знаю. Как-то уж все больно гладко... Ну да шут с ними! Ты расскажи, что у нас-то?

— Аресты, аресты. Московский комитет обновляется чуть ли не ежемесячно, и это не только печально, но и радостно: находятся же всякий раз новые люди! Мы как дракон: одну голову срубят, две новые вырастут. Об этом феномене, помнишь, еще Кулеша говорил, когда нас в первый раз посадили...

— Послушай, хочу туда! Настоящий огонь — там! Уж лучше сгореть, чем так вот тлеть! — вырвалось у Александра.

— «Иван Кузьмич, Иван Кузьмич, полно кипятиться». Наше дело сейчас — тут. Тлей не тлей, а работу делай. Будем получать нелегальную литературу.

— Откуда?

— Не знаю. Из Парижа, из Швейцарии. Откуда надо. Наша задача — переправлять ее в Россию.

— Ах, могут ли эти брошюрки, эти пачки газет дви-

нуть массы на штурм старых крепостей? — засомневался Александр.

Виктор засмеялся:

— «Друг Аркадий, не говори красиво!»

Весной 1910 года Аросев ненадолго обосновался в Париже, еще ближе к заграничному Центру. Но перед этим вместе с Виктором махнул в Италию, на остров Капри, где тогда жил Горький. Александру очень хотелось показать этому крупнейшему уже пролетарскому писателю свои первые опыты в литературе.

С бьющимся сердцем ожидал Александр человека, о котором ходили легенды, ради которого Короленко и Чехов отказались от звания почетных академиков — в знак протеста против царского запрещения избрать Горького почетным академиком в 1902 году.

За дверью слышались шаги, и...

«...вошел высокий человек, несколько согбенный, с подбородком чуть-чуть вперед и как бы плачущими глазами. Созерцательная печаль его лица особенно выражена была в складках около глаз и на скулах. Будто лицо прошло сквозь строй страданий и вот осталось навеки поцарапанным. Глаза глубоко провалились и смотрели, будто издали защищены были много испытывавшим лицом, и там, в глубине, сохраняли свободу своего созерцания, свободу смеяться, презирать и больше всего любить, любить...»

Так будет Аросев вспоминать впоследствии об этой встрече.

Так вот он какой, Горький! Александр представлял его себе совсем другим, хотя и не мог бы сказать, каким именно, может, более... парящим, что ли, не таким невероятно реалистичным. Как мог человек с таким печально-созерцательным лицом создать солнечные, яркие образы Лойко Зобара, и гордой Радды, и Данко с его горящим сердцем, и Сокола, разбившегося о камни, чтобы не умирать жалкой, низинной смертью! Но заглянув в эти сохранявшие свободу глаза, понял: да! Такие глаза способны увидеть и эти образы, и еще много-много другого, и грязь, и горечь, и человеческую подлость, но вместе с тем не потерять вкуса к радости, к высокому, к разумному: увидеть, и оценить, и понять, и объяснить людям...

Горький заговорил — и его, такое родное, волжское оканье разом согрело тоскующую по родине душу Алек-

сандра. С доверием попросил он критики и совета — и получил то и другое. Особенно советовал ему Горький побольше читать писателей, владеющих добротным русским языком, — Аксакова, Лескова, Льва Толстого.

На Капри Александр и Виктор расстались. Последний уезжал в Швейцарию, лечить свою легочную болезнь, которая и свела его в могилу девять лет спустя. Грустно простившись с другом — увидимся ли еще?! — Александр двинулся в Париж.

И вот он в этом прославленном городе, городе революций и реставраций, чьи камни освящены кровью коммунаров, чьи писатели и художники часто становились законодателями в искусстве, в городе гаменов и гризеток, Сорбонны и могилы Наполеона...

Двадцатилетний эмигрант очутился в этом чужом и сложном городе без денег, без пристанища. Пошел на биржу, нанялся каменщиком. С артелью каменщиков недели две мостил какую-то улицу, но эта работа кончилась, а другой не было. Перебивался случайными заработками. Голодал, позволял себе обедать раза два в неделю. Похудел.

Но все это было внешнее. А внутреннее — то, что для души, — было неисчерпаемым богатством!

Александр вступил в профсоюз каменщиков, ходил на собрания политэмигрантов, участвовал в демонстрациях безработных, слушал огненные речи Жореса — и читал, читал... Времени-то хватало.

Однажды его попросили зайти по некоему адресу. В тесной квартирке его встретил человек лет сорока всего, но уже сильно облысевший — лысина еще увеличивала его и без того мощный лоб. Под этим лбом сверкали живые, яркие, быстрые глаза.

— Зд'авствуйте, това'ищ А'осев, — протянул Александру руку этот человек, приятно проглатывая звук «р». И тотчас, как всякий, кто дорого ценит время, перешел к сути дела. — Т'удно вам тут? Соскучились по России? П'ек'асно. Поедете на родину. Повезете лите'ату'у. Нелегально, конечно! — Он слегка усмехнулся. — Денег у БЦ* немного, но на дорогу вам дадим... **

Александр вышел несколько ошеломленный и пото-

* БЦ — Большевиcтский Центр — во главе с В. И. Лениным руководил деятельностью большевистских организаций в России.

** Этот эпизод, как и многие другие, безымянные, не вошедшие в Биохронику В. И. Ленина, рассказан мне самим А. Я. Аросевым. (Прим. авт.)

му не сразу спохватился: да это ведь Ленин! Тот самый, чьи статьи они читали еще в России, восхищались непримиримостью позиции, смелостью суждений, точностью формулировок!

В октябре того же года Аросев был задержан уже в Москве. Хорошо, что успел передать партию литературы и выполнить еще устные поручения Ленина товарищам из Московского комитета. Александра снова препроводили в Тотму, но с разрешения губернатора вскоре перевели в Вологду: поднадзорный пожелал держать экзамен в фельдшерскую школу — кажется, единственное в ту пору учебное заведение в Вологде. Ведь перед молодыми революционерами стояла еще и проблема образования. Приходилось разрешать ее вот так, урывками: то Льежский университет, то вологодская фельдшерская школа...

Зато в Вологде жили друзья-ссылные: Вячеслав Скрябин и Николай Мальцев. Они тоже перевелись сюда в надежде получить хоть какое-то образование. Виктор Тихомирнов все еще жил в Швейцарии, лечился — и осуществлял связь между заграничным Центром и товарищами на родине.

Представление о том, как жили, чем интересовались, о чем горевали молодые революционеры, дает письмо неизвестного товарища из Казани в Вологду, Николаю Мальцеву, датированное 8 января 1911 года. Вот выдержки из него:

«...Сашич недавно писал мне, что товарищеская среда для нас — воздух, которым мы дышим... Экзамены мне не разрешили. Куда-нибудь ехать бесполезно, так как прошение подавал на имя министра. Прочитал «Анти-Дюринг», Фейербаха, из психологии общества — «Памяти Маркса», журнал «Возрождение»... Хорошо Вячеславе — у него и надежды, и убеждения, и стремления, вера в будущее — все осталось по-старому. Совсем не то у нас, по крайней мере у меня, — все время приходилось от самого отчаянного оптимизма, целого вихря надежд и груды планов перескакивать к полному их крушению. Социал-демократам придется много сил потратить на повседневную воспитательную работу, мелочную и скрытую, несогласную с революционным темпераментом бойца... Бываю у Аросевых... С Сашичем переписываюсь регулярно, чем со всеми. Даже в тюрьме получил от него

штук 7 писем и ему писал чуть ли не каждую неделю. Сашич, может быть, говорил, что общий дух у братин такой же живой и бодрый, как раньше...»

Горько думать, что такие интимные излияния человеческой души попали в руки жандармов, и они обнюхивали, пробовали на зуб каждое слово, стараясь раскрыть, о ком идет речь в письме. И раскрыли: «Сашич» — это Аросев, «Вячеслава» — Скрябин. Отправитель письма остался неизвестным. Само письмо затерялось в жандармских папках. Адресат его не получил.

Из других, очень достоверных (ибо официальных) источников мы узнаем, что ссыльные не унывали. Об этом свидетельствует, например, донесение секретного сотрудника Вологодского жандармского управления по кличке Демьян, датированное июлем 1911 года:

«Проживающие в Вологде ссыльные Александр Аросев, Вячеслав Скрябин и Николай Мальцев задались целью организовать там социаль-демократическую фракцию, для чего стремились завязать сношения среди железнодорожных служащих и местных жителей. Самым деятельным из них является Скрябин, по предложению которого 11 июля вечером в кустарниках за городом была назначена сходка. Скрябин желал сделать доклад о положении социаль-демократической партии вообще, а также о необходимости организовать в Вологде социаль-демократическую фракцию и привлечь к ней возможно большее число членов из сознательных людей. Разбросанные в ночь на 1 мая прокламации были составлены этими тремя ссыльными, но где и на чьем гектографе отпечатаны — не установлено. Аросев 24 июня выезжал, по его словам, в Москву, чтобы завязать сношения с Московской организацией, у кого он там проживал, неизвестно. Результат его поездки неизвестен, так как он теперь арестован...»

Да. Не успел Александр вернуться в Вологду из своей самовольной отлучки в Москву по партийным делам — а это было буквально за несколько дней до окончания срока его ссылки, — как снова был арестован за подпольную деятельность. И, не дав ему даже повидаться с семьей после двух лет разлуки, его угнали на сей раз далеко на север, в Архангельскую губернию.

Отодвинутые в далекое время слова «идти по этапу» давно утратили для нас свой реальный, свой страшный

смысл. Идти по этапу — уже само по себе наказание, пытка растянутым на недели физическим страданием от голода, холода, унижения, от грубостей конвойных... Грязь, невозможность элементарно умыться, элементарно выпаться, судороги в онемевших ногах — от ходьбы, от тяжести кандалов. Так брели этапники от ночлега к ночлегу — в пересыльных тюрьмах попутных городов, в сараях попутных деревень, а то и под открытым небом у костра, в любую погоду. В начале века, правда, скорости ради, стали перевозить арестантов на поездах, на баржах, на дровнях или телегах.

Всему этому предшествовало томительное сидение в тюрьме, пока не подберется «партия», то есть достаточное количество высылаемых в одном направлении. «Партия» — это и беспаспортные бродяги, «не помнящие родства», и уголовники — воры, убийцы, проститутки, — и политические. Мужчины и женщины. Одним путь — в тюрьмы других городов, другим — на «родину», которую они давно забыли, третьим — в ссылку, четвертым — в каторгу. Весьма пестрая смесь одежд и лиц, причем одежда, как правило, отнюдь не была приспособлена к такого рода путешествию. Часто человека арестуют летом, а «партия» отправляется хорошо если осенью, а то и зимой. Иди, в чем был при аресте, если только тебе не успели или не сумели передать с воли теплое.

Но вот «партия» собрана. Тебя выкликают среди глухой ночи с вещами, а в коридоре уже выстроились товарищи по несчастью. Ведут на проверку. В холодной караулке приказывают раздеться донага и надзиратель жесткими пальцами елозит по твоему голому телу, ощупывает — гадко, унижительно, щекотно... Потом он брезгливо перебирает твое жалкое имущество, разбрасывая вещи, наконец, презрительно цедит сквозь зубы: «Оденьсь!» — и ты поспешно заталкиваешь свои вещички как попало в мешок, в корзинку, в узелок...

Впереди выстраивают каторжан — они в кандалах! — за ними бродяг, уголовников, политических и, наконец, женщин. Распахивается дверь во двор, врывается белое морозное облако, перехватывая дыхание. Поднимается кашель, лязгают цепи, раздается хриплая команда — и двинулась в предрассветную темноту трагическая процессия. Зашагали люди, у которых другие люди отняли свободу, волю, все естественнейшие права человека.

Позади колонны скрипят по снегу полозья дровен с барахлом, с больными, с женщинами.

С одной такой колонной и отправился из вологодской в архангельскую ссылку Александр Аросев.

До Архангельска, правда, предстояло ехать поездом. Часа два стояла колонна на перроне; скованные морозом, уже потеряв всякую чувствительность, люди жались друг к дружке, не чая живыми дожидаться поезда. Но он все-таки пришел. В вагоне согрелись, но тут вместо мороза мучила духота, спертый воздух, пропахший немытыми телами, грязным тряпьем. Было тесно. Зато можно было познакомиться со спутниками, даже завести мимолетный арестантский флирт, посмеяться даже, подшутить над конвойными и друг над другом.

В Архангельске «партия» разделилась. Одни остались в местной тюрьме или на поселении, другие пошли в Пинегу. Небольшой группе ссыльных, в которую вошел и Александр, предстояло покрыть еще сотни верст до Мезени.

Ссыльных везли в скрипучих розвальнях. Везли только засветло — ночью опасались эксцессов. А северные дни зимой коротки. За эти несколько часов лошади могли пройти не более тридцати верст. Стало быть, подсчитал Александр, в дороге они проведут недели три, а то и месяц.

Первые четыре ночевки были еще в деревнях, а там пошли уже безлюдные края. Ночевали в ямах, вырытых, быть может, их давними предшественниками. Разводили костер, варили в чугунном котле пшеничную похлебку, и в нем же — чай; воду добывали, растопив снег. Потом укладывались прямо на снегу, поплотнее друг к другу, и засыпало их милосердным снегом, под покровом которого становилось все-таки чуточку теплее... День за днем, ночь за ночью.

Вскоре Александру стало казаться, что в мире нет ничего, кроме мутного неба да белого снега. Трава, цветы, города, смех, массы, классы — все это выдуманно, все привиделось когда-то во сне.

Но вот же, под грязной рубашкой, у самого сердца, — пропитанная потом бумажка, а на ней чернильные, расплывшиеся, уже еле различимые строчки — последнее письмо от матери, полученное еще в Вологде. Значит, все-таки есть, все-таки живут где-то там, в другом мире, сероглазая, седая и молодая мама, и братья с сестрами, и товарищи. Значит, были же, были и Париж, и Капри, и Ленин, и Горький. Но где же, где все это осталось, в каком мире? И будут ли снова — огни, дома, люди?

Здесь — ночь, метель, тлеющее кострище, угрюмые конвойные да далекий волчий вой.

А Александр так молод, так хочется ему света, тепла, любви...

Глава пятая

1 июня 1912 года мезенский исправник получил донесение от полицейского надзирателя деревни Долгая Щель: «28 мая с. г. из места ссылки скрылся Аросев Александр Яковлев, 2 аршина 6 вершков росту, лицо чистое, волосы и брови темные, усы чуть заметные». А сбоку — приписка карандашом: «Крестьянин Евстафий Григорьев Селиверстов».

К перрону Николаевского вокзала в Москве устало подкатил поезд дальнего следования. Запыленный паровоз изнемогал. Вагоны толкали друг друга в спину: скорее, скорее, чтоб стать. Еще, еще чуть-чуть... ф-фу. Стали. Лязг.

Соскочили кондукторы, забежали носильщики. Полезли из обезжизневших вагонов чемоданы, баулы — вещи. При них — люди. Весь перрон затопили, превратили в живую реку. Ползла, ползла эта река долго, пока не иссякла. Она вынесла в город молодого человека с татарскими скулами и зоркими серыми глазами. Он нес в руке небольшой саквояжик, с каким ездят по визитам частнопрактикующие врачи. Видно, приехал молодой человек не издалека и ненадолго. Откуда-нибудь из Твери, например. Или из Торжка. На день-другой, навестить богатую тетку. А то по коммерческим делам. Одет прилично: котелок, черное пальто, брюки в полоску, серые гетры.

Таков был вид у него. Но он озирался и вдыхал московские запахи как человек, наслаждающийся дымом отечества после долгих странствий.

Он вышел на пустынную, огромную привокзальную площадь. По бульжникам рассыпалась сенная труха, там и сям курились пахучие лошадиные яблоки. Вдоль тротуара неровно выстроились извозчики. Лошади не влад махали торбами, привязанными у них под мордой,

словно сами зазывали седоков. Боком, лениво сидели зеленокафтаные «ваньки». Приезжий молодой человек, видно, не спешил: постоял, посмотрел, как усаживаются и отъезжают пассажиры, потом тихонько побрел в кривые переулки, отходившие от площади.

Он дошел до Мясницких ворот и там нанял извозчика. У Пречистенских ворот отпустил «ваньку» и вошел в огромный, нарядный, как именинный торт, храм Христа Спасителя.

Службы не было, несколько старушек кланялись образам. Безмолвно сияли царские врата. Цветной полумрак был как сгустившаяся тишина.

Минут десять пробыл в храме приезжий и все стоял, не сводя глаз с иконного лика. Икона была застеклена, в тонком стекле отражались синие, красные огоньки, качающиеся силуэты богомолок. И — вход. Кроме старух, не было никого. Молодой человек подхватил саквояж и вышел на солнечный свет.

Осень близилась. В сквере Девичьего поля багрянцем тронуло листья. Пахло сладкой прелью. На дорожках, красных от кирпичной крошки, девочки прыгали в классы. Молодой человек пересек сквер и зашагал по кривому переулку, круто сбегавшему к Москве-реке. Там теснились домишки, рубленые и оштукатуренные, с мезонинами и без, их разделяли дворики — сирень, бузина, лопухи. В дверь одного такого, желтенького, с зеленой железной крышей, он и постучался.

— Вам кого? — выглянула не в дверь, а в окошко рядом с дверью женщина в пуховой шали.

— Не сдадите ли комнату одинокому, — сказал приезжий совершенно не вопросительным тоном, а как бы что-то утверждая.

— Отчего же, комната найдется. Только сойдемся ли в цене? — отвечала женщина, улыбаясь широким простым лицом.

— В цене сойдемся, — улыбкой ответил приезжий и приподнял котелок.

Внимательный наблюдатель заметил бы, что оба ведут как бы другой, никому не слышный диалог, как будто под пустыми словами скрывали что-то важное и приятное для обоих.

В тот же день хозяйка отметила в околотке паспорт нового жильца. Паспорт был выдан Казимиру Францевичу Вертынскому с пометкой на нужной странице: «Душевнобольной».

Рано утром, когда на соседней текстильной фабрике Гюбнера заревел гудок, Казимир Францевич, в своем котелке и черном пальто, вышел из дому. Осторожно ступая начищенными ботинками, он прошел вдоль огородов, где на черных грядках сырели светлые шары капусты. Обогнув высокий коричневый забор текстильной фабрики, он побрел переулками вверх, к Царицынской улице.

То были места исторические. Вот здесь, вспоминал Казимир Францевич описанные Толстым живые картины, здесь французы расстреливали «поджигателей». Ах, тот бедный мальчишка фабричный никак не хотел умирать, все вырывался, потом вдруг поник и безропотно пошел к столбу. Здесь стоял балаган, где содержались русские пленные и где простачок Платон Каратаев смущал ищущую душу графа Безухова. А по этому мосту, нахлестывая лошадей, уходила к Калужской дороге русская армия — сохраненная сила народная.

Из-за кривых деревянных заборов, из-за крыш с петушками — совсем как в деревне — завиднелись на том берегу на холме желтые корпуса Первой Градской больницы.

Казимир Францевич записался на прием к доктору Обуху. И когда подошло время, ступил в его кабинет.

— Сашич! — радостно закричал навстречу ему румяный красавец в очках. — Сашич, друг окаянный!

И он бросился к Казимиру Францевичу, который от неожиданности замер на пороге.

— Простите, вы ошиблись... — растерянно забормотал он, но в ответ услышал раскатистый хохот: из-за ширмы выходил, вытирая руки полотенцем, огромный, очень толстый человек — доктор Обух.

— Будьте как дома, Аросев, — все еще смеясь, сказал он. — Здесь у меня вольная территория. А засим позвольте представить: Виктор Александрович Тихомирнов, потомственный почетный гражданин Казани...

— Витька! Ты совсем обалдел: разве можно так накидываться на нелегального человека? — захохотал мнимый Казимир.

— «Иван Кузьмич, Иван Кузьмич, полно кипятиться, ведь можно обвариться!» — пропел Виктор, подтаскивая Аросева к окну.

— Ах, Виктор, ты вот смеешься, — взволнованно заговорил Александр. — А я так врос в свою новую кожу,

что мне очень трудно сразу стать самим собой...— Сияющая улыбка приподняла его татарские скулы. Он оттаивал.

Только сейчас, когда Виктор немного отстранился, Александр сумел как следует разглядеть друга. Тот выглядел настоящим босиком. Галоши на босу ногу перевязаны бечевочкой, низ брюк в бахроме, на плечах какой-то порыжелый архалук. Очки вступали в жестокий спор с костюмом хитрованца.

— Хорошо? — рассмеялся Виктор, следивший за другом: карие глаза его за стеклами очков беспрестанно чуть-чуть покачивались из стороны в сторону, как глаза дорогой куклы.— И то спасибо, Владимир Ильич галоши свои мне отдал, а то бы босиком приперся.

— Это в первопрестольную-то! Ах, бесстыдник!

— Да еще из Европы,— весело подхватил Обух.— Какова нынче парижская мода-то! Но прежде давайте о деле.— Доктор стал серьезен, даже нахмурился.

Виктор и Александр, забыв погасить улыбки, подсели к столу. Станный они составляли контраст: коренастый, благополучный на вид купчик средней руки и высокий, сутуловатый, с красивым интеллигентным лицом оборванец сидели в кабинете известного врача, говорили о чем-то деловито, настойчиво.

И странные слова мелькали: прокламации... шрифт... провал комитета.

— Опять провален Московский комитет? — поднял брови Виктор.

— По сути, осталось двое, я в том числе. Видно, доброту законспирированы,— хмуро ответил Обух.

— Или оставлены «на расплод»,— вслух подумал Александр.

— Может быть, и так,— отозвался Обух.— Тем не менее работать будем.

— Владимир Ильич говорил о необходимости организовать, параллельно с петербургской «Правдой», московскую газету,— вставил Виктор.— В Петербурге сейчас Вячеслав, редактирует «Правду». А в Москву, насколько я понимаю, затем я и прислан...

— Да, это вам задание. Средства собираем с весны. Аросев, как зажигательный оратор (Александр, не притворяйтесь смущенным, вы не примадонна),— Аросев пойдет на заводы.

— На носу две даты, которые нельзя пропустить,— сказал Александр, немного краснея от предыдущего мет-

кого замечания Обуха.— Годовщина Ленского расстрела и трехсотлетие дома Романовых.

— Безусловно. Положение вообще довольно ободряющее: явно начался новый подъем. Очень много бастуют. И заметьте, далеко не только с экономическими требованиями. Кажется,— тьфу, тьфу, не сглазить бы — кончилась депрессия.

— Да, но шрифты, типография. И главное — люди...— задумчиво протянул Виктор.

— А вот Аросев и будет привлекать людей. И — обрадую вас — должны появиться еще товарищи. Они уже в пути.

— Кто именно?

— Из Рязани — Дугачев. Костя Стриевский, Варенцова...

— Ольга Афанасьевна! — воскликнул Саша.— Я ее знаю. Очень милая, умная женщина. Мы были вместе в вологодской ссылке. Она мне как мать.

— Да, вот пятьдесят лет женщине, всю жизнь — в революционной работе и не устала! А такая хрупкая на вид,— заметил Обух.— И все мы вместе заменим собой разгромленный Московский комитет.

— Вот что, доктор,— проговорил долго молчавший Виктор.— Если вы остались от предыдущего комитета, то за вами наверняка установлена слежка. И встречаться у вас нельзя. Напрасно мы и сегодня-то пришли сюда. Но других явок у меня не было.

— Да, конечно, больше мы здесь встречаться не будем,— подхватил Обух.— Наш почтовый ящик — в аптеке напротив клиник у Девичьего поля, знаете? Там провизор — наш человек. Надо к нему подойти и спросить белладонны. Он ответит, что не знает, есть ли белладонна на складе, и попросит вас пройти с ним во внутреннее помещение. И там вы передадите ему что надо. Ну, товарищи... Как говорили в старые студенческие годы, ни пуха, ни пера!

Пальто и ботинки Обуха оказались намного велики Виктору, но он с наслаждением шевелил пальцами ног в просторной, еще теплой от прежнего хозяина обуви.

— Нет, Сашич, это просто чудесно, когда улагодворено грешное тело,— говорил он другу; они спускались

мимо городской свалки* к песчаному берегу Москвы-реки.

— Уж кому об этом знать, как не нам, беглым ссыльным,— согласился Александр, подталкивая Виктора локтем в бок.

Удивительная вещь память: будто выключателем щелкнула, свет зажгла — и Саша видит себя мальчишкой, он и Виктор — в черных гимнастерках реального училища, и шагают они рядом по набережной Булака в родной Казани. Было ль это? Было, было, и даже совсем недавно...

— А помнишь, как мы с гимназерами на Булаке дрались? — спросил вдруг Виктор, и вопрос его так плотно лег в обойму мыслей Саши, что он даже не удивился совпадению. Усмехнулся:

— Горяч ты был в драке.

— Еще бы — мне очки разбили, я обозлился.

Оба засмеялись тому, какими были смешными: дрались с гимназистами так, без причины, потому только, что у тех серая форма, а у реалистов — черная.

— Не столь же ли «уважительны» и причины многих войн? — выговорил Александр, сожалея над глупым людским родом.

— Э, брат, вижу, ты Вольтера начитался, — захохотал Виктор. — Ядовит старик — хорош для ниспровержения. Ну, это в сторону. Мы с тобой после Капри сто лет не виделись — рассказывай. Куда ты девался после второй вологодской ссылки?

— О, долгая история. В Вологде мы с Вечкой и Қолькой основали организацию...

— РСДРП?

— А какую же еще? Притом большевиков. Ну, как водится, к Первому мая прокламацию выпустили... — Саша вдруг засмеялся. — Представляешь зрелище: наутро конные городовые соскабливают с заборов наши листки — шашками, шашками, канальи! А мы с ребятами так и покатываемся, выглядывая с подловка.

— С чего?

— А, это вологодское словечко — чердак означает. Мы на чердаке «квартиру» снимали. Ну вот, Коля с Вячеславом успели уехать, их срок кончился, а меня, раба

* На месте этой свалки позднее был открыт Парк культуры и отдыха им. Горького. (Прим. авт.)

божьего, на цугундер: я ведь из Вологды в Москву махал самовольно, по нашим делам.

— Почему провалился?

— Был там у нас тип один — рабочий, щеголь. Провокатором оказался, Коншин его фамилия. А я-то дивился, откуда жандармы не только дела наши, но и замыслы знают... Ларчик-то просто открывался!

— Страшная вещь предательство,— помолчав, заговорил Виктор.— Непостижима его природа: как-то иначе устроена психика предателя. Но я заметил, среди условий, наталкивающих на предательство, обязательно оказывается уязвленное самолюбие. Даже христианская легенда об Иуде рассказывает о его ущербном самолюбии.

— По-моему, всякое новаторское движение неминуемо сопровождается предательством: ведь оно отвергает что-то или кого-то. Предатели, как акулы, кружат вокруг кораблей, чуя поживу. Вот и вокруг нашего корабля...

— Да, но распознать... Ужасно думать, что кто-то из товарищей... Впрочем, философию побоку. Рассказывай дальше!

— Арестовали меня, раба божия, и двинули дальше на север. Ты Канин Нос помнишь из географии?

— А как же — по оригинальному названию.

— А я запомнил по звериной тоске. Сначала-то меня в Мезень направили. Там большая группа наших ссыльных, я там познакомился с чудесным парнем из Донбасса, Климом Ворошиловым. Мы там устроили обструкцию надзирателю: он обходит дома, где мы живем, чтоб проверить нас, а мы не открываем. Тогда меня закатали еще дальше, в деревню Долгая Щель. Устье реки Мезень, берег Ледовитого океана. У самого основания Канина полуострова. От всех этих слов холодом веет... Нет, природа там величественна и даже своеобразно прекрасна. Но — пустота. Пустота — это не тогда, когда ничего нет. Это — когда что-нибудь одно, но — необъятное. Небо. Земля. Впереди — стена: океан. Он будто поднимается к небу и вот-вот хлынет, затопит сушу. Да там и бывает такой феномен: бросается океан в реку, и Мезень течет вспять. На этом мы и построили идею побега.

— Опять бежал? — с радостным восхищением воскликнул Виктор.

— Тебе мое правило известно: в местах отдаленных не засиживаться. Погано там. Тупеешь, начинается разложение умственное, разложение воли. На это, видно, и

рассчитана ссылка. Говорят, тюрьма хуже. Неверно. Сколько наших сломилось именно в ссылке! Омешанились, измельчали... А кто просто умер от лишений. Вот Кулеша умер в ссылке, помнишь?

— Ах! — воскликнул Виктор, остановился даже. — Кулеша умер? Ведь я с ним с первым связь нащупал, — грустно проговорил он. — Именно Кулеша поручил мне ученическую организацию сколотить.

— И для меня он был первым большевиком. Да... — Саша помолчал, потом, встряхнувшись, стал рассказывать дальше: — Ну вот, сговорились мы с одним товарищем и выехали на лодке, когда Мезень вспять пошла. Будто рыбачить. Пропитание, так сказать, добывать. К вечеру ушли далеко, верст за десять, кто его знает, там версты немеренные. Когда вода двинулась обратно к океану, мы вышли на берег — продолжать путь пешком, по кочкам. Вдруг вижу — товарищ мой на ногах не стоит. Бредит, горит весь. Оказывается, у него малярия, подхватил, когда работал на Кавказе. Что делать? Нести его — не под силу. Бросить — нельзя. Оставаться на месте — поймают. Ну и привез я его к рассвету домой. Досадно, конечно, пропал весь труд. Утром, как полагается, спокойно отметил у околоточного. А через пару дней снова пошел в тундру.

— Один?

— Один. Вот когда я узнал, до чего мал человек. Идешь — и будто с места не сходишь. Небо огромное, тундра — куда глаз хватает, ориентиров никаких, и ты, как букашка мизерная, ползешь посреди, и нет тебе ни дна, ни крыши. Жутко!

— Сколько же ты так шел?

— Пока шел — не знал, сбился со счета. А пришел — оказывается, неделю был в походе. Спал прямо на земле. То есть тогда еще снег не сошел — начало лета. В первый раз страшно было. Неужели, думаю, мне в эту кашу ложиться? А как откажут ноги — ляжешь, брат, куда угодно! Скомандовал я себе: «Наплевать на кровать, на снегу буду спать» — и лег. Черт с ним. Заснул даже. Проснулся — барабан стучит. Откуда в тундре барабан? Оказывается, собственные зубы стучат.

— Развел бы костер, чужак!

— Да вот беда — дровишек не припас! Ну, до Пинеги добежал, а там уж цивилизация: дома, люди... Пинега — какое слово! — с восхищением прервал себя Саша. — Снежная тишина, синий от холода нос, мороз щиплется:

Я крестьянином переоделся, на пароход нанялся — посуду мыть. До Питера добрался. Но вот незадача: рукопись я свою в тундре посеял...

— Рукопись?

— Ну да,— конфузясь, виновато сознался Саша.— Написал было повесть... Про нас.

— Когда же ты успел, если все время в бегах?

— Да я ее давно начал, в Вологде еще.

— Это жалко,— подумав, строго сказал Виктор (строго, чтоб прогнать смущение Саши).— Такие времена... Как текущая вода — потом не вспомнишь!

А жизнь не может стоять на месте,
Забыть не хочет былых шагов.

— Это откуда?

— Да так. Сложилось как-то ночью,— теперь смутился уже Виктор и, чтобы подавить это смущение, снова заговорил о пропавшей рукописи Александра.— Нашел место, где сеять,— в тундре! Бесплодная почва. Знаешь, по-моему, равно трудно писать о том, что было до рождения Христова, как и о том, что случилось на твоей памяти — пять, десять лет назад...

— Ничего, я почти все помню. И когда-нибудь обязательно восстановлю. Я уже и заголовок придумал: «Корни»! *

— Н-да... Разве что потом. Теперь-то вряд ли сможешь. Тут, в Москве, видно, свои Коншины действуют.

Они уже перешли через Крымский мост и приближались к Зубовской площади, посередине которой томился под солнцем чахлый скверик.

— Ты где остановился? — очнулся от задумчивости Саша.

— Нигде еще. Я сразу — к Обуху.

— И не ел еще? — Александр ужаснулся.— И молчишь, негодяй! Индеец какой-то! Пошли ко мне!

На берегу Яузы собралось множество людей. Неяркая то была толпа, не блестели золотые аксельбанты, не пестрели радостно наряды дам. Серые, черные, синие косоворотки, сапоги, картузы, насаженные всяко — и истоиво прямо, и ухарски набекрень, и хмуро на самые бро-

* Роман А. Я. Аросева, действительно изданный в 1932 г. (Прим. авт.)

ви, и добродушно сбитые на затылок. А женщины — в дешевых платочках, в кофтенках с оборками, шитых своими руками, темные до щиколоток юбки, коты на босу ногу...

Эта людская масса перемешивалась, будто варилась густая чернозеренная каша. Говор стоял, негромкий, слитный. Ждали чего-то.

Ходили в толпе некие люди, подходили к одному, к другому, чуть отворачивали полы пиджаков, показывали кружки — простые, жестяные, как для сбора церковных подаваний. Те, к кому эти люди обращались, незаметно опускали в кружки мелкие монетки.

Многие то и дело поглядывали на небо, будто ждали дождя. А дождя-то ждать нечего было: лазурь в вышине натянулась, мягкая, и еле заметно лоснилась, будто ее чуть-чуть растопило солнце.

Неподалеку лежал огромный открытый плац, вымощенный булыжником. Там стояло группкой несколько человек, тоже поглядывая на небо. Один из них одет был несколько иначе, чем все, — так одевался тогда средней руки купчик. Но обращались к этому человеку почему-то со словом «товарищ».

— Что, товарищ, много ли удалось собрать? — подошел к «купчику» рабочий с длинным серым лицом и обвислыми усами.

«Купчик» оторвался от созерцания неба, повернулся к спрашивавшему:

— Собрали-то столько, что и начинать можно. Остановка за техникой. Да еще людей ждем.

— Техника! А мы на что, типографы?

— Тут, брат, в карманах шрифта не натаскаешь. Настоящая типография нужна. Газета — это тебе не листовки катать.

В это время из-за Яузы донеслось стрекотанье. Если бы теперь взглянуть сверху, увидели бы, как чернозеренная каша хлынула к плацу — словно горшок на стол опрокинули.

— Летит! Урра-а-а! — веселым отчаянием зазвенел мальчишеский крик.

Низко над крышами, стрекоча и покачиваясь на огромных парных крыльях, двигалось в воздухе ажурное сооружение.

Аэроплан все ниже, все ближе, все громаднее. Он был уже так низко, что люди шарахались из-под его летучей тени.



Вид города Казани,
где родился А. Я. Аросев.



Родители А. Я. Аросева
Мария Августовна
и Яков Михайлович.



А. Я. Аросев — учащийся казанского
реального училища.



В. М. Скрябин (Молотов) и В. А. Тихомирнов (справа) —
друзья юности А. Я. Аросева, вместе с которыми
он начинал революционную работу.



Ордер губернского
жандармского
управления на обыск
у А. Я. Аросева
в Казани. 1909 г.



А. Я. Аросев —
активный работник
большевистских
организаций
в 1910—1914 гг.



Боевые соратники,
члены штаба МВРК
в октябре 1917 г.
(слева направо). Сидят:
А. А. Бурдуков, Н. И. Муралов,
А. Я. Аросев. Стоят:
Мандельштам, Прозоров.

Во дворе штаба МВО.
В центре: А. Я. Аросев
и Н. И. Муралов с сыном
Володей. 1924 г.



Обложка
брошюры А. Я. Аросева
«Москва — Париж».

А. Я. Аросев (слева)
и сотрудники
советского полпредства
на выставке
советской графики
в Брно
(Чехословакия).





БОЛЬШИЕ ПОЖАРЫ

РОМАН 25 ПИСАТЕЛЕЙ

[illegible]

1. Содержание 2. Введение 3. Основы теории 4. Методы исследования 5. Результаты 6. Выводы 7. Список литературы 8. Приложения 9. Заключение 10. Дополнительные материалы 11. Сводная таблица 12. График 13. Схема 14. Таблица 15. Диаграмма 16. Картинка 17. Формула 18. Текст 19. Таблица 20. График 21. Схема 22. Таблица 23. График 24. Схема 25. Таблица 26. График 27. Схема 28. Таблица 29. График 30. Схема 31. Таблица 32. График 33. Схема 34. Таблица 35. График 36. Схема 37. Таблица 38. График 39. Схема 40. Таблица 41. График 42. Схема 43. Таблица 44. График 45. Схема 46. Таблица 47. График 48. Схема 49. Таблица 50. График 51. Схема 52. Таблица 53. График 54. Схема 55. Таблица 56. График 57. Схема 58. Таблица 59. График 60. Схема 61. Таблица 62. График 63. Схема 64. Таблица 65. График 66. Схема 67. Таблица 68. График 69. Схема 70. Таблица 71. График 72. Схема 73. Таблица 74. График 75. Схема 76. Таблица 77. График 78. Схема 79. Таблица 80. График 81. Схема 82. Таблица 83. График 84. Схема 85. Таблица 86. График 87. Схема 88. Таблица 89. График 90. Схема 91. Таблица 92. График 93. Схема 94. Таблица 95. График 96. Схема 97. Таблица 98. График 99. Схема 100. Таблица 101. График 102. Схема 103. Таблица 104. График 105. Схема 106. Таблица 107. График 108. Схема 109. Таблица 110. График 111. Схема 112. Таблица 113. График 114. Схема 115. Таблица 116. График 117. Схема 118. Таблица 119. График 120. Схема 121. Таблица 122. График 123. Схема 124. Таблица 125. График 126. Схема 127. Таблица 128. График 129. Схема 130. Таблица 131. График 132. Схема 133. Таблица 134. График 135. Схема 136. Таблица 137. График 138. Схема 139. Таблица 140. График 141. Схема 142. Таблица 143. График 144. Схема 145. Таблица 146. График 147. Схема 148. Таблица 149. График 150. Схема 151. Таблица 152. График 153. Схема 154. Таблица 155. График 156. Схема 157. Таблица 158. График 159. Схема 160. Таблица 161. График 162. Схема 163. Таблица 164. График 165. Схема 166. Таблица 167. График 168. Схема 169. Таблица 170. График 171. Схема 172. Таблица 173. График 174. Схема 175. Таблица 176. График 177. Схема 178. Таблица 179. График 180. Схема 181. Таблица 182. График 183. Схема 184. Таблица 185. График 186. Схема 187. Таблица 188. График 189. Схема 190. Таблица 191. График 192. Схема 193. Таблица 194. График 195. Схема 196. Таблица 197. График 198. Схема 199. Таблица 200. График 201. Схема 202. Таблица 203. График 204. Схема 205. Таблица 206. График 207. Схема 208. Таблица 209. График 210. Схема 211. Таблица 212. График 213. Схема 214. Таблица 215. График 216. Схема 217. Таблица 218. График 219. Схема 220. Таблица 221. График 222. Схема 223. Таблица 224. График 225. Схема 226. Таблица 227. График 228. Схема 229. Таблица 230. График 231. Схема 232. Таблица 233. График 234. Схема 235. Таблица 236. График 237. Схема 238. Таблица 239. График 240. Схема 241. Таблица 242. График 243. Схема 244. Таблица 245. График 246. Схема 247. Таблица 248. График 249. Схема 250. Таблица 251. График 252. Схема 253. Таблица 254. График 255. Схема 256. Таблица 257. График 258. Схема 259. Таблица 260. График 261. Схема 262. Таблица 263. График 264. Схема 265. Таблица 266. График 267. Схема 268. Таблица 269. График 270. Схема 271. Таблица 272. График 273. Схема 274. Таблица 275. График 276. Схема 277. Таблица 278. График 279. Схема 280. Таблица 281. График 282. Схема 283. Таблица 284. График 285. Схема 286. Таблица 287. График 288. Схема 289. Таблица 290. График 291. Схема 292. Таблица 293. График 294. Схема 295. Таблица 296. График 297. Схема 298. Таблица 299. График 300. Схема 301. Таблица 302. График 303. Схема 304. Таблица 305. График 306. Схема 307. Таблица 308. График 309. Схема 310. Таблица 311. График 312. Схема 313. Таблица 314. <

Глава XXIII. «Марсианин».

A. A p o c a l.

В этом году очень красный Марс. Притом багровый Психитрите, если бы вертели чашу ладоней, вы бы непременно увидели на чаши армянскую рыбку и ледяной Овал тридцатый. То бледнеет, то опять делается лиловато-красной. Это месяцы-то еще не был таков Марс. Видно, будет война для революции.

Материализма в притягательном себе так-
же — дуализм, дуализм, дуализм! По-
тому, что у него есть больше и света
и тьмы. А потому его тоже притягатель-
но и бо- жеское, как и притягательный шар.
Рост материализма — процесс с объектами

Мы вынуждены не видеть тамна зюга? Конечно. Присмотритесь хорошенько к людям в людном месте: стоит присмотреться к людям, как понять, что человек — это

Ему надо было из российских пределов вырваться за границу. И надо было сделать (быстрей, иначе — пропала его будущая роль) вместе с Казанов — затаившим злобу.

[illegible]

Голландский итервал от Марса
и звездная пыль по закону 70 направле-
ния. Вспомогательная линия, соединяющая

Большинство из них имеют следующие названия:

[illegible]

**ВЕСЕКОЕНОЕ
ОБЩЕСТВО
СТАРЫХ БОЛШЕВИКОВ**

№ 14. т. 198 г.

Москва, Ленинградский проспект, д. 6.
Телефон: 4-40-40

ТОГ. ВОРОНОВУ Ел.

Дорогой товарищ!

Тог. Александр Яковлевич попал в заложники о выступлении в О-во старых большевиков.

В своем автобиографии он указывает, что Вы его знаете по партийной работе более 20 лет.

Секретарь Президиума Всес. О-ва старых большевиков просят Вас, если найдете возможным дать ему рекомендацию для выступления в О-во.

Затем просим не задерживать..

Секретарь Президиума
Совета О-ва:

(Шер)

Страница журнала «Огонек» (1927, № 3), где публиковался коллективный роман советских писателей, посвященный 10-летию Октября. Глава, написанная А. Я. Аросевым.

Бланк для вступления
А. Я. Аросева в Общество
старых большевиков
с рекомендацией
К. Е. Ворошилова.



А. Я. Аросев (3-й справа)
на заседании по поводу
годовщины МВРК.
Женщина в президиуме —
О. А. Варенцова, 1935 г.

А. Я. Аросев читает
рассказы М. Зощенко.

— Ура-а-а! — орало уже множество глоток, и шапки прыгали в воздухе.

«Фарман» сделал над плацем три круга, толпа бежала за ним, крутясь по плацу, и не могла догнать. Но вот он совсем спустился, сел на булыжники неподалеку от военной тюрьмы. Люди, крича, хохоча, задыхаясь от бега, сразу облегли его плотным кольцом тел, восклицаний, восторженных взглядов. Под сенью широких верхних крыльев сидел человек в кожаном шлеме. Вот он поднялся, прыгнул на землю — высокий и гибкий, как молодой тополь, с лицом нерусской красоты, удлиненным черной остроконечной бородкой. Д'Артаньян двадцатого века!

«Купчик» долго жал руку авиатору, а крики восторга были столь оглушительны, что оба едва расслышали фамилии друг друга.

— Вертынский, — сказал один.

— Россинский, — отозвался другой.

— Спасибо, господин Россинский, — начал было «купчик», но пилот перебил его:

— Если можно, прошу — называйте меня товарищем.

— Прекрасно! Спасибо, товарищ Россинский, ваш полет дал нам великолепный успех!

— Я рад. Не спрашиваю, на что пойдут средства. Но честное слово, мне приятнее отдавать весь сбор вам, чем получать богатые подарки от знатных кривляк.

Шум толпы, не смолкавший ни на минуту, вдруг как-то неуловимо изменился, и стало понятно, что это шумит уже не восторженная, а чем-то недовольная и обиженная людская масса. Какое-то движение рассекло ее тело — так в упругую воду входит нос корабля.

— Па-азвольте!.. Разойдись!.. — слышалось ненавистное.

Вертынский торопливо пожал руку Россинскому, и толпа оттеснила его от аэроплана.

— Что такое? Почему тут? Где пилот? — бессмысленно-казенно вопрошая направо и налево, продернулся сквозь толпу жандармский офицер. Он придерживал левой рукой свою шашку, усы над бледными губами были как ниточки.

— Вы авиатор? — он безошибочно выбрал Россинского по кожаному шлему. — По чьему разрешению совершили полет и посадку? Что? Фамилия!

— Я Россинский, — небрежно улыбаясь, сказал д'Ар-

таньян и тронул свои остроконечные усы.— Надеюсь, это имя вам знакомо.

— О, как же, как же, господин Россинский, кому же оно не знакомо! Наш знаменитый авиатор! — бледные губы жандарма действительно улыбались искренне и восхищенно.— Я сам ваш поклонник! Всегда, признаться, мечтал познакомиться с вами — нет, что я, просто хоть увидеть вас. И поверьте, я глубоко сожалею, что наша первая встреча... омрачена... как бы это сказать... Но вы поймете меня, господин Россинский,— служба.

«Вот тебя я не попросил бы называть меня товарищем», — мелькнуло в голове летчика.

Однако он оказался в затруднительном положении. Вылетел без разрешения и мог получить за самовольство строгое взыскание и даже арест, тем более если полет свяжут с подлинной причиной, то есть с кампанией сбора денег на большевистскую газету.

И тут из множества лиц, окружавших место действия, для него выделилось — как на фотографической пленке в момент проявления — знакомое лицо: механик из Высшей технической школы! Механик многозначительно щурил глаз, как бы намекая на что-то. И Россинский понял, сделал пальцами знак: мол, крутани! Механик был парень не промах, он бочком подобрался к пропеллеру и, пока Россинский говорил что-то жандарму, сильно дернул, крутнул — завелся мотор. Жандарм опешил. Россинский бросился к аэроплану, крикнув:

— Сейчас выключу... Ах, безобразники!

Он вспрыгнул на крыло, но неуклюжее сооружение почему-то не замолчало — напротив, оно взревело мощней и вот тронулось с места, колыхаясь на булыжниках. Д'Артаньян вскочил в седло! Жандарм мог бы ухватить машину за крыло, да растерялся, а народ уже понял, широко расплеснулся на обе стороны, и «фарман» побежал, побежал, подскочил... еще подскочил... полетел!

От такого «Ура!», наверное, рухнули бы иерихонские стены. Но далека Москва от библейских земель, и только окна задребезжали в военной тюрьме да жандарм невольно зажал уши и разинул рот, как советуют поступать при артиллерийских залпах.

Аэроплан, взобравшись выше, сделал прощальный круг над плацем, а когда пролетал над жандармом, насмешливо покачал крыльями. Долго еще хохотали, растекаясь по улицам, рабочие. На другой день о происше-

ствии болтала уже вся падкая на сплетни старушка Москва... *

К глубокому разочарованию Отделения по охранению общественного порядка, после ареста Московского комитета РСДРП осенью 1912 года положение в Москве совсем не изменилось. Кто-то по-прежнему выступал на заводах, кто-то писал, и печатал, и распространял злобные листки, скрытно нарастала противоправительственная деятельность, и чуткое жандармское ухо уже различало глухой гул приближающегося землетрясения.

...Серым зимним утром невыспавшийся ротмистр Карелин стоял в кабинете полковника Керна.

Полковник был в неважном настроении. С некоторых пор он ощущал безмерную душевную усталость: все его усилия разбивались о незримую, но непроницаемую стену. А усилия направлялись к тому, чтоб очистить Москву от всего, что он полагал пагубным для здоровья народа. Это было как в кошмарном сне: замахиваешься, напрягаешь силы, чтобы ударить враждебное чудище, скалящее в лицо тебе страшные клыки свои, — и рука повисает бессильно, а чудище ближе, ближе...

— Опять неприятности? — заставляя себя не думать об этом, спросил Керн у подчиненного.

— Приятного в нашем деле ждать трудно, — усмехнулся с горечью ротмистр. — Вот сводка за вчерашний день. У студентов университета был митинг. Наш сотрудник пробрался туда, кое-кого приметил. Представил вот эту прокламацию, — ротмистр ловко выдернул из папки, протянул полковнику лист бумаги, по которому бежали бледно-лиловые неровные строчки печатных букв, написанных от руки. Полковник усмехнулся, взял прокламацию, расправил на столе. Стал читать вслух:

— «Товарищи! Четвертого апреля сравняется год, как в далекой сибирской тайге раздался залп по мирно настроенным труженикам. Близится кровавая годовщина... На заре пробуждения приходят воспоминания об этой кошмарной трагедии, которая разыгралась на Лене. Это злоба насильников готовилась заглушить голос справедливости!»

— Слог-то, слог, — поджав губы, позволил себе заметить ротмистр.

* Этот эпизод сообщен мне лично Борисом Илиодоровичем Россинским, «дедушкой русской авиации». (Прим. авт.)

Полковник кивнул, не отрываясь от бумажки.

— «Русский студент — совесть России... Настает время, когда сила русского студента растет и крепнет... Дорожа своею честью, честью русского студента, мы должны помнить заветы борцов за свободу...» Что слог, — задумчиво проговорил полковник, отодвигая прокламацию. Он уже не усмехался. — Слог пустяки. Наспех писали. Зато — горячо, зато — искренне. И верно. А, господин ротмистр? — полковник прищурил глаз, как бы прицеливаясь в своего подчиненного. — Действительно — совесть России. И действительно крепнут. И революционеры там орудуют. А мы смеемся над слогом.

— Но, господин полковник, нам удалось обезвредить головку московских большевиков...

— О-без-вредить, — насмешливо протянул полковник. — А они восстали из пепла, этакий новоявленный Феникс.

— Я совершенно уверен, господин полковник, что наши...

— Ладно, ротмистр, я тоже уверен. Выловим и новых. Что еще в сводке?

— Агент Чемоданов докладывает: на Прохоровской мануфактуре разбросаны подстрекательские листки, но агенту не удалось подобрать ни одного. Работницы сразу их прятали.

— Очень хорошо, — саркастически отметил полковник.

— Далее: бастуют рабочие фабрики Остроумова, требуют возвращения на работу двух уволенных. Бастуют рабочие типографии Менерт. Готовится забастовка даже в типографии самого патриарха.

— Дальше, — хмуро кивнул полковник.

— В Трехпрудном переулке, дом номер одиннадцать, произведен обыск. Обнаружено несколько посторонних в квартире номер четырнадцать, под видом гостей. Все арестованы.

— И что же?

— Пришлось отпустить. Никаких улик.

— Ротмистр, ротмистр, зреют огромные беды, а мы занимаемся ловлей блох, — печально проговорил Керн. — Почему нам не хватает удач? Размаха? Ну доложите мне хоть о чем-нибудь стоящем!

— Слушаюсь, господин полковник! Сегодня ночью арестован некий Вертынский. По паспорту — душевно-больной.

— Ну вот!..

— Но, господин полковник, по донесению нашего человека, это и есть тот самый Аросев, о котором, помните, нас предупреждали еще месяц назад, что он готовится выехать в Москву с особым заданием.

— Да, да, помню. Как это там писали? «Опытный большевик-ленинец»? Что-то в этом роде. Сколько же ему лет, ротмистр?

— Двадцать два, господин полковник.

— Н-да... Двадцать два — и уже «опытный»... — задумчиво протянул Керн. — Где он сейчас?

— В Арбатском полицейском доме.

— Перевести в городскую тюрьму. В одиночку. Я сам его допрошу — он меня заинтересовал, этот «опытный».

Александр давно отвык бояться арестов. Он уже знал, что это значит, и не боялся — нет, но всякий раз его охватывала страшная тоска, какая гнетет каждое пойманное существо. Никто не поймет этой тоски, пока сам не побывает в шкуре пойманного. Человек человека ловит, как мышь, обставляет его хитроумными ловушками, изощряет свою человечью мысль, чтоб убить человечье в другом человеке. Живое, мягкое, упругое человеческое тело вписано в жесткие прямоугольники: четыре стены камеры, квадрат зарешеченного неба. Все прямо, жестко, серо. Все — противоположность тому, чем жив человек.

Тоска.

Четыре стены, квадрат зарешеченного неба. Не выйдешь. Сиди. Сиди, вспоминай: хочешь — первый арест, хочешь — веселых товарищей. Можешь ломать голову над тем, почему ты провалился. Кажется, промахов не совершал. Слежки за собой не заметил. Но вот же, пришли в желтенький домик под зеленой крышей, точно по адресу... Сиди, ломай голову. Хочешь — реви от досады: только что завертелась работа. Сегодня ждут на собрании трамвайщиков. Студенты выпустили прокламацию к годовщине Ленского расстрела, прокламация наивная, но — берет за душу. Там есть несколько очень славных ребят, им надо помочь... Текстильщицы в прошлый раз, когда нагрянула полиция, не растерялись — накинули на него женское платье, он вышел с толпой работниц. Смеху было! Интересно, знает ли Виктор о его аресте? Что делает доктор Обух? И этот новый знакомец «Жорж»

Романов? Когда обсуждали, как бы «отметить» трехсотлетие Романовых, с каким жаром говорил он: «Романовы! Романовы вымерли с Петром. С тех пор Россией владели мелкие немецкие потентаты — Шлезвиг-Голштинские, Ангальт-Цербстские... Развратные, ограниченные, спесивые. Россия, великая страна, несет на спине кучку ничтожных проходимцев и преступников — и покоряется ей. Трехсотлетие позора! Трехсотлетний юбилей национального бедствия! Мне стыдно носить ту же фамилию!»

Сиди, сиди, вспоминай. Ломай голову — отчего провал? Как это сказал Виктор, «свои Коншины»?..

Кто?..

— Садитесь, Аросев, — с небрежной барственностью кивнул жандармский полковник.

Вошедший оглянулся, как бы недоумевая, к кому относится приглашение.

— Вам, вам я говорю, Александр Яковлев Аросев. — И лицо Керна выразило скуку: ну вот, будет теперь записывать, изображать сумасшедшего.

Александр прекрасно понял это выражение. Сомнений не оставалось: его инкогнито раскрыто. Мистика: еще не допрашивали, а уже знают настоящее имя! Значит, все-таки кто-то выдал. Однако неизвестно, что еще о нем знают. Остается одно: разозлить этого барина. Он пожал плечами.

— Рад служить, пане пулковнику: Казімеж Вертыньский, — поклонившись, произнес Александр с сильным польским акцентом.

— И конечно, душевнобольной? — прищурился насмешливо полковник.

— Так ест, — спокойно кивнул Александр. — Болезнь моя имеет сложное латыньское название, у меня записано... — Он похлопал ладонями по карманам, на скуластом лице выразилось неподдельное изумление. — Ах да, папиречки отобрали.

Александр с удовольствием заметил, что жандарм начинает злиться.

— Да перестаньте вы ломать комедию! — с раздражением сказал полковник. — Мне известно, что вы неплохой актер. И даже подвизались на сцене сормовского театра. Кстати, не только на сцене — отлично знаем, что вы и там сколотили большевистскую группу. И связь с

Самарой наладили. Но к делу. Итак, записываем: фамилия, имя, отчество — Аросев Александр Яковлев...

— Проше пана, Казимеж Вертыньский, — с заискивающей улыбкой перебил его Александр.

— Место рождения — Казань, — словно не слыша, продолжал полковник.

— Проше пана, Лодзь, — кротко стоял на своем арестант.

— Член РСДРП, — жандарм насмешливо растянул: «эрэсдеэрпе».

— Проше пана, естем католикем! — возразил Александр.

— Подвергался административной ссылке, бежал, пойман, водворен обратно по месту ссылки. Бежал вторично, пойман, приговорен к ссылке более отдаленной, бежал... — уже не поднимая глаз, читал жандарм «послужной список» арестованного.

Александр ощутил даже гордость: красиво получается! Однако полковник еще крепится, надо подлить масла в огонь, тогда будет взрыв. А взрыв был нужен: в запальчивости полковник мог выдать и такое, чего иначе не узнаешь. Александру многое было непонятно в его аресте.

— Ах нет, пане пулковнику: содержался в психиатрической лечебнице, лечился у провинциальных врачей. Приехал к столичному профессору...

Полковник поднял на него тяжелый взгляд. Он понимал, что арестованный издевается над ним, нарочно подчеркивая двусмысленность своих ответов. Надо во что бы то ни стало сдержаться. Проклятие! Эти молодые большевики непостижимые люди. Вот этому двадцать два года. Мальчишка! А у него уже три ареста и три побега. Сам их вождь, этот Ульянов — Ильин — Ленин, посылает такого мальчишку с заданием заменить арестованных членов Московского комитета! Выдержка у мальчишки отличная. А в серых глазах — озорство. В них так и читается: ну да, я тот, кого ты назвал, но что ты со мной поделаешь, когда я не признаюсь?

— Угодно очную ставку? — поднимаясь из-за стола, насмешливо проговорил полковник. — Пожалуйста. Сидоренко! — крикнул он, подойдя к двери и выглянув в нее. — Того приведи.

Знаменитое упрямство Аросева было качеством, незаменимым на допросах.

— Проше пана, цо то есть — «очная ставка»? — не-

винным тоном спросил он, и лицо его не дрогнуло, хотя внутренне он весь сжался: с кем-то увидится?..

— Молчать! — сорвался полковник, но тут же овладел собой.

Он считал ниже своего достоинства кричать на арестованных. Но ему так нестерпимо захотелось унижить, больно ранить этого самоуверенного мальчишку, что он не выдержал:

— Ничего, голубчик, сейчас встретитесь кое с кем, кто вас оч-чень хорошо знает.

Предупреждение.

Бух, бух, бух, — подкованными сапогами, приклад об пол — стал у двери бравый Сидоренко. Рядом с ним, озираясь по сторонам — его шаги не были слышны за грохотом сидоренковских, — стоял Виктор.

Полковник пронзительно смотрел на Александра. Но тот давно научился трепет сердца прятать глубоко. Будто два человека в одном: внутри, невидимый, — настоящий, а то, что видно всем, — лишь разрисованная маска. Александр затрепетал, увидев Виктора, он вскрикнул где-то глубоко внутри — а лицо осталось идиотски-улыбающимся. Полковник ничего не мог заметить.

— Тихомирнов, подойдите ближе, посмотрите на этого человека. Узнаете? — проговорил полковник, уже поняв, что из очной ставки ничего не выйдет.

Виктор послушно подошел, и Александр увидел вблизи такие знакомые и милые карие глаза, чуть-чуть покачивающиеся из стороны в сторону, будто желающие тайно отринуть что-то.

Виктор пожал плечами.

— Первый раз вижу...

Потом ввели Ольгу Афанасьевну Варенцову. Она была маленькая, хрупкая. Простое круглое лицо, черные волосы гладко зачесаны со лба, увязаны в пучок на затылке. Русская интеллигентка, разночинка, «домашняя учительница», как значилось в ее паспорте. Старая революционерка. Первый раз ее арестовали четверть века назад, когда не родились еще ни Виктор, ни Александр...

Она смотрела на Александра снизу веселыми черными точками-глазками и говорила беспечно:

— Впервые вижу!

А ведь это она в вологодской ссылке выходила Александра, когда тот схватил воспаление легких!

Вечером ему в камеру простучали условным кодом: «Виктор передает выдал провокатор осторожность».

Наступила весна. В камере ее приход обозначился так: зарешеченный прямоугольник вечернего солнца медленно проползал в конце дня по серой стене.

Москва лихорадочно готовилась к высочайшему посещению, к верноподданническому празднованию трехсотлетия сидения на троне крупнейших феодалов. А аппарат подавления, логическое детище царизма, продолжал свое невиданное, беспраздничное дело.

14 мая департамент полиции направил свой доклад Особому совещанию. Старый писарь-каллиграф тщательно вывел на длинных листах казенной бумаги:

«В Москве к началу 1913 года, на основании преподанных заграничным «ленинским» центром директив, сформировалась группа активных представителей РСДРП, которая взяла на себя выполнение функций местного руководящего центра, а именно задалась целью издавать партийный орган, пропагандировала социал-демократические идеи, объединяла партийных деятелей среди разных рабочих, подготовляла стачки, приобрела гектограф с принадлежностями и намеревалась издать прокламацию по поводу 300-летия дома Романовых.

К означенной группе активных деятелей принадлежат и представляемые к ссылке восемь лиц, из коих за первыми пятью имеется порочащее их прошлое: Тихомирнов, Аросев, Варенцова, Дугачев, Стриевский...»

А ниже кто-то из власть имущих написал карандашиком:

1. Аросева — в Черд. у. на 4 г.
2. Первых 4-х: 3 г. надз. в Олон. у.
3. Остальн. 3-х: 3 г. надз. в избр., кроме стол. и губ. стол.

Эти начальственные аббревиатуры определяли судьбу восьми человек и означали, что Александра отправляют на четыре года в Чердынский уезд Пермской губернии, Виктора, Ольгу Афанасьевну, Дугачева и Стриевского — на три года в Олонецкую губернию, остальные же трое — Скоробогатов, Лагуткин и Савватьев — могут избрать себе место ссылки сами, за исключением столиц и столичных губерний.

В конце июня двинулись товарищи по этапу. Шли они в разные стороны, а впереди них летели секретные сопроводительные бумажки.

Олонецкому губернатору:

«Тихомирнов — сотрудник корреспондент издающейся в СПб большевистской газеты «Правда», получив полно-

мочия от заграничного партийного центра сформировать в Москве группу, которая под его руководством установила деловые связи с рядом фабрично-заводских предприятий в Москве и с левыми представителями учащихся в местных высших учебных заведениях, создала так называемую газетную кампанию и сбор денег на большевистскую газету. На собраниях членов активной группы под руководством Тихомирнова было решено принять меры к омрачению празднования 300-летнего юбилея царствования дома Романовых путем выпуска листовок и воззваний. Развивал активную деятельность группы и стремился подготовить обстановку для созыва летом этого года общегородской конференции...»

Пермскому губернатору:

«Аросев — большевик-ленинец, выполнял обязанности партийного профессионала, был послан в Москву представителями партийного центра для содействия организационной работе означенной группы. Устроил ряд собраний, кружковую работу среди фабрично-заводских рабочих и служащих в общественных и городских предприятиях, он непосредственно руководил агитацией... Подстрекал устроить стачку, составлял соответственное воззвание от имени московской группы социал-демократов и подготавливал размножение оного на гектографе...»

Эти документы обнаруживают поразительную осведомленность о работе подпольного Московского комитета и каждого из его членов в отдельности. Никто из арестованных и под пыткой не выдал бы таких сведений. Но вот же стали они известны жандармам... Объяснялось это маленькой приписочкой во всех делах: «Виновность такого-то выяснена наружным наблюдением и агентурными сведениями».

Наружное наблюдение — просто и понятно: филеры, шпики. А что такое «агентурные сведения»?

Человек вращается в своем небольшом мире, и ему трудно, а иногда и невозможно заглянуть за пределы той атмосферной оболочки, которой он окружен. Пусть эта атмосфера дает ему возможность дышать — она же его и ограничивает.

Что знал, чем жил Александр?

До пятнадцати лет — семья и школа, игры и драки с мальчишками, домашние спектакли, книги.

Потом — кровь, насилие, тюрьмы. Задыхание от ужаса, когда вдруг ему открылось, как живет Россия. А может быть проще: он любил людей, людей с их слабым,

уязвимым телом, с их страхами и горем, с их замороженным рассудком. Каждый взгляд чахоточного входил в него острым клином, а при виде покорно согнутых баб на полях у него ломило поясницу. Внук крепостных, бунтарей-разночинцев, от природы жизнелюбивый и деятельный, он с первых своих сознательных шагов в жизни пустился на поиски: как этому противиться? Как бороться? С кем? Против кого?

Не так-то это было просто — почти на ощупь отыскивать в чаще революционных и псевдореволюционных учений ту единственную тропку, что не кончалась тупиком. Ведь это после уж, по прошествии времени, так незатруднительно решать, кто некогда был прав, а кто неправ. А в ту пору, когда все это только создавалось, надо было обладать не только решительностью, но и недюжинным умом и сильной волей. Первым — чтоб разобраться в сложных переплетающихся теориях и фразах, второй — чтоб, разобравшись, кинуться в борьбу за убеждение, ставшее твоим. Но мало этого: надо было еще самому творить, растить свою мысль, свою идею — для себя, для каждодневной работы, для того, чтобы знать, что говорить, когда выходишь пред жарко сгрудившимися рядами людей, затаенно дышащих, ждущих от тебя истины.

Одно время, на водоразделе юности, Александр отравился Достоевским. Жил как в чаду, пытался схватить, осмыслить Карамазовых и Раскольниковых. Но что-то все время ускользало, какой-то стерженек, который, казалось, только бы схватить — и все поймешь до самого дна. Все путалось, хаотично ворошились мысли о смерти и добре, а молодость хотела чистоты и света.

Противоядием была революционная практика. Александр шел к рабочим и видел: им нужны не христианские туманные добродетели, а хлеб и мясо, воздух, теплый кров. Нужно то, без чего нельзя жить. И видел он, что люди лишены того, без чего нельзя жить. Но даже это не отнимало у них человеческого достоинства!

Насколько же более велики они, чем прославленные в истории герои! Они сильны, как жизнь. Ибо, не создавая того, творят ее.

Пораженный величием тружеников, Александр вдруг понял, что революционная теория создана не для игры умов, а для того, чтобы перестроить жизнь. Тогда словно кто-то распахнул ставни — так в солнечном сиянии меркнет искусственный свет и становится видно: вот это

уже сгнило, то раскрашено неумело и грубо, а это соткано из ненадежной паутины. Одно лишь было прочным, точным и чистым: учение Маркса, мысли Ленина.

С течением времени это подтверждалось. И Александр гордился тем, что, когда столь многие, не выдержав испытания, отхлынули от революции, он ступил на этот гонимый бурей корабль.

Он жил в особом мире: товарищеские споры, единоборство с полицией, редкие свидания с родными — и работа, работа. Он весь ей отдавался. Все оценивал так: полезно это для революции? Или бесполезно, а то и просто вредно?

Постепенно молодые революционеры узнавали противника. Тот переставал быть отвлеченным, книжным образом, приближался, сталкивался с ними вплотную — в уличной перестрелке, на допросах, во время долгих, изнурительных странствий по этапу. Они научились распознавать филеров и — по озорству молодости — потешаться над ними. Знали, что к ним подсылают осведомителей. Но трудно было увидеть предателей в тех, кто работал рядом. Трудно.

Кто был тот «Демьян», который так хорошо был осведомлен даже о планах и намерениях Скрябина в Вологде, даже о тайной цели поездки в Москву Аросева? И какие «свои Коншины» проваливали в 1912—1913 годах один за другим московские комитеты большевиков? Кто сообщал полиции адреса подпольщиков, их задания, подлинные фамилии?

Через четыре года, когда рухнула монархия и стали доступны архивы охранки, Александр с ужасом узнал, кому он сам и все его товарищи были обязаны последней ссылкой: их было двое в Центральной инициативной группе, целых двое провокаторов! Однофамилец царя «Жорж» Романов, который с таким пылом клеймил царскую фамилию, и — Роман Малиновский. Мистика какая-то — не Роман, так Романов...

Но пока венчанный однофамилец провокатора сидел еще на троне и даже отмечал трехсотлетний юбилей «своего» дома.

«Жорж» Романов горевал об оскудении русской крови в жилах российских царей. Да что кровь! Взгляните на все то, чем сопровождалось это царствование! Сыноубийства, мужеубийства, отцеубийства, разврат, беспар-

донное хозяйничанье в личных и корыстных целях, мракобесие, муштра, крепостничество. Подавление всего прогрессивного, светлого, талантливое. Самой варварской из деспотий называл Ленин российское самодержавие.

Поистине, хвастать Романовым было нечем. Сколько подлостей совершено, сколько ростков нового задуще-но! Сколько загублено жизней! Колесованные, четвертованные, обезглавленные, повешенные, расстрелянные, замученные в казематах, умершие от голода и пыток, убитые на дуэлях, сошедшие с ума в крепостях или на диком Севере... Много, ох много накопилось на счету Романовых!

И готовилось новое преступление. Никто еще не мог даже предположить, каких кровавых жертв будет оно стоить народу. Надвигалась первая мировая война. По образному выражению Владимира Ильича, более молодой и сильный разбойник собирался ограбить старых, зажавшихся разбойников: Германия требовала «своей» доли в колониальном пироге...

Александр Аросев и его товарищи были вторым поколением российских социал-демократов, большевиков. Пока они учились по букварям, и читали сказки Пушкина, и дрались с гимназистами — уже жила и работала за границей плехановская группа «Освобождение труда», кипели споры во II Интернационале, бушевала резкая полемика в газетах между решительными и сомневающимися, бурлили страсти на партийных съездах и конференциях в поисках наиболее верного пути. И молодой Ленин, чья отточенная мысль была как острый хирургический инструмент, отважно просекал дорогу к истине сквозь опухоли многообразных отклонений, заблуждений, непонимания, самолюбий...

Но все это отнюдь не значит, что вторая волна большевиков пришла на готовенькое. Им предстояло многое. В том числе — справиться с проблемой отношения к войнам. А материалов к размышлениям в изобилии дали войны нового века: англо-бурская, русско-японская, балканские.

Партии II Интернационала предали интересы международного рабочего класса. Они поддержали свои правительства, когда началась очередная война — первая мировая. И только большевики выступили против

невиданной бойни народов. Они одни предупреждали, что империалистическая война не может быть справедливой, ибо ведется в интересах эксплуататоров, и что позиция партий II Интернационала губит саму идею интернационализма.

И предстояло большевикам России возглавить, осуществить, отстоять Великую Октябрьскую революцию. Ту самую, которая распахнула двери к новому состоянию человечества — к обществу без эксплуатации и без войн.

Трудные годы выпали семье Аросевых. Умер Яков Михайлович. Мария Августовна преданно ухаживала за ним. И похоронила его достойно.

И лишь после его смерти позволила себе принять любовь молодого врача из среды тех революционно настроенных студентов, которые, бывало, собирались в аросевском доме, чтобы спорить о жизни, о революции, о лучшем будущем. Виктор Францевич Вертынский, старший приятель Александра, давно любил его мать и упорно настаивал на том, чтобы она официально развелась с мужем. Поначалу Мария Августовна со смехом отмахивалась от настойчивых атак молодого человека. Она не могла принять всерьез мужчину моложе себя на пятнадцать лет. У нее были другие заботы: семья. А главное — старший сын, постоянно пропадавший по тюрьмам, ссылкам, в побегах. Мария Августовна считала своим долгом всячески его поддерживать.

Подрастали и другие дети. Отчаянную штуку выкинул необузданный Вячеслав. Семнадцати лет он влюбился в такую же юную девушку и решил жениться. Обвенчать несовершеннолетних можно было только с разрешения родителей. Родители, естественно, наотрез отказали. Тогда Вячеслав, вооружившись Сашкиным револьвером, засел в одном ресторанчике неподалеку от дома и прислал записку: не дадите разрешения — застрелюсь. Зная взрывчатый характер сына, Мария Августовна поверила: чего доброго, действительно пустит себе пулю в лоб. Так увеличилась семья. Вскоре невестка подарила Марии Августовне внука. Когда Мария Августовна согласилась стать женой Виктора Францевича, она была уже бабушкой. Правда, очень молодой бабушкой, не достигшей еще и сорока. Теперь понятно, откуда появились у Александра документы Казимира Францевича: то был брат его новоиспеченного отчима.

А потом грянула война. Вячеслава мобилизовали, Сергей ушел на фронт добровольцем, а Александр уже год гнил в далеком селе Морчаны Чердынского уезда.

На сей раз он «не досидел» срок уже не по своей воле. Сам он писал об этом так:

«Освобожден был в 1916 году, так как по манифесту, изданному вследствие начала войны, мне, как почти всем ссыльным, «скостили» один год».

Александр приехал из ссылки домой, в Казань. На другой день собрались товарищи — студенты, подпольщики, в общем, вся привычная для аросевского дома публика. Пили чай с баранками, пели песни, вспоминали тех, кто на фронте или в «местах отдаленных». Среди знакомых, малознакомых и вовсе не знакомых людей Александру бросилась в глаза молоденькая девушка, совсем еще подросток, в строгой форме институтки, робко пристроившаяся в уголке дивана. Историю этой девочки, глубоко тронувшую Александра, он узнал от матери.

— Оленька Гоппен — сирота, — рассказывала Мария Августовна, — и к тому же незаконнорожденная, хотя и усыновленная ее настоящим отцом. Был у нас тут такой прокурор, столбовой дворянин из довольно известного старинного рода, Вячеслав Валерианович Гоппен — по имени видно, что род этот польских корней. Человек он был благородный, но взбалмошный. Прижив дочь, сначала сам занимался ее воспитанием, а затем определил в петербургский институт благородных девиц — не в Смольный, конечно, а рангом пониже. Впрочем, преподавание там, насколько я могу судить из рассказов Оленьки, ведется по последнему слову педагогики, даже математику с физикой изучают, гимнастикой занимаются... Вячеслав Валерианович поступил так вовремя, будто предчувствовал: умер он внезапно, от воспаления легких, когда Оленьке было девять лет. Матери своей она никогда не знала. Осталась с нею няня, красавица цыганка, работавшая у Гоппена прислугой еще до рождения девочки. Аристократические родители отца неласково относились к бедняжке, хотя и принимали ее, когда она приезжала на каникулы. Теперь она окончила институт — причем с золотым шифром, — и ей шестнадцать лет. Но представь ее потрясение, когда ей на днях внезапно грубо объявляют, что та, которую она всю

жизнь считала своей няней, — ее родная мать! Как обухом по голове! — Мария Августовна сама взволновалась, голос ее как-то особенно зазвенел. — Какое смятение чувств! Чего здесь было больше — горя ли оттого, что так долго скрывали от нее мать, разочарования ли — ведь эта мать просто прислуга, совсем неграмотная, хотя и красавица, — осуждения ли отца, или законов, запрещавших ему жениться на матери... Дело в том, что Гоппен был женат, но давно развёхался с женой, влюбившись в свою цыганку, а развода жена упорно не давала. С характером дама! Ничуть не удивляюсь, что Оленька теперь решила идти на фронт сестрой милосердия. Романтизм? Может быть, а скорее всего, просто не знает, как быть дальше, как распорядиться собой. Жестокая судьба! Бедная девочка, не знала ни материнской ласки, ни родного дома!

— Да как же мать-то согласилась на такое чудовищное дело! — возмущенно вскричал Александр, в избытке награжденный судьбой и тем, и другим.

— Может, из смирения, что паче гордыни. Или думала — так будет лучше для дочери. Мы стараемся как-то обогреть Оленьку, пока не уехала на войну. И она с удовольствием помогает нам, выполняет кое-какие мелкие поручения — записку передаст кому следует, на улице посторожит, листовки отнесет... Будь и ты к ней внимательнее!

Этого мама могла не говорить — Александр уже и сам проникся глубоким сочувствием к Оле. Но зарождавшийся было интерес к этой девочке с такой необычной судьбой вскоре вытеснило черное горе: пришло извещение о гибели брата Сергея. Из коротких, сухонапыщенных строчек семья узнала лишь, что пал Сергей под Перемышлем.

Сразу убит или мучился от смертельной раны? Кто принял его последний вздох, последние слова? Где похоронен? Ничего этого не знали. Можно было только горевать по сыну и брату, такому спокойному, почти незаметному среди шумного семейства, такому сосредоточенному на каких-то одном ему ведомых мыслях. Было ли это спокойствие, эта погруженность в себя, эта тихость Сергея предчувствием ранней смерти?..

«Бедный Сережка, бедный Сережка, — думал Александр, лежа на верхней полке поезда, уносившего его из Казани в Петроград. — Ничего не успел сделать в жизни, а мог бы стать хорошим инженером, математиком —

у него был явный талант. Проклятая война! Сколько жизней, сколько мук — и во имя чего?! А мама... Один сын убит, двое где-то на фронте, я все по ссылкам да тюрьмам. Осталась одна с девчонками, да с этим... своим...»

Александр с неприязнью думал о втором муже матери, хотя и был с ним прежде в товарищеских отношениях. Быть может, именно поэтому странно и нелепо казалось ему думать об этом своем почти сверстнике как об «отчине». Чепуха какая-то. Нет, рассудком Александр признавал право матери на личную жизнь, но не мог справиться с каким-то чувством... ревности, что ли...

В Петрограде Александр тотчас нашел связь с городским комитетом большевиков, поступил учиться в Психоневрологический институт — «гнездо революционеров» — и, нуждаясь в заработке, нанялся секретарем редакции журнала «Современный мир». Но все это продолжалось недолго: уже осенью того же 1916 года его мобилизовали как студента и отправили в одну из московских школ прапорщиков.

Потянулись недели «скоростного обучения» молодых офицеров. За три года войны изрядно повыбило народу на фронтах; особенно болезненно ощущался урон в младших командирах — в тех, кто на самой передовой, в окопах, вместе с «нижними чинами».

Александр, правда, сильно надеялся, что не успеет попасть в окопы: в воздухе уже грозно носилось предвестие революции. И он старался приближать ее. Снова почувствовал себя партийным агитатором — на сей раз среди тех, кому надлежало в скором времени, в грязи и крови, вести солдат на бессмысленную смерть. Его разговоры, беседы с товарищами начали уже оказывать свое действие, когда вдруг его вызвал начальник школы (видно, выдал кто-то) и, изругав за «сокрытие порочащего прошлого», объявил об отправке Аросева в дисциплинарный батальон.

Александр только подивился про себя: неужели те, кто отправлял его в школу прапорщиков, не сообщили о его прошлом? Он что, сам должен был об этом докладывать, когда его никто не спрашивал? Видно, заедает уже что-то в бюрократической машине царской России.

Однако — «ехать так ехать, сказал попугай...»

Перед дисциплинарным батальоном полагался десятидневный отпуск, и Александр двинулся домой, в Казань.

Алатырь, захолустный городишко, возник три с лишним века назад, когда молодой Иван Грозный шел покорять Казань. В этом месте раскинулся укрепленный стан его многочисленного войска. Отчего получил городок свое название? Бродили в русском фольклоре туманные сказы-заговоры, в которых фигурировал таинственный «бел-горюч камень Алатырь», недостижимый, погруженный в глубину синего озера. Быть может, таким таинственным горючим камнем, брошенным в темные глубины дремучих лесов Чувашии, и казалось новое поселение тем, кто дал ему это название?

В начале двадцатого века проходила через Алатырь железная дорога Москва — Казань. И именно у этой станции произошло крушение поезда, в котором ехал в отпуск будущий прапорщик Аросев. Глухой мартовской ночью состав дернулся, закрипел, заскрежетал металл, вагоны с разбегу полезли друг на друга, валились с полок вещи, люди... Однако отделались испугом да ушибами. Выбравшись из сошедших с рельсов вагонов, пассажиры недружной толпой поплелись к близкой уже станции. Набились в тесное станционное здание, невыспавшиеся, перепуганные, иззябшие.

Вдруг из служебной комнаты выбежал телеграфист. С каким-то перевернутым лицом он взмахнул над головой телеграфной лентой, как флагом, прокричал срывающимся голосом:

— Люди! В Петрограде революция! Царь отрекся!

Александр вскочил. Бурно забилось сердце. Это же... Это же... Началось! Как просто — несколько слов, и нет трехсотлетнего ига! И тут же — досада: а я не там!

На первом же встречном поезде, без билета, налегке, забыв о желании повидать родных, в неодолимом нетерпении он выехал в Петроград.

Часть
вторая

СТРАДА



Глава шестая

Семнадцатый год в России!

Возможно ли самым богатым воображением охватить все, что вершилось тогда в этой необъятной части Евразийского материка? Сравнить ли Россию семнадцатого года с разбушевавшимся морем? С пробудившимся вулканом? Но стихии действуют не по воле человека, а в России...

Людам на земле нужны очень простые вещи: мир, труд, справедливость. Человеческое существование. Человеческое достоинство.

Упорно, с тупым невежеством, с тупым презрением царизм отказывал во всем этом народу. Отказывал веками. Веками копился гнев. Вспыхивал временами, вспыхивал местами — и угасал, задущенный.

Семнадцатый год!

Три года шла война во имя умножения богатства богатых и власти властвующих. В недрах этой войны накалился протест против нее, сливаясь с протестом против всеобщего подавления. И тогда, доведенные страданиями до крайности, поднялись невиданно широкие массы — и возмущение их приобрело страшную мощь катаклизма.

Нет, народ России не был тогда монолитным. Многослойность его отразилась во множестве политических партий и полупартий. В эту кажущуюся неразбериху предельную ясность внес Ленин. Монархисты, октябристы, кадеты — это крупный капитал и землевладение. Эсеры и меньшевики — мелкая буржуазия и зажиточное крестьянство. И лишь одна-единственная партия, партия большевиков, выражала истинные чаяния главной массы народа — рабочих, беднейших крестьян и тех из них, на кого надели серые шинели и погнали на убой.

Буржуазия надеялась — как не раз бывало в европейских революциях, — свергнув монархию силами наро-

да, подмять его под себя, захватить власть. Вот почему вслед за образованием той формы народовластия, которая уже была опробована в пятом году, вслед за созданием Советов рабочих, крестьянских и (добавлено ввиду войны) солдатских депутатов в России возникло и буржуазное, Временное правительство. Оно не могло не возникнуть, ибо Февральская революция не была пролетарской. Тягостным, хотя и недолгим периодом двоевластия страна обязана буржуазным партиям и тому, что сами Советы не были еще чисто большевистскими. Часть народа продолжала верить эсерам и меньшевикам.

Временное правительство сформировали некоторые члены IV Государственной думы, самочинно объявившие себя Временным комитетом этого уже не существующего органа: ведь Дума была распущена одним из последних указов царя. А Петроградский Совет, в котором тогда преобладали меньшевики с эсерами, дал на то полное свое согласие. Это, в сущности, незаконное правительство под председательством монархиста князя Львова состояло вначале из кадетов и октябристов, и только для очистки совести, что ли, включили в него объявившего себя эсером трудовика Александра Федоровича Керенского.

Правда, за неполных восемь месяцев своего существования правительство не раз переживало кризис, не раз менялся его состав: входили в него эсеры и меньшевики, уходили кадеты, эта чехарда вынесла на самый верх Керенского, пока необходимость бороться всерьез против революционного народа не вызвала к жизни, уже в последние недели перед Октябрем, Директорию — пятерку правителей, вполне устраивавших эсеров и меньшевиков.

Но до этого было еще добрых полгода.

Проведя в Петрограде несколько дней, отданных упоению невероятным, хотя и страстно ожидаемым актом — падением самодержавия, Александр Аросев вернулся в Москву и был восстановлен в школе прапорщиков. Ему представлялось, что революции потребуется военная сила, пригодятся свои офицеры.

И конечно же, он тотчас связался с московскими большевиками. В середине марта 1917 года Московский комитет РСДРП как раз создавал, на правах своего, но самостоятельного отдела, Военное бюро. В Москве было расквартировано много запасных воинских частей, среди

солдат надо было вести агитацию. Тогда же начали формироваться и отряды Красной гвардии — этим занимались Алексей Ведерников, профессор астроном Павел Штернберг и другие большевики. В Военное бюро Московского комитета — или «Военку», как называли его краткости ради, — вошли Ольга Афанасьевна Варенцова, Лопашов, Шкирятов и другие, в том числе Александр Аросев как один из немногих военных. Впрочем, какой он был военный! Еще и прапорщика-то не получил...

«Военка» немедленно приступила к работе. Ее члены начали организовывать среди солдат социал-демократические кружки, созывали митинги, переписывались с фронтовыми частями, посылали на фронт большевистскую литературу, сотрудничали в газете «Социал-демократ», где был создан даже специальный раздел «Солдатская жизнь». Дел было по горло, да еще приходилось на каждом шагу преодолевать препятствия: командование и эсеровский Совет солдатских депутатов запрещали большевикам доступ в казармы. Большевик Станислав Будзинский, работавший в 55-м запасном полку, писал в своих воспоминаниях: «Нас избивали при малейшей попытке заговорить. Верховодили эсеры. В их руках были и полковой, и ротные комитеты. Они очень ловко сплавляли маршевыми ротами на фронт большевистствующие... элементы».

В этих трудах пролетел первый весенний месяц, первый месяц без самодержавия.

3 апреля 1917 года в огромном полутемном зале московской биржи собралась общегородская конференция большевиков. Ее открыл старейший член партии Иван Иванович Скворцов-Степанов, он же сделал доклад о текущем моменте и задачах пролетариата. Но в середине доклада Скворцов-Степанов вдруг замолчал — кто-то передал ему в президиум бумажку, и он, прочитав ее, как-то радостно вспыхнул, зарумянился, воскликнул:

— Товарищи! Сегодня в Петроград приезжает товарищ Ленин!

Ленин! Ликованием встретили московские большевики эту долгожданную весть. После долгих лет эмиграции, преодолевая все запреты, все трудности пути через воюющую Европу, возвращается Ленин! Люди вскакивали, кричали что-то радостное, хлопали оглушительно...

Окончание доклада Скворцова-Степанова перенесли на следующий день. И после него завязались горячие споры по самым жгучим вопросам, вставшим перед большевиками. Особенно ожесточенно спорили, надо или нет объединяться с социал-демократами меньшевиками. Точку поставили делегаты от рабочих Пресни Власов и Жаров. Последний просто заявил, что меньшевики — волки в овечьей шкуре, верить им нельзя, а тем более объединяться с ними.

Когда обсуждали вопрос об отношении к войне, выступил Аросев. Это было, пожалуй, первое его выступление перед столь многочисленным, таким весомым собранием большевиков. Первым — но далеко не последним.

— Товарищи, мы должны быть готовыми к контрреволюции! — начал он с главной своей тревоги. — И эта контрреволюция — отнюдь не обломки старой власти, как, может быть, думают некоторые. Это — явление новое, глубоко социальное, логическое следствие буржуазной революции. Буржуазия завоевала нужный ей рубеж — и теперь всеми силами будет тормозить дальнейшее движение. Нам необходимо понять это, чтобы дать достойный отпор новому виду контрреволюции, которая не ограничится пределами страны, а будет приобретать международный характер. Пример тому — последнее германское наступление! И отпор свой мы должны организовать тоже в международном масштабе...

Александр чувствовал, что говорит нужное. Голос его окреп. Теперь от общей мысли надо переходить к конкретному!

— К нам в «Военку» приходит много писем солдат с фронта, и все они об одном: армия жаждет мира, армия устала воевать. И солдаты сами, классовым своим инстинктом находят выход: братание! Это мы должны всячески поддерживать, потому что затягивание войны укрепляет контрреволюцию. Они тесно связаны, война и контрреволюция! Так же тесно, как революция и мир. А мы обязаны думать еще и о международных связях рабочего класса, оборванных войной. Обязаны возродить Интернационал, который погиб, опозорив себя социал-шовинизмом! Затяжка войны отсрочит и это возрождение...

Резолюция конференции по этому вопросу была принята единодушно: «С отношением теперешнего правительства к войне рабочий класс будет бороться так же, как с отношением к войне старой власти, потому что как

тогда, так и теперь война ведется во вред интересам народов и исключительно в захватных целях господствующих классов».

В новый состав Московского комитета большевиков, избранный конференцией, наряду с такими известными уже революционерами, как Ангарский, Ольминский, Землячка, Пятницкий, Штернберг, Сольц (которого называли «совестью партии»), вошел и Александр Аросев.

А через несколько дней грянули Апрельские тезисы Ленина. С присущей ему смелостью и остротой мысли Ильич требовал: дальше, дальше! Он видел: теперь от буржуазно-демократической революции можно, нужно, просто необходимо переходить к революции социалистической. К той самой, которая станет не просто третьей российской революцией, но началом совершенно нового, небывалого, марксистской наукой предсказанного и рассчитанного состояния человечества. Апрельские тезисы, как скромно называл их сам Владимир Ильич, были подлинной программой партии большевиков, плодом творческого осмысления Лениным марксизма. Она, эта программа, не просто звала вперед — она давала конкретные ответы на самые жгучие вопросы времени. Как выйти из войны? Как бороться с голодом и разрухой? Какую тактику следует избрать партии при переходе к социалистической революции? Каковы будут формы нового государства? Таков масштаб этих тезисов. Требовал в них Ленин переработки партийной программы, созыва нового съезда партии, переименования ее в коммунистическую — и, наконец, выдвигал грандиозную задачу создания Третьего, Коммунистического Интернационала.

Тезисы именно грянули и вызвали немало разногласий даже среди большевиков, в том числе и в самой редакции «Правды». Поэтому решено было открыто обсудить их, с тем чтобы результаты дискуссии представить на Всероссийскую конференцию большевиков, намеченную на 20 апреля 1917 года.

Александр Аросеву никогда не нужно было насиловать себя, чтобы принять идеи Ленина. Удивительным образом они входили не только в сознание, но и в мир его чувств, ложились плотно, как бы точно пригнанные по его собственной мерке. Мысль Александра, пускай порой не совсем оформившаяся, смутная, скорее предугадывание мысли, шла в том же русле. Ни одно слово Ленина — даже когда тот оставался в меньшинстве, воз-

буждая споры и противодействие себе,— не противоречило духу Александра. Тут было какое-то органическое родство душ.

Аросев любил Ленина с тех самых пор, как впервые увиделся с ним в Париже. Он поразился тогда удивительному свойству Владимира Ильича понимать человека с полуслова и понимать, быть может, глубже, чем понимал себя сам его собеседник. Ленин расспрашивал о делах в России, и Александр убедился тогда, что эти дела Владимир Ильич знает лучше и анализирует их куда точнее, чем товарищи, работающие на родине.

В дальнейших встречах Александр понял этот характер. Неутомимость мышления Ленина, его азартность, его редкостную способность отторгать от себя, отбрасывать привычное, но устаревшее — и не бояться небывалого. С легким морозцем восторга думал порой (ни с кем, конечно, не делаясь), что такие гении — пришельцы из будущего, из того мира, где человечество, освобожденное от мертвой хватки собственности и всего, что ею порождено, — от войн, несправедливых законов, от преступлений, голода, разврата, нищеты духа и тела — разовьется наконец в полную свою красоту и силу.

Апрельские тезисы Ленина Александр воспринял как звонкое пение полковой трубы, как призыв к походу в этот новый мир, к атаке на старый! И он был в числе тех, кто сразу и безоговорочно встал на сторону Владимира Ильича.

Встал на его сторону, хотя, проведши двенадцать лет в революции, отлично отдавал себе отчет, какая адская работа предстоит, сколько придется положить сил, чтобы убедить в правоте — своей, своей! — весь расшатанный, измученный, наивный и растерянный, жаждущий хлеба и мира народ.

Не колеблясь, Александр кинулся в эту бучу.

Едва закончилась Московская общегородская конференция, собралась Московская областная. И здесь — споры, споры... Аросев понимал, что даже в стане большевиков споры неизбежны и нормальны: и обстоятельства, и дело, которое они делали, — невиданный, неслыханный! Партию составляют личности, у каждой — свои мысли, свои мечты, выношенные за долгие годы борьбы. Но мечты надо согласовать с возможным, с необходимым. Разными могут быть представления о дальнейшем пути в будущее, но верный путь — один-единственный,

его-то и следует найти! Значит, нужно спорить, доказывать. Апрельские тезисы Ленина были как компас.

И на Московской областной конференции большевиков Аросев, сделав доклад о войне, затем вместе с Арманд, Усиевичем, Землячкой выступил против Смидовича, считавшего нужным на этом этапе поддерживать Временное правительство, и против Осинского, который предлагал для дальнейшей борьбы объединиться с меньшевиками.

А через три дня после областной конференции надо было ехать в Питер — на VII (Апрельскую) Всероссийскую конференцию РСДРП(б). Москва послала восемнадцать делегатов, видных большевиков — Дзержинского, Землячку, Ногина... В их числе был и Аросев.

Пять дней работал этот важнейший большевистский форум под непосредственным руководством Ленина. Владимир Ильич выступал каждый день по несколько раз. Говорил, доказывал, убеждал, разворачивая перед товарищами истинную картину состояния России. Исследовал самые жгучие проблемы: отношение к Временному правительству, к Советам, к войне, к международному рабочему движению, к крестьянам и мелкой буржуазии, к их «революционному оборончеству».

Александр слушал и радовался тому, что его собственные мысли о новом качестве контрреволюции и ее международном характере, о необходимости кончать войну снизу, через братание, и о том, какая сложная, трудная работа ждет их впереди: разъяснять, перетягивать массы, организовать их для борьбы, — что все это находило самое авторитетное подтверждение и уточнение в речах Ленина.

В протоколах VII Всероссийской конференции не сохранилась фамилия делегата, сделавшего доклад о работе московской «Военки». Но более чем вероятно, что докладчиком был Аросев, один из руководителей этой самой «Военки».

И на Апрельской конференции не обошлось без горячих споров. В частности, Смидович в своем выступлении возражал против центрального лозунга Апрельских тезисов «Вся власть Советам!» на том основании, что с ростом влияния пролетарских организаций, размаха профессионального движения влияние и роль Советов ослабнет. Смидович пытался также доказать, что будто бы после Апрельских тезисов большевики в Москве попали в изоляцию и потеряли влияние в Советах. Аросев

был в числе тех десяти делегатов от Москвы, которые и в письменном заявлении, и устами Землячки решительно опровергли эти утверждения. Розалия Самойловна довольно резко заявила, что товарищ Смидович не выражает мнения московской делегации и не знает истинного положения дел.

Так, преодолевая сомнения товарищей, разъясняя непонятное, отбрасывая ненужное, VII Апрельская конференция, на основе ленинских тезисов, выработала четкий план перехода к социалистической революции.

Десять лет спустя, в апрельском номере «Красной газеты» от 1927 года, Аросев напишет в своей статье «Ленин на Апрельской конференции большевиков»:

«В те дни, когда все переживали восторг революции и именно от восторга-то и лишены были способности разложить явления, текущие бурным потоком, проанализировать их, разобраться, изучить,— быть может, один только Ленин не потерял головы и пристальным, упорным взглядом смотрел на «текущий момент».

Ближайшие события подтвердили верность ленинского анализа.

Страна кипела. Страна снялась с насиженного места — и пошло-поехало: съезды, совещания, митинги, стачки, стычки...

В мае — июне собрались подряд два съезда: I Всероссийский съезд крестьянских депутатов и I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Владимир Ильич выступал на обоих с разъяснением большевистской программы, но сильно еще было влияние эсеро-меньшевистского блока, составлявшего большинство в Советах. Поэтому и приняли эти съезды соглашательские резолюции — поддерживать Временное правительство, не передавать власть Советам (то есть самим себе!) — и одобрить новое наступление на фронте.

Одновременно с этими съездами в Москве состоялся III съезд партии эсеров, на котором произошел конфликт: старейшая эсерка Брешко-Брешковская, «бабушка русской революции», отказалась стать членом нового ЦК партии эсеров из-за того, что в этот ЦК не выбрали Керенского.

Тогда же собрались на свое совещание члены отмененной еще царем IV Государственной думы. Эти бывшие депутаты, в большинстве своем кадеты, ощущали настоятельную необходимость всеми силами противодействовать дальнейшему развитию революции...

Но в противовес всему этому в Петрограде прошла конференция фабрично-заводских комитетов, твердо вставшая на позиции большевиков. И 18 июня 500 тысяч питерских рабочих и солдат вышли на улицы, демонстрируя против Временного правительства, против вхождения в него меньшевиков и эсеров. Это было уже мощным сигналом недовольства народа политикой мелкобуржуазных партий, признаком растущего влияния большевиков.

В тот же день, 18 июня 1917 года, на фронте началось наступление, на которое дали свое «добро» эсеры и меньшевики. А две недели спустя, 2 июля, пришло известие о полном провале этого наступления. Это вызвало бурю негодования и возмущения народных масс. 3 июля в Петрограде возникли стихийные демонстрации против Временного правительства, причем зачинщиком на сей раз была воинская часть — 1-й пулеметный полк. Большевики были против преждевременного выступления, которое могло только ослабить, распылить силы, готовящиеся к социалистической революции. Но они не могли сложа руки смотреть, как поддается на провокацию неорганизованная масса, и приняли участие в демонстрации, стараясь внести организованность, придать ей мирный характер. Закончилось это, как известно, расстрелом безоружных толп; заодно войска Временного правительства разгромили редакцию «Правды» и особняк Кшесинской, где помещались ЦК и ПК РСДРП(б).

Эти события положили конец двоевластию — власть окончательно перешла к Временному правительству. Лозунг «Вся власть Советам!» был временно снят. Мирный период революции завершился.

7 июля Временное правительство издало приказ об аресте Ленина. ЦК большевиков постановил: Владимиру Ильичу уйти в подполье. Уйти, несмотря на то что готовился VI съезд партии.

Так происходила поляризация сил. Если Февральскую революцию с радостью встретили почти все слои населения России, кроме разве ярых монархистов, то теперь прояснялось лицо этих разных слоев. И все очевиднее становилось, что большевики опираются на массы, в то время как мелкобуржуазные партии все дальше скатываются к реакции.

Глава седьмая

Древняя Тверь, некогда грозная соперница Москвы, стольный город былых великих князей, сломленная волей московских Иванов — Калиты, Третьего, Четвертого, — постарела, съежилась, замкнулась в провинциальной малости. Старый русский пыльный город, населенный обывателями из дворян и крестьян, не удостоился даже того, чтобы попасть под линейку императора, проведшего прямую черту от Петербурга до Москвы, когда обозначал линию первой в России железной дороги: вокзал Твери очутился в пяти километрах от города.

Свежим майским утром семнадцатого года сошел здесь с поезда только что произведенный в прапорщики Александр Аросев. Широко расставленными серыми любопытными глазами из-под черных бровей оглядел пустынные окрестности. Напротив вокзала готовился отправиться в город желтенький трамвайчик. Прапорщик подбежал — вагон уже трогался, — вскочил на подножку. Трамвай, дребезжа разболтанными сочленениями, поволокся, часто останавливаясь, к центру и дальше, через весь одноэтажный ампиный город, мимо домиков с трогательными колоннами, мимо палисадничков и заборов. Процокал по булыжникам извозчик, обогнал трамвай, свернул в боковую улицу; а кроме него, не заметил прапорщик какого-либо движения. И пешеходов было немного.

«Сонное царство! — подумал приезжий. — Меньше двухсот верст от Москвы, а какая разница! Даже в моей Казани оживления больше... Ничего, разворошим!»

У огромного краснокирпичного здания (быть может, единственного такого в Твери) прапорщик спрыгнул на ходу, сразу догадавшись, что это и есть текстильная фабрика Морозова. Она да еще, поменьше, фабрика Берга и могучий Русско-Балтийский завод на другом берегу Волги были островками пролетариата в мелкобуржуазном море Твери. Эти предприятия и расквартированные здесь запасные воинские части и составляли будущее неле деятельности Аросева, посланного в Тверь Московским комитетом большевиков, раз уж военное командование направило его в этот город для прохождения службы в 57-м запасном полку.

Напротив ворот Морозовской фабрики Александр

сразу нашел по описанию деревянный, серый от пыли домишко. На облупленной двери висела записочка от руки: «Тверской комитет РСДРП большевиков».

В низенькой комнатухе сидели два человека: один солдат, другой, по внешнему виду, — интеллигент. Посланца Москвы встретили радостно.

— Это хорошо, что москвичи о нас думают, — сильно окая, пожал ему руку солдат. — Правда, и мы тут не сидим зря ума... Богданов моя фамилия.

— Аросев, — Александр ответил крепким рукопожатием и не удержался от вопроса: — Волжанин?

Богданов рассмеялся:

— Заметил? Значит, и сам с Волги. Я с Нижнего, а ты?

— Из Казани.

— Ну, совсем рядышком! И тут у нас Волга, только еще не матушка — подросток. Однако водица-то родная!

Аросев подсел к ним за хлипкий конторский столик, и другой член комитета — его фамилия была Криницкий — начал рассказывать. Выслушав о работе комитета, Аросев поинтересовался:

— А с эсерами как?

— Есть, есть, как же без этого добра! Гнезятся где-то в центре города, главным у них присяжный поверенный Вольский.

О чем бы ни говорил Богданов, в тоне его всегда слышалась ирония, и Александр, сам склонный к юмору, сразу разгадал характер этого солдата. Есть на Руси такой тип — вроде весельчак и балагур, а на деле живого ума человек. Криницкий был серьезнее, сдержаннее. Он заметил, что Вольский — крепкий орешек.

— В каком смысле? — спросил Александр.

— Язык отлично подвешен. А хитрый! Особенно сильно насчет защиты отечества заворачивает...

— Аж слеза прошибает, — подхватил Богданов. — А тут солдатушек пруд пруди, есть где разгуляться!

— Ну, таких мы слышали, — тряхнул головой Аросев. — Схлестнемся и с Вольским. А какие тут еще воинские части, кроме моего 57-го полка?

— Еще 196-й, затем артиллеристы, кавалерийское училище. Их казармы недалеко, прямо за Морозовской фабрикой.

— Давайте сразу, вдвоем, и махнем к ним! Тем более мне надо представиться по начальству. А?

— Вы идите с Богдановым, он же вам и жилье по-

дыщет, а я не могу — кто-то должен оставаться в комитете,— решил Криницкий.

Подлинная страда началась для Аросева, как и для всех большевиков, в то жаркое лето. Именно здесь, в Твери, пережил он весь трудный, полный борьбы, споров, гнева и надежд процесс перехода от буржуазно-демократической революции к пролетарской. Его сразу выбрали в тверской Совет военных депутатов (в Твери он назывался именно так), а вскоре он стал одним из его руководителей.

Через несколько дней после приезда на общем собрании тверских большевиков Аросев сделал доклад об Апрельской конференции, в которой, как мы знаем, принимал активное участие. И решение по этому вопросу было принято то, которое внес Александр.

Он незамедлительно приступил к созданию в Твери Военной организации большевиков. 7 июня в газете «Объединение», органе тверских рабочих и военных депутатов, появилось объявление:

«Товарищей-солдат, желающих вступить в члены Военной организации РСДРП(б), просим записываться в Рабочем клубе...»

18 июня в Твери прошла демонстрация под лозунгами: «Вся власть Советам!», «Хлеба, мира, свободы!», «Долой десять министров-капиталистов!»

Но Аросев, хотя и был среди тех, кто готовил эту демонстрацию, участия в ней принять не мог: с 16 по 23 июня в Петрограде собралась Всероссийская конференция фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП(б), на которую тверяки делегировали его. Снова Александр слушал Ленина, выступившего на этой конференции по текущему моменту и по аграрному вопросу. Сам же он поделился с товарищами своими наблюдениями над своеобразием военной организации. Он считал, что выступление солдат в вооруженном восстании будет иметь более решающее значение, чем выступление рабочих,— солдаты вооружены и умеют обращаться с оружием; но, с другой стороны, уровень сознания солдат, в большинстве своем крестьян, ниже уровня сознания рабочих. Из этого вытекает необходимость усиленной разъяснительной, агитационной работы среди солдат, что он и начал делать в Твери.

Аросева выбрали в редакционную комиссию конференции — и во Всероссийское Центральное бюро военных организаций при ЦК РСДРП(б).

Вернувшись в Тверь, Александр продолжил начатое. Он не знал ни сна, ни отдыха. Собирал митинги, по три раза в неделю устраивал регулярные лекции для солдат и рабочих, мотался по казармам, переписывался с частями на фронте, выступал на Морозовской фабрике, в театре, на улицах... Иногда слушатели с триумфом выносили его на руках, иногда — за ноги стаскивали с трибуны. В первом случае он испытывал неловкость, во втором не обижался — злился. Злился на темноту народа, прекрасно зная, что темнота эта — невольная, умышленно пестуемая властительными негодяями... Но как глубоко пустила она корни!

Нередко в предвидении нового напряженного дня, а то и глубокой ночью, после трудного собрания, Александр уходил на берег Волги. Она была здесь уже, чем под Казанью, где он и его товарищи, бывало, привязав на голову сверток с одеждой, саженками переплывали реку и на высоком правом берегу под Услоном разводили костер, пекли картошку, отдыхали перед тем, как пуститься в обратный путь. И на воле говорили, спорили, смеялись... Но хоть и была Волга тут, в Твери, всего лишь «подростком», по выражению Богданова, однако «родная водица» отлично смывала пыль усталости, вливала свежесть в молодое тело, прибавляла сил. Зарядившись новой энергией, послав по течению мысленный привет Казани и всем, кого оставил там, Александр возвращался к своей «адовой» работе.

...В казарме душно, стоит жара, солдаты вывалили во двор, тесно окружили зарядный ящик, на который встал «товарищ Александр», как его называли солдаты. Всем своим обликом, крепкой коренастой фигурой, звонким теноровым голосом этот прапорщик нравился солдатам: не «задавался», не корчил из себя командира, держался просто, дружелюбно.

— Да ведь так уже было, товарищи! — с увлечением передавал он свои мысли собравшимся. — Было в Париже, во Франции, и не раз — в одном только прошлом веке трижды поднимался народ: в тридцатом, сорок восьмом и семьдесят первом — кстати, в семьдесят первом у них тоже шла война с немцами... Поднимался, потрясал трон, короли бежали, а толку что? Даже Коммуна, Парижская коммуна, первая в мире диктатура пролетариата, и та не довела дело до конца! А почему? Болтались у нее под ногами буржуи, называвшие себя социалистами, сбивали с панталыку решительных, за

руки хватали — точь-в-точь наши меньшевики с эсерами... И расстреляла Коммуну их белая сволочь! Был у них такой «социалист», кровавый карлик Тьер... Видали вы когда, братцы, чтоб наши противники честно и прямо называли себя партией грабителей, душителers народа, партией капиталистов? Нет, они, чтоб обмануть нас, хорошие названия себе подбирают: конституционные демократы, социалисты-революционеры. А какой, к хренам, социалист тот же Керенский? Да все эти министры-социалисты спят и видят, как бы нас с вами в кулак зажать, как бы войну проклятую продолжить!

— Что же вы предлагаете, товарищ большевик? — звонкий чистый голос прорезал поднявшийся одобрительный гул толпы, и напротив Александра выставился по грудь над головами солдат — то ли на другой ящик вскочил, то ли оперся на плечи рядом стоящих — знакомый всему городу глава тверских эсеров Вольский.

Внешность у Вольского была не просто приятная, но даже обаятельная: волнистые волосы (он был без головного убора) обрамляли вдохновенный лоб, в глазах светился ум, весь облик его мог бы служить эталоном человека мягкого, интеллигентного, даже мечтательного. Однако этот человек обладал стальным характером, решительностью и даже какой-то беспощадностью. Говорить же Вольский умел так, что, по выражению Богданова, «аж слеза прошибала».

— Что же вы предлагаете, товарищ большевик? — вскричал Вольский. — Целоваться с врагом? Склониться перед тевтонами, отдать им отечество на растерзание?! Никогда не поверю, чтобы большевики требовали этого!

Так, удар «под дых». Становясь как бы на сторону большевиков, как бы обеляя их от напраслины, Вольский перетягивает к себе симпатии солдат! Более того, он смазывает принципиальное расхождение между эсерами и большевиками по вопросу о войне, поселяет еще горшую путаницу в умах людей. Ловкий, хоть и недобросовестный ход! Чем ответить?..

А Вольский продолжал:

— Оглядитесь вокруг, солдаты! Несчастлиная родина наша измучена трехлетней войной...

(«Рискованно забирает — посылка-то наша», — мелькнуло в голове у Александра.)

— ...так неужто же тысячи, сотни тысяч русских пали напрасно, неужто предадим мы их память, отринем их жертву?!

(«Вот ларчик-то и открылся...»)

— Нет, товарищи большевики, этого вы не можете требовать от народа! От народа, который вырвался из-под ига тирании и обрел желанную свободу, чтобы самому теперь определять свою судьбу!

Заволновалось, забурлило в сердцах и головах солдат, зашумели детинушки, кое-где начали уже поталкивать друг дружку и за грудки хвататься; крики поднялись:

— Большаки — изменники! Немцам продались!

— А ты буржуйский холуй!

— Мало тебе крови!

Уже и к Александру подступали. «Ох, опять за ноги стащут!» — мелькнула у того озорная мысль, но он сумел овладеть собой: а ну-ка и я его же приемом воспользуюсь!

— Ребятунки, чем горло драть, давайте разберемся! Чего шуметь? Вы люди серьезные, всякое повидали. Товарищ эсер говорит: страна истерзана. Так?

— Вестимо, так! Чего спрашиваешь! Прав Вольский!

— И я говорю — прав он! Истерзана Россия, дальше некуда. И жертвы огромные, сотни тысяч убитых, искалеченных, а еще больше голодных — миллионы! И тут он прав. Но вот вопрос: а не напрасны ли эти жертвы? Во имя чего они? Вспомним-ка, кто войну затеял и кто на ней наживается? Наживается капиталист и помещик. Ну, раньше еще царь выгоду свою имел: грабить другие государства. Теперь царя мы скинули, а помещики и капиталисты остались. Потому и война осталась! Выходит так: чтоб фабрикант оружия, чтоб поставщик гнилых сапог или заплесневелых галет мог прибыль толстую в карман класть, погубили на фронте эти сотни тысяч, в том числе и мой родной братишка — под Перемышлем...

Александр тотчас спохватился — ну о личном-то зачем, вроде спекулирую на смерти Сережи. Однако именно эта частичка его сердца, открывшаяся на миг, сделала его ближе, понятнее для солдат.

— Кровь ваша, братцы, золотом к ним в карманы течет, едят ведь они нас, трупами нашими питаются! Вольский спрашивает, что я, большевик, предлагаю? А то, что мир мы должны установить сами, без буржуев!

— Как же с немцами? Вильгельм-то ихний, поди, замиряться не захочет? — раздались сомневающиеся голоса, и Александр увидел, как снова вспрыгнул было Воль-

ский над головами солдат, да что-то очень уж быстро нырнул обратно — видно, его за ноги-то стащили.

— Так ведь не сам же Вильгельм, не буржуи немецкие в окопах сидят! Сидят в них такие же, как мы, братья наши по классу, рабочий с мужиком. С ними и толковать! Они того же мира жаждут, всеми своими потрохами жаждут!

Бились в голове Александра такие ясные, такие главные мысли — они словно разом охватывали все, что происходило вокруг. Он так ясно видел подлость власть имущих, обыкновенный грубый обман народа ради материальных выгод кучки негодяев... Все, в сущности, очень просто, но сколько же накрутили люди на эту простоту всякой возвышенно-лживой паутины — и как непросто теперь выпутывать это простое, это главное! С каким трудом мы, революционеры, большевики, разгребаем теперь эти наносы невежества, эту веками выращиваемую заскорузлость разума!

И виделись Александру большевики былинными светлыми богатырями, дружиною сотен Данко, несущих в поднятых руках пылающие сердца свои впереди измученных толп...

Так шли его внутренние, сокровенные мысли, но он никогда не рассказывал о них никому — стеснялся своей выпренности, романтизма своего.

Совершенно точно оценил влияние Аросева и результаты его деятельности командир 2-го артиллерийского дивизиона полковник Бергер. Полковник считал, что со времени появления этого, скоростной выпечки, прапора в Твери среди солдат особенно заметно усилились большевистские настроения. Полковник забил тревогу. Он трижды ездил в Москву с докладом о «вредности влияния Аросева». Доносил об этом и начальнику Тверского гарнизона с оригинальной фамилией Жаба. Однако тогда командование еще не решалось пресекать «демократию». Командование выжидало. И дождалось.

Июльские кровавые события окончательно разоблачили истинную сущность Временного правительства как правительства контрреволюционного. Уже не царь — виновник преступления, а «демократический» кабинет, в котором три важнейших поста — министра-председателя, военного министра и министра морского флота — захватил Керенский. Тот самый «душка-адвокат», который восстановил на фронте смертную казнь, отмененную было после февраля, и собирался ввести ее в тылу.

Едва узнав о питерском побоище, 5 июля тверские большевики экстренно созвали партактив.

— Надо различать два элемента в питерской демонстрации,— говорил на партактиве Аросев.— Вооруженные, но неорганизованные массы — и безоружные большевики. У меня такое впечатление, что, открыв огонь, правительство рассчитывало вызвать восстание, чтобы потопить его в крови. Ей-богу, это была провокация, товарищи! Но мы на нее не поддадимся, хотя среди солдат страшное возбуждение. Если мы пойдем у них на поводу, получится то же самое, что и в Питере, и силы наши будут разбиты до начала нашей пролетарской революции! Этого никак нельзя допускать...

Аросева поддержали другие товарищи — Криницкий, Вагжанов, Богданов. Решили немедленно разойтись по казармам — успокоить горячие головы.

Когда Александр пришел к артиллеристам, его оглушил многоголосый шум.

— Да что же это, братцы?! — кричал пожилой солдат в застиранной гимнастерке, его потное лицо побагровело от усилий перекрыть шум.— Опять стреляют в народ! Как девятого января! Сколько же этой муке продолжаться?

— Правильно! Долой временных!

— Войну не кончают, на хрена они нам!

— В деревне жрать нечего!

— Царя скинули и энтих скинем!

— А за нами и другие пойдут! Факт!

— Даешь власть Советам!

Кто-то заметил Александра.

— Братцы! Товарищ Александр пришел! Его спросим!

— А мы хоть сейчас, с оружием...

Постепенно шум улегся, все повернулись к Аросеву.

Он не спешил, был задумчив. Решимость солдат радовала его — но ведь рано же, рано! Поймут ли, захотят ли понять?

Он не стал искать места повыше, как то бывало на митингах; напротив, сел на ближайшую койку, и тогда все солдаты, толпившиеся в спальне, тоже расселись.

— Вы, товарищи, совершенно правы,— негромко начал Александр, и по солдатской массе пробежал шепоток удовлетворения.— Это правительство любит кровь народа, чем же оно лучше царя? Войну не кончает, землю крестьянам что-то не торопится отдавать, Учредительное

собрание не созывает — видать, понравилась власть-то! Как же правы были мы, большевики, когда предупреждали — не ждать добра от Временного! Да только правы мы и в другом. Революция — дело тонкое и точное, ее нельзя делать с бухты-барахты. От незрелых яблок одно только и может произойти — понос... — Солдаты вежливо посмеялись шутке. — Не станете же вы жать рожь прежде времени! Так и тут: не созрел еще наш урожай.

— А чего не созрел? Советы-то есть? Вот и пускай берут власть, а мы поддержим!

— Ага! Нам только сигнал подай!

— Вот то-то, сигнал, — возразил Аросев. — Сигнала-то партия еще и не дает. Рано.

— Да, но Советы...

— Давайте разберемся с Советами. У кого сейчас большинство в Советах? У эсеров с меньшевиками. И во Временном правительстве — они же. Это ведь именно они дали согласие на злополучное наступление на фронте, которое провалилось с таким треском, что и вызвало возмущение в Питере. Отдай теперь власть Советам — одно на одно и выйдет.

— Так что же тогда делать-то? — чуть ли не с отчаянием выкрикнул кто-то.

— Что делать? — Александр откашлялся. — Сейчас главное — выдержка. Я так думаю, правительство как раз и хочет вызвать неподготовленное восстание, чтоб одним ударом разгромить нас окончательно. Нет, братцы, мы эти хитрости знаем. Надо сейчас упорно и организованно собирать силы для пролетарской революции. А за Советы, товарищи, будем драться, чтоб вытурить из них эсеров с меньшевиками. Да они сами себя разоблачат — уже разоблачают! Попомните мои слова, товарищи: только большевики могут продолжить настоящую революцию. Эсеры и меньшевики по самой природе своей просто на это не способны!

Твердая линия большевиков сделала свое дело: выступления в Твери не было. И все же, видимо, положение в этом городе сильно тревожило власти. В середине июля в Твери появился прокурор Московской судебной палаты эсер Стааль. Попытался извратить картину питерских событий. На президиуме Советов он разглагольствовал об «измене» большевиков, о существовании «документов», будто бы компрометирующих Ленина.

— Но это же ложь! — не выдержал Аросев. — Раз так,

мы срочно созовем всех депутатов всех трех Советов — и там вы не посмеете повторить ваши измышления!

Стаалю очень не хотелось выступать на пленарном заседании Советов, председателем которого — против кандидатуры Вольского — был избран Аросев. Но назвался груздем — полезай в кузов! Впрочем, этот эмиссар Временного правительства действительно не решился здесь повторить клевету на Ленина, на большевиков. Вместо этого довольно вяло рассказал о событиях в Петрограде. После него от большевиков, как писал об этом позднее Аросев, «прекрасную речь, полную хорошего русского остроумия, смелых нападок на эсеров, на клеветников» произнес Богданов. И все же большинством в четыре-пять голосов прошла резолюция эсеров, внесенная Вольским. Правда, и он не осмелился вставить в нее ни слова об «измене» большевиков, ограничившись общим осуждением событий 3—5 июля.

Точку на всем поставила городская конференция тверских большевиков 18—19 июля. Аросев сделал доклад о текущем моменте и призвал готовить силы к предстоящей социалистической революции.

Текущий момент! Каким значительным содержанием наполнены эти слова! Как часто сам Ленин выступал тогда о «текущем моменте»... Потому что время не просто «текло» — оно несло, мчалось, увлекая за собой события, и каждый «момент» был непохож на предыдущий, выдвигая все новые и новые необходимости.

Тверская конференция выбрала Аросева делегатом на 2-ю Московскую областную конференцию и на VI съезд РСДРП(б).

Однако участвовать ни в конференции, ни в съезде Александру не пришлось.

В Тверь нагрянула следственная комиссия Московского военного округа. Расположившись в желтом дворце губернатора, комиссия собрала какой-то материал, арестовала семерых солдат и наконец вызвала Аросева.

Войдя в комнату комиссии, Александр увидел троих: низенького военного в пенсне, за которым поблескивали злые глаза, — это был полковник Орестов, военный судья; рыхлого, женственного вида вольноопределяющегося — эсера Савина, от Московского Совета солдатских депутатов; и высокого, худого рабочего, тоже эсера, Костюченко — от Московского Совета рабочих депутатов. Александр, обладавший метким глазом, тотчас отметил про себя: «А лобик-то у полковника ограниченный! На

лице вольноопределяющегося — полное непонимание происходящего, зато в глазах третьего, согбенного от худобы, похожего на знак вопроса, — отблеск какой-то внутренней расколотости, дезорганизации, душевного хаоса... Этот, пожалуй, будет опаснее всех!»

— Скажите, товарищ, кто писал прокламацию, выпущенную от имени Тверского комитета большевиков? — каким-то ласковым, чуть ли не дружеским тоном обратился к Александру именно этот «Знак Вопросы».

— Прокламация выпущена легально, и автор ее тот, кто и подписал: комитет.

— Вы меня не поняли. Мы хотим знать, кто писал непосредственно? Скажете — оставим на свободе, нет — плохо вам будет!

— То есть шантажируете меня, предлагая предательство?

— Вот именно, — ничуть не смутившись, ответил Костюченко.

Он хотел еще что-то добавить, но его перебил полковник — видимо, не желал уступить первенство какому-то «пролетарию».

— Отставить разговоры! Перейдем к формальностям. Имя, фамилия?

Он стал записывать, для чего-то осведомляясь о родителях, братьях, сестрах, женах братьев, мужьях сестер... Александр отвечал, в душе потешаясь над полковником, а сам все косился на Костюченко, чувствуя в нем реальную угрозу. Конечно же, этот «Знак Вопросы», как и сам Александр, прошел в свое время хорошую школу жандармских допросов и будет теперь применять свой опыт на деле, только в обратном смысле.

Закончив упражнения в формальностях, полковник зловеще произнес:

— Прапорщик Аросев, объявляю вас под следствием. Лично я рассматриваю вас как изменника, подстрекающего к измене солдат. — Он полистал в бумагах. — Вот показания фельдфебеля 1-й батареи 6-го артдивизиона. Гражданин Савин, огласите!

Он передал пачку бумажек вольноопределяющемуся, и тот начал монотонно читать:

— «Положение начальствующих было тяжелое, потому что большевистское течение в связи с лекциями прапорщика Аросева имело большое влияние, и мне, эсеру, нельзя было даже говорить своим солдатам...»

— Дальше! — коротко бросил Орестов.

— Показание корнета ополчения Мамонова: «Знаю об Аросеве понаслышке, что он весьма дурно влиял на весь гарнизон Твери. Однажды я вошел на митинг в 6-м тяжелом артдивизионе. Аросев оборвал речь, и я должен был уйти. Я — начальник 1-й Тверской команды выздоравливающих, и я передал Аросеву, что если он со своими речами придет в мою команду, то я его убью как бешеную собаку...»

— Дальше!

— Показание прапорщика 6-го артдивизиона Попова: «В начале июля случайно зашел на Морозовскую фабрику, где была лекция Аросева. Он критиковал Временное правительство, в частности министров-социалистов, пренебрежительно отзывался о распоряжениях Керенского. Из бесед с солдатами дивизиона понял: эти лекции оказывают на них дурное влияние. Враждебность к офицерам — тоже от Аросева, которому солдаты доверяли. По словам солдат Цветкова и Скриппеля, Аросев раскрывает им глаза и душу».

— Что там еще? — нетерпеливо спросил Костюченко, несколько смущенный неубедительностью «улик».

— Штабс-капитан Григорьев показывает: «Пропаганды и речи Аросева оказывают свое влияние, однако в умах солдат не происходит ничего идейного, так как они неразвиты. Ввиду неправильного понимания большевистских идей, а также отчасти под влиянием Аросева солдаты не признают никакого авторитета...»

Тут уж Александр не выдержал, расхохотался:

— Скажите, какой знаток большевистских идей! Да знаю я этого штабс-капитана: дуб дубом. И что же, это все, на чем строится обвинение? На показаниях одного фельдфебеля и офицеров? Ну демократы!

— Подследственный, прошу серьезнее! — одернул его полковник. — Отвечайте: против войны агитировали?

— А как же!

— Действия правительства опорочивали?

— Еще бы! Правительство-то незаконное. Господа эсеры должны знать, кем и как оно состряпано. Но вы еще не видите, к чему оно приведет! Вчера оно расстреливало мирную демонстрацию, сегодня охотится за Лениным, а завтра отдаст власть какому-нибудь диктатору, чтобы железной рукой насаждал «демократию», угодную господам Рябушинским...

— Прапорщик Аросев, вы арестованы! — раздраженно вскричал Орестов. — Вы обвиняетесь в государствен-

ной измене, а за это, как вам известно, предусматривается теперь... смертная казнь!

Аросева принял казачий офицер, отвел в небольшую отдаленную комнатуху и приставил четырех казаков.

Смеркалось. Немые, неподвижные стражи по четырем углам совсем растворились в темноте — только глаза поблескивали да штыки. Огня не зажигали. Александр прикорнул на диванчике. Он не мог еще поверить, что дело его обстоит так плохо. Смертная казнь? Парадокс! Даже царское правительство не грозило ему ничем подобным, а вот «демократы», пришедшие к власти через революцию... Нет, этого не может быть. Пугают. А впрочем, от эсеров всего можно ожидать! Как злорадно смотрел на него Костюченко, этот «Знак Вопросы», этот «рабочий» депутат! По глазам видно было — готов в ложке воды утопить. Ну ничего! Завтра же в Твери такое поднимется! Еще бы, замахнулись на Совет военных депутатов! Оплошали, господа следователи!

Погруженный в невеселые мысли, Александр задремал.

Его разбудили глухой ночью.

— Собирайтесь! Отправляйтесь в Москву, — неприятно усмехаясь, объявил давешний казачий офицер.

— Сейчас, ночью?

— Немедленно. Приказ!

— Никуда я не поеду.

— В таком случае применим силу.

Он дал знак, и четыре казака схватили Александра, связали. Аросев не сопротивлялся — это было бы глупо, — но и ни одним движением не облегчил им задачи. Его подняли на руки и понесли.

Развязали его только в вагоне. Казаки не отходили от него ни на шаг. В Москве конвоиры повезли арестованного на извозчике на Неглинку, где в небольшом флигеле на задах Государственного банка помещалась офицерская гауптвахта.

В прежние свои аресты, при царе, Александр, хоть и испытывал тоску пойманного существа, бывал, однако, уверен в себе. Знал по опыту, что ему предстоит и как себя держать. Теперешний арест обещал неизвестность. Его впервые арестовывали после падения самодержавия. Впервые предъявляли обвинение, за которое — спасибо «социалисту» Керенскому — теперь полагалась смертная

казнь. И потом эта поспешность, с какой отправили в Москву,— что она означает? Нет, неудобно было у него на душе.

И никогда еще не было у него подобных товарищей по заключению. Доводилось сидеть с политическими, пускай разных толков, но революционерами. На этапах шаггал рядом с ворами, убийцами, беспаспортными бродягами. А тут были проштрафившиеся офицеры, преимущественно дезертиры, да и то разные: один дезертировал из трусости, другой — по политическим соображениям, третий оказался толстовцем, принципиально отказавшимся брать в руки оружие. Четвертый обитатель камеры объявил, что «страдает за правду».

— Ну уж это, сударь, чересчур! — не выдержал толстовец, человек лет сорока с аккуратной бородкой и в пенсне. — Правду-то вы жандармам выкладывали! Знайте, прапорщик, — он повернулся к Аросеву, — этот человек был просто-напросто провокатором при царской охранке.

— Ну и что? — ничуть не смутился бывший провокатор. — Он вот большевик, то есть из тех, кого я предавал, — да, предавал, из убеждения! А сидим мы вместе, и вы, и он, и я. И всех нас ждет не очень розовое будущее. Так где же она, правда-то?

Караульную службу при офицерской гауптвахте несли солдаты 56-го полка. Еще весной Аросев не раз выступал в этом полку, и теперь один из солдат узнал его. Солдат этот все старался понять: что же теперь происходит? Казалось ему — главное сделано, царя нет, отчего же кругом такая каша? И он решился заговорить об этом с Аросевым, а там беседы их стали систематическими — по дороге в баню, например (арестованных водили мыться в соседние «Сандуны»), или на прогулке во дворе позади банка, а то и просто в камере, пока гуляли соседи Аросева. Александр охотно делился своими мыслями с этим солдатом, прекрасно понимая, что слова его будут переданы дальше. Вскоре отношение караульных к прапорщику-большевику сделалось совсем иным, чем к другим офицерам, к неудовольствию последних. Александр же оттаивал душой в разговорах с этими простыми людьми.

Была и другая радость. На второй день водворения на «губу» его вызвали в канцелярию. Там ждал совершенно незнакомый солдат — высокий, с пышными черными усами, явно не из караульного взвода. Веяло от него какой-

то радостной силой и радостным сознанием этой силы.
— Николай Муралов, от большевистской фракции солдатского Совета,—представился он, и у Александра потеплело на сердце: свой!

Крепкое рукопожатие.

— Тут, брат, целое дело на тебя завели,—продолжал Муралов, сразу перейдя на «ты».—Хотят примерный процесс состряпать, дескать, большевики — изменники. Недаром следственная комиссия две недели в Твери вынюхивала...

— Я знаю.

— Знать знай, а на дело так легко не смотри. Опасность нешуточная.

— Ты что, пугать меня пришел?

— Не пугать, а надо как следует подготовиться.

— Одного не понимаю,—задумчиво протянул Александр.—Какого беса понадобилось меня сюда волочить? В Твери уже готовили протесты.

— Протесты в Твери и без тебя будут, обязательно будут, а перевели тебя в Москву по требованию Тверского же Совета.

— Не верю! Чтоб наши...

— А ты дослушай. Дело было так: тебя ведь казаки арестовали?

— Да, а что?

— Ох уж эти мне казачки! Они ведь сговорились попросту пристрелить тебя, вроде ты бежать пытался. А есть там один парнишка славный, поручик. Услышал он случайно этот сговор — болтался зачем-то во дворце губернатора — и не поленился, в тот же час, ночью, прибежал в Совет, рассказал. Товарищи и потребовали немедленного твоего перевода — тут тебе ничего подобного грозить не может. Спас тебя поручик-то!

— Вон оно что... А я-то возмущался! — Александр вдруг захохотал.

— Что тут смешного? — недоумевал Муралов.

— Да вспомнил, как они меня на руках несли — как ребенка спеленутого. Ладно, подготовимся к борьбе.

— Будем бороться и мы — за тебя и еще за двинцев *. Их тоже в Москву перевели, в Бутырках сидят. Около девяносто человек.

* Солдаты-большевики разных частей Северного фронта, протестовавшие против введения смертной казни. Первоначально были заключены в Двинскую крепость — отсюда их общее название.

— Скажи еще, кого вместо меня в «Военку» направили?

— Вместо тебя да Лопашова— того на фронт угнали — кооптировали Ярославского и Тихомирнова.

— Виктора?! — радостно вскричал Александр.

— Знакомый?

— Да это мой самый старый друг! Еще по казанскому училищу. Давно потеряли друг друга из виду. Значит, жив-здоров!

— Жив-то жив, а здоров не очень,— погрустнел Муралов.— С легкими у него что-то.

— Знаю, давно у него с ними неладно...

Муралов ушел, а Александр задумался. Позволил себе вспомнить юность.

Так вот где снова пересеклись их пути! Опять они с Виктором впряглись «в одну телегу». Раз как-то, когда мальчишками спорили о смысле жизни и споры дошли до кипения, Александр, чтоб разрядить напряжение, крикнул: «Нет, братцы, в одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань! Чур, я — конь!» — «Разве я похож на лань?» — обиделся Виктор. «Похож, похож! И глаза у тебя ланьи!» — поддразнил его Коля Мальцев. «Ну если он лань, то уж никак не трепетная,— наклонил лобастую голову, ухмыляясь, Вячеслав Скрябин и добавил уже серьезнее: — В нашем деле нужны и те, и другие...»

Где они теперь — Коля, Веча? Наверняка «при деле», но когда же придется снова встретиться вчетвером? Такое время настает, зреет, зреет нечто огромное, великое...

Как-то Муралов распахнул дверь и оглушил Александра возгласом:

— Пляши!

— Неужто письмо? — вскочил с табуретки Александр.

— И почерк женский,— лукаво прищурил глаз Николай.— На твой тверской адрес пришло, товарищи переслали,— добавил он уже без шутки.

— От мамы... — пробормотал Александр, торопливо разрывая конверт.

«Письмо от матери, а радуется, будто от зазнобы получил»,— невольно подумалось Муралову. Он повернулся, чтобы деликатно удалиться, но Александр остановил его:

— Послушай, что пишет. Она теперь в Спасске живет, это в тридцати верстах от Казани. «Милый сын»... Ну,

тут обычное. А, вот: «Никогда еще человечество не стояло на таком распутии, как теперь... Ваша идея для меня свята, ибо она есть сама правда и справедливость. Слепец тот, кто не видит, и негодяй тот, кто видит и не признает из личных выгод. Работаю в этом направлении, как могу и умею... Удалось объединить местную трудовую интеллигенцию с крестьянством, основать женский союз... Ежедневно езжу по деревням, устраиваю собрания и чтения... Идут охотно, слушают и верят. Но много есть и врагов даже и среди учительского персонала и кулаков-крестьян; даже грозят «башку снести»...

На этих словах Александр споткнулся о какую-то смутную тревогу.

— «Но я не трушу,— уже тише, как бы про себя, продолжал он читать.— Ведь умирать когда-нибудь да надо, а я сейчас свободна: детишки, слава богу, все уже взрослые и на дорогах, и я могу без риска для семьи отдаться делу народа...»

— Н-да... Смелая женщина твоя матушка,— задумчиво пробасил Николай.— Большевичка?

— Нет. Беспартийная революционерка. Покойный дед, ее отец, был народовольцем. Все революционное во мне — от них.

— Потомственный, значит.

— Смеешься, а я уверен, придет время, когда люди будут с гордостью считать поколения революционеров в своем роду!

— Выходит, новая аристократия! — усмехнулся Муралов.

— Вроде того, но — с единственной привилегией: брать на себя самое трудное.

Муралов приходил почти каждый день — через него связь с арестованным держали и Московский комитет большевиков, и большевистская фракция солдатского Совета. Этот здоровенный солдат словно заполнял собою всю гауптвахту — казалось, даже в отдаленных ее уголках бьется о тесные стены его грохочущий бас. Александру казалось, будто с его приходом в камере светлеет.

Светлее, или, лучше сказать, яснее становилась для Александра, по рассказам Муралова, и обстановка на «воле».

— Доложу тебе как делегату Шестого съезда... Кстати, съезд принял приветствие арестованным товарищам, стало быть, и тебе тоже! — рокотал Муралов.— На съезде прямо говорилось, что построить социализм можно и

в одной стране, не дожидаясь всемирной революции. От такой мысли даже дух захватывает!

— Это, конечно, Ленин. Узнаю! — задумчиво проговорил Аросев. — У него одного такая смелость мысли! Значит, даже из подполья руководил съездом...

— Говорят, он новую работу пишет — и будто бы о государстве и революции.

— А что еще было на съезде?

— Снят лозунг «Вся власть Советам!».

— Ну и правильно! Пока. А кого в ЦК избрали?

— Всё проверенных товарищей: Ленина, Свердлова, Дзержинского, Сталина, Шаумяна, Артема.

— Отлично! Что еще?

— Главное — слушай! Четко — курс на вооруженное восстание!

— Вот это — ура! Как делегат съезда, подписываюсь обеими руками! Вот почему Ильич о государстве пишет — уже обдумывает, каким оно должно стать после нашей победы. Значит, уверен. И как же великолепно эта его уверенность! А я тут сижу как пень... О, черт! Ведь и противник наш не дремлет! Говорил я еще в Твери полковнику Орестову, а теперь еще тверже повторю: призовет Керенский какого-нибудь солдафона в диктаторы, вот увидишь!

Как в воду глядел. 12 августа собралось Московское Государственное совещание, и вынырнула на нем злобная фигура генерала Корнилова.

Все буржуазные демократии, видя себя не в силах управлять народом так, как им бы хотелось, призывали на помощь грубую силу, и это было признаком их слабости. Правда, корниловский путч успеха не имел. С одной стороны, Керенский вдруг пошел на попятный — испугался, видно, утратить личную власть. С другой — против Корнилова активно действовали большевики. А главное — слишком далеко ушла Россия по революционному пути. Это доказал, в частности, ответ рабочих на Государственное совещание: в день его открытия забастовала вся Москва.

Между тем по заводам Москвы и в Твери прошли митинги, возмущенно требовавшие освобождения Аросева и двинцев.

28 июля газета «Социал-демократ» сообщила, что в редакции получено 97 резолюций с требованием освобо-

дить Аросева, причем все 97 листов были покрыты бесчисленными подписями. Месяцем позже та же газета поместила заявление тверских большевиков:

«Мы протестуем против ареста любимого вождя революционных солдат — социал-демократа большевика, члена РСДРП и члена Исполкома Тверского Совета военных депутатов прапорщика Александра Аросева, старого революционера и честного борца за освобождение человечества... Мы требуем немедленного освобождения нашего руководителя, старавшегося воспитать солдат в духе революционной армии и гражданской свободы!»

Александр объявил голодовку. Вслед за ним начали голодовку и двинцы в Бутырках.

Не обошлось без курьеза. В конце августа на гауптвахту привезли полковника Михеева, ярого корниловца, — Керенский хватал уже и приверженцев военной диктатуры. Услыхав о голодовке большевиков, Михеев тоже отказался принимать пищу. Не в знак солидарности, естественно, — просто поверил, что такая мера протеста поможет и ему...

Но вот парадокс! Не будь корниловского мятежа, пожалуй, плохо пришлось бы и Аросеву, и двинцам при новом законе о смертной казни. Ибо в дни корниловщины большевики уже ультимативно потребовали их освобождения. Это решило дело. В первых числах сентября Аросев вышел на волю. Постепенно, партиями, выпускали и двинцев.

Первым долгом Александр побежал в «Военку». Секретарь «Военки» Ольга Афанасьевна Варенцова радостно встретила давнего своего подопечного.

— Как хорошо, что ты пришел! Столько дел накопилось! — говорила она, перебирая бумажки: протоколы, требования, письма солдат... — Послезавтра, например, митинг на Бирже труда, а пойти некому. Пойдешь? Не устал?

— От чего мне уставать? От сидения? Да это Керенский мне вроде отпуска предоставил! Хоть отоспался и готов пойти куда угодно!

Он выступил на бирже, а несколькими днями позже на общем собрании солдат сделал доклад о задачах «Военки» в связи с «текущим моментом». А «момент»-то был уже новый, другой! Здесь увиделся с тверским товарищем, Богдановым, и тот в своей речи выразил благодарность Аросеву от тверских большевиков. Газета «Социал-демократ» отмечала, что «все собрание горячо

приветствует Аросева». Его тут же выбрали секретарем большевистской фракции Совета солдатских депутатов.

Но самой радостной была встреча с Виктором Тихомировым. Друзья и поселились вместе — в одном из домишек Марьиной Рощи. «Не было у нас ни булок, ни карточек, зато беспредельная дружба и высокие мысли», — писал, вспоминая об этом, Аросев.

Александр оказался отличным организатором. Он наладил четкую работу «Военки». Члены ее стали чаще навещаться в казармы, установили ежедневный прием посетителей. Сам Аросев писал много статей и заметок в газету «Деревенская правда», которая была создана в октябре.

Сентябрьские выборы в московские Советы и районные думы принесли победу большевикам. Можно было восстановить лозунг «Вся власть Советам!». За все усиливающейся агитационной работой большевиков подошел октябрь.

10 октября в Питере собрался ЦК РСДРП(б), и Ленин, нелегально вернувшийся в столицу, в который раз сделал анализ «текущего момента». А «момент» опять изменился. В Германии восстали матросы военного флота. В Европе назревала революция. В России доверие народных масс все явственнее прилиvalo к партии большевиков. Правительство Керенского, чувствуя это, готовило свои контрмеры. Оно вывело из Петрограда «ненадежные» войска, стянув туда «надежных» казаков, и похоже было, что Керенский предпочитает даже сдать столицу немцам... Ленин, охватывая все это своей проницательной мыслью, поставил на очередь дня практическую подготовку вооруженного восстания. Центральный Комитет, вопреки возражениям Каменева и Зиновьева, предлагал в резолюции всем партийным организациям руководствоваться уже этим положением.

16 октября ЦК созвал расширенное заседание с Петербургским комитетом РСДРП(б), с представителями большевистской фракции Петросовета, профсоюзов, фабрично-заводских комитетов, железнодорожников, москвичей — и конечно же Военной организации при ЦК РСДРП(б). И это столь представительное заседание всецело поддержало резолюцию ЦК от 10 октября и избрало Партийный центр по руководству восстанием.

А двумя днями позже в меньшевистской газете «Новая жизнь» появилось заявление Зиновьева и Каменева о готовящемся восстании... Два члена ЦК выдали секрет-

ные решения! Ленин был вне себя от негодования. Это была измена, штрейкбрехерство, безмерная подлость! Владимир Ильич потребовал исключения Каменева и Зиновьева из партии.

Однако этот эпизод не изменил твердого решения большевиков готовить вооруженное восстание.

Не дремали и в Москве. Выполняя решение ЦК, Военное бюро при Московском комитете 22 октября созвало конференцию военных организаций Москвы и округа, а на следующий день Московский комитет совещался с представителями районов и воинских частей. Оба собрания показали, что большинство и рабочих, и солдат — за немедленный переход власти к Советам.

Урожай созрел.

Глава восьмая

Петербург строили — Москва росла.

Росла, собирая вокруг себя земли русские. Пылала от татарских нашествий; лежала, поруганная, растоптанная, обезлюдившая в страшное Смутное время; и это она пожарами встретила Наполеона... Есть что-то поразительное в свойстве этого города всякий раз подниматься еще более сильным. Какое другое человеческое поселение не погибло бы после таких испытаний — а Москва стоит. Она бессмертна, как бессмертно материнство. То-то и называл ее народ: матушка белокаменная. Москву иначе и не назовешь, только так: Москва! Не с чем ее сравнивать, не по чему мерять; она — сама по себе, самовита...

Петроград — мозг, Москва — сердце России.

Долгое время слабо билось это сердце. С Петром отхлынуло от Москвы к новой столице все знатное, все могущественное. Захирела Большая Деревня, пригорюнилась. Чем могла она похвастать перед блестящим Петербургом? Сорока сороками церквей, тихими помещичьими особняками, ярмаркой невест? Или купцами, безобразничавшими в «Яре»?

Но незаметно, исподволь прилиwała к древней столице новая кровь. Приходили черные, хмурые люди — мужики, освобожденные от крепости, а заодно и от земли, ремесленники, разночинцы. Силой рук своих, здоровьем, жизнью своей питали разрастающиеся, как грибы после

дождя, заводы и фабрики. И ни сами они, ни кто другой не знали еще, что ими заново невиданно возродится былое величие Москвы.

Время катилось. И докатилось до Октября семнадцатого.

Восемь дней — исчезающе малый срок в истории народов. Но восемь дней московских боев в семнадцатом — сами целая история. Вместились в них колебания, выживание, разногласия; перемирие, ультиматум, обман, предательство, кровопролитные сражения; отвага и отчаяние, растерянность и находчивость, трусость и героизм...

24 октября поползли по Москве слухи: в Петрограде что-то происходит.

Утром 25-го Московский комитет большевиков собрался в гостинице «Дрезден», что на Скобелевской площади, чтобы выбрать и свой Боевой партийный центр, по примеру петроградского. Подхлестывали и события в Калуге, где правительственные войска разгромили Совет. Смысл этой акции был ясен: Керенский переходит в наступление, а стратегическое положение Калуги весьма выгодно — и от Западного фронта недалеко, и от Москвы близко.

Но в то же утро, когда московские большевики создавали свой боевой центр, дежурный радист одного из московских полков принял сообщение из Петрограда:

«Всем армейским комитетам действующей армии. Всем Советам солдатских депутатов!

Петроградский гарнизон и пролетариат низверг правительство Керенского, восставшее против революции и народа. Переворот, упразднивший Временное правительство, прошел бескровно.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов торжественно приветствовал совершившийся переворот и признал, впредь до создания правительства Советов, власть Военно-революционного комитета...»

То же самое подтвердила и телеграмма Ногина, который, как председатель Моссовета, уехал в Петроград на II Всероссийский съезд Советов.

Свершилось!

Теперь дело за Москвой! Ибо без нее, как сказал Ленин, не может победить революция. И в Москве властью должен стать на время орган Советов — Военно-революционный комитет.

Но Боевой партийный центр большевиков не стал дожидаться, пока Совет сформирует ВРК. Не теряя вре-

мени, он сразу принял срочные меры. Условной телеграммой оповестил о начале восстания все промышленные центры области; разослал членов Военного бюро по казармам — агитировать солдат, чтобы те не подчинялись никому, кроме Советов; распорядился перевести на боевое положение все отряды Красной гвардии.

Центральный штаб Красной гвардии был создан в Москве еще в мае. Вошли в него большевики — профессор Павел Штернберг, Алексей Ведерников, Ян Пече... К октябрю Красная гвардия Москвы насчитывала уже до 20 тысяч бойцов.

В полдень 25-го Партийный центр приказал занять почту, телеграф, телефон. С этой задачей в Покровские казармы, к солдатам 56-го полка, отправились двое: Аросев с Ведерниковым. У входа в казарму один офицер, секретарь полкового комитета — явный эсер — попытался преградить им путь.

— Какой, в сущности, орган вы представляете? — хотел он знать.

Ведерников, нимало не раздумывая, ответил прямо:

— Военно-революционный комитет большевиков! Этого вам достаточно?

— Не знаю такого!

— Узнаете. Не далее как сегодня он будет утвержден Советами.

— Ах, будет! То ли будет, то ли нет. А пока...

— А пока мы будем делать дело.

Зато солдаты сразу поняли, что требуется. Только один спросил для верности:

— С оружием выходить-то?

— А вы как полагаете? — улыбнулся Аросев.

— Понятно! Вот это дело!

— Разбирай, братцы, винтовки!

— Пошли, чего там!

И, прижав к стене негодующего секретаря полкового комитета, хлынула серошинельная масса за двумя большевиками.

И со всех концов Москвы двинулись к центру колонны солдат, красногвардейцев. Люди не спрашивали, куда идти, как нечто само собой разумеющееся, выбрали они единственно точный адрес: Скобелевская площадь, дом бывшего генерал-губернатора, в котором размещались оба Совета.

А оба Совета в полном составе заседали тем временем в Политехническом музее. Там шли страстные споры —

что надо, чего не надо делать, как реагировать на питерские события... Большевик Ангарский, очевидец тех дней, очень метко охарактеризовал позднее обстановку:

«Меньшевики критиковали, пугали, увещевали, вели переговоры с Комитетом общественной безопасности, представители Исполкома железнодорожного Союза топтались в хвосте меньшевиков и еще более увеличивали неразбериху и мешали ВРК взять твердую линию...»

Наконец поздним вечером 25-го после жарких споров приняли резолюцию:

«Московские Советы рабочих и солдатских депутатов выбирают на сегодняшнем заседании Революционный комитет из семи лиц... Избранный Ревком начинает действовать немедленно, ставя себе задачей оказывать всемерную поддержку Революционному комитету Петроградских Советов рабочих и солдатских депутатов...»

За резолюцию голосовало 394 депутата, против — 106, воздержались 23. Эсеры вообще отказались голосовать, а потому и не вошли в ВРК, зато вошли в него два меньшевика и один объединенец.

— Довольно туманно определена задача, — сердился Аросев, выходя вместе с Тихомировым из душного зала в сырую осеннюю ночь. — Что значит «поддержка питерскому Ревкому»? Толкуй, как хочешь!

— Вот мы и истолкуем! — усмехнулся Виктор. — По-ленински.

— Меньшевики и вошли-то в ВРК, чтоб ставить нам палки в колеса. Они этого даже и не скрывают!

— Не дадим, — уверенно возразил Виктор. — Ты не на них смотри — ты посмотри, что на улицах делается!

С Мясницкой, со Сретенки, по Лубянке шли колонны. В темноте сливались отдельные фигуры, казалось, густая вязкая масса затопила улицы и медленно стекает вниз, к Театральной, а потом, как бы выпираемая снизу, всплывает на Тверскую...

— Кто может противостоять этому?! — воскликнул Тихомиров. — Кто мешает — сами уберутся!

И действительно, оба меньшевика, недовольные тем, что ни одно их предложение не было принято, вскоре демонстративно вышли из ВРК. Объединенец вообще не появлялся. На их место кооптировали большевиков, так что Московский ВРК выкристаллизовался как чисто большевистский орган Советов.

И немедленно начал действовать. Еще тем же 25 октября датировано назначение комиссарами Кремля и

кремлевского Арсенала большевиков Ярославского и Берзина. Начальнику Арсенала полковнику Лазареву было предписано отпускать оружие по мандатам ВРК. Но, кажется, только Красная гвардия Пресни успела получить тысячу винтовок с патронами к ним. С утра 26-го начал действовать и сидевший в Кремле командующий МВО полковник Рябцев. Он стянул к Манежу отряды юнкеров, и те не выпустили из Кремля грузовики с оружием...

Командование Московского военного округа вообще проявило немалую предусмотрительность. В течение всего лета и осени оно постепенно, исподволь разоружало Московский гарнизон, передавая винтовки и пулеметы юнкерским и кадетским училищам, а то и домовым комитетами — конечно, тех домов, где жила публика побогаче.

Положение сложилось своеобразное. На сторону революции, помимо отрядов Красной гвардии, разогитированная большевиками, перешла практически вся солдатская масса полков, стоявших в Москве. А вот оружия не хватало, не хватало отчаянно. Так же как не хватало и командиров — почти все офицеры избрали противную сторону баррикад; и эти немногочисленные силы (юнкера, кадеты и добровольцы из богатых семей) были отлично вооружены и владели военной наукой. Казаки и Викжель объявили нейтралитет.

Всего этого следовало ожидать. В Москве буржуазия располагала большими не только военными, но и финансовыми средствами. В Москве ее позиции были куда прочнее, чем в Петрограде. 26 октября она тоже создала свой «боевой орган» — Комитет общественной безопасности. Городская дума, штаб МВО, уездное земство, эсеровская часть Совета солдатских депутатов, даже официальные представители партий эсеров и меньшевиков — все объединились против Совета рабочих депутатов и его ВРК! Против большевиков. Крупные промышленники предоставили этому комитету большие деньги.

И все-таки уже 26 октября город был фактически в руках МВРК. Его отряды успели захватить все вокзалы, мосты, Государственный банк, почту, телеграф, милицеские комиссариаты. Лишь в нескольких точках, подобно нарывам на здоровом теле, сосредоточились силы контрреволюции, это были: штаб МВО на Пречистенке (ныне улица Кропоткина), городская дума на Воскресенской (Революции) площади, Александровское юнкерское училище на Арбатской площади, Алексеевское в Лефорто-

во... Рябцев сидел в Кремле, но там же находились революционные солдаты 56-го и 193-го полков, зато же и сам Кремль осаждали юнкера. Казалось, еще одно усилие — и победа наша!

С того часа, как телеграмма Ногина подтвердила взятие власти в Питере, Александр испытывал непрекращающийся подъем сил. Мысль работала ясно, как никогда. Какое-то внутреннее ликование овладело им. Все чувства, какие может переживать человек в гуще ожесточенной борьбы, когда до желанной цели рукой подать, как бы накладывались на основной, на главенствующий фон. Нет, они не теряли остроты, эти чувства, но и не заслоняли главного — глубоко в душе угнездившегося ликования, торжества, подмывающей радости.

Да вот же оно, то самое, к чему стремились так долго! И это мы, такие обыкновенные, такие простые, делаем это великое. Ведь это мы физически деремся за социализм! А он — во всем, в блеске штыков, в самом этом сыром осеннем воздухе, в этих потоках людских масс.

Быть может, то было ощущение высшего счастья. Во всяком случае, ни до этого, ни когда-либо после ничего подобного Александр не испытывал.

А ведь были тягостные моменты неуверенности, горечи, были потери. И споры, споры, да какие! Даже среди большевиков. Ситуация менялась чуть ли не ежечасно — откуда было знать им, как поступить при таких обстоятельствах или при этаких? Делали-то ведь неслыханное, шли по неизведанному, мерить было не по чему. Боязнь ошибиться порождала ошибки. И первой, главной ошибкой было колебание, промедление...

— Но это же кунктаторство *! — не выдержал, сорвался Аросев, когда МВРК обсуждал предложение Ногина согласиться на переговоры с Комитетом общественной безопасности. — Какие, к черту, переговоры, когда мы, в сущности, уже победили? Теперь только еще рывок!

— Давайте голосовать, — тронув пенсне, вмешался Ярославский. — Нас тут сейчас четырнадцать человек, практически весь МВРК и Партцентр, а также председатель Моссовета. Кто за переговоры? Два... четыре... девять. Против? Пятеро. Вот и решено!

* От имени римского полководца Фабия (275—203 г. до н. э.), прозванного Кунктатором (т. е. Медлителем) за его нерешительные действия против войск Ганнибала.

— Послушайте, нельзя же судьбу революции ставить в зависимость от нерешительности девяти человек!

— Да чего спорить? Голосовали ведь, значит, точка,— с досадой сказал Усневич.— Ладно, попробуем дипломатию. Надо только предупредить районы, чтоб подождали действовать. Ох, не понравится им это...

— Для начала на переговоры пускай едут Ярославский как представитель Партцентра и комиссар Кремля, а от МВРК Аросев с Мураловым — самые решительные,— иронично добавил Ногин.— А там посмотрим.

По дороге к Кутафьей башне пришлось пробиваться через толпу юнкеров у Манежа. При появлении большевиков те подняли вой — свистки, улюлюканье, оскорбления. Кое-кто уже целился из револьверов.

«А ей-богу, убьют!» — мелькнула мысль у Александра. Страху не было — под влиянием основного ликующего чувства он испытывал только какой-то мальчишеский задор. И еще подумал: «Смерть как собака, ей нельзя показывать, что боишься!» И двинулся прямо на револьверные дула. Юнкера попятились...

С самого начала Александр убедился в правоте своей и остальной четверки, голосовавшей против переговоров. Полковник Рябцев, как и председатель городской думы Руднев, был эсером, следовательно, сторонником Временного правительства. Рябцев явно хотел затяжки. Да, он согласен подчиниться Советам, но только если их платформу подпишут все входящие в них партии,— он прекрасно знал, что этого не будет никогда. Да, он отзовет юнкеров от Кремля, но только если ВРК уберет из Кремля свои воинские части.

Не договорившись ни до чего, большевики вернулись к себе, в комнатушку на первом этаже генерал-губернаторского дома.

На старом кожаном диване — видно, давно когда-то перетаскивали его сюда из парадных покоев за ненадобностью — сидел, удобно развалясь, Розенгольц. Удивительный человек: никуда вроде не спешит, ничто вроде его не волнует, а всегда все успевает. Секретарь Моссовета, он сразу предоставил себя и свой аппарат в распоряжение ВРК и сумел отлично наладить всю организационную часть работы.

Не изменяя безмятежной позы, Розенгольц передал Аросеву пачку записок — вырванных из ученических тет-

радей, нацарапанных на обороте листовок, на обрывках газет. Почерки разные, но все кричали об одном:

«Прозба Совету Р. и С. д. Товарищи, прошу я вас пришлите пожалуста нам на электрическую станцию пяддесят винтовок или берданок. Начальник отряда Матрос Гальцев».

«Пришлите хоть пять винтовок! Начальник отряда Красной гвардии Варшавского арматурного завода Шагин».

«Остро нуждаемся в наганных патронах! ВРК Городского района...»

«Исполнительный комитет Московских латышских объединенных секций просит 25 винтовок...»

«Даниловской мануфактуре необходимо получить 30 винтовок...»

«4-й Отдельный артдивизион просит 15 ящиков ручных гранат и 25 трехлинеек...»

Рабочие завода Добровых и Набгольца...

Даниловский райсовет...

Штаб ВРК Бутырского подрайона...

Лефортово...

Будто толпа ворвалась в тесную комнатуху, выкрикивая одно настоятельнейшее требование: не хлеба, не зрелищ, не работы — оружия!

Винтовок! Винтовок! Патронов!

Александр машинально поднял руки к ушам — так живо гремели в сознании голоса безоружных.

— Где доставать будем? — хмуро бросил в пространство Муралов.

— А может, оно и не понадобится, — проворчал Ярославский.

— Вы все еще надеетесь на соглашение с Рябцевым и Рудневым? Это после сегодняшних-то переговоров?! — вскричал Аросев.

— А что? По-моему, толк есть: мы отводим из Кремля роту 193-го полка, они убирают юнкеров.

— И вы этому верите? Разве не ясно, что Рябцев просто тянет время?

— А зачем ему это нужно?

— Значит, нужно! И мы ему помогаем...

— Время работает на нас, — успокаивающе произнес Смидович. — Наши силы возрастают с каждым часом.

— Сегодня Рябцев еще разговаривает с нами, завтра — увидите! — перейдет в наступление. Именно потому, что время работает на нас, — возразил Усиевич.

— И это будет, в сущности, мятежом против уже установленной власти Советов,— подхватил Аросев.

Следующий день полностью подтвердил наихудшие опасения. МВРК свое обещание исполнил — вывел из Кремля роту 193-го полка. Но Рябцев — хотя не раз еще ездили к нему на переговоры, в том числе и Усиевич, и председатель Моссовета Ногин — не только не думал отводить юнкеров от Кремля, но, напротив, усилил их и еще послал отряды отбивать то, что было накануне захвачено силами ВРК: почту, телеграф, мосты. А когда это было сделано, уже к вечеру, он предъявил ВРК наглый ультиматум: самораспуститься, вернуть все оружие в Арсенал — и на ответ давал 15 минут...

«Тут публика, что называется, начала говорить невесть что. Начали голосовать, высказываться, как бывает у русских, стали просить слово к порядку, обсуждать, сколько продолжать прения — пять или десять минут», — напишет впоследствии Аросев; после победы он мог себе позволить и несколько юмористический взгляд на прошлое. Чувство юмора прекрасно предохраняет от опасности впасть в высокопарность.

Но тогда, пресекая ненужную говорильню, встал Иван Иванович Скворцов-Степанов:

— Кто боится смерти, пусть покинет это здание!

Эти простые слова образумили спорщиков. Наглый ультиматум дружно отвергли. Ни у кого уже не могло больше оставаться никаких иллюзий относительно намерений Рябцева. Правда, тогда еще не было известно, что Рябцев и Руднев шлют в Ставку, главнокомандующему Духонину, телеграмму за телеграммой, требуя присылки с фронта в Москву надежных воинских частей. Лишь после победы революции, когда Аросев попал в здание МВО, он нашел в столе помощника Рябцева — меньшевика поручика Ровного телеграфные ленты переговоров со Ставкой.

Но хоть и не знали в МВРК ничего конкретного на сей счет, нетрудно было догадаться, что Рябцев не будет сидеть сложа руки, а попытается собрать максимальные силы для наступления. Поэтому Аросев, получивший мандат начальника штаба МВРК, отдал приказ привести к Моссовету ту часть двинцев — около трехсот человек, — которая находилась в госпитале на Озерковской набережной, что в Замоскворечье. И разослал телеграммы в города Московской области с требованием подкреплений.

Команду двинцев возглавил большевик Сапунов. Им предстояло пересечь Красную площадь, и тут их встретили юнкера, открывшие огонь. Первым же выстрелом был смертельно ранен Сапунов. Завязалась кровопролитная схватка — пожалуй, первая в настороженно-выжидающей Москве. И зачинщиками ее были юнкера!

К Моссовету пробились сотни две с половиной двинцев.

На другой день, 28 октября, Рябцев сделал следующий шаг. Он позвонил по телефону комиссару кремлевского Арсенала Берзину и заявил ему, что МВРК арестован, город в его, Рябцева, руках, и предложил во избежание ненужного кровопролития сложить оружие и открыть для юнкеров ворота Кремля. Комиссар Кремля, Емельян Ярославский, в тот день отсутствовал. Берзин, большевик молодой, неопытный революционер, долго колебался. Но не мог он заподозрить командующего округом в столь примитивной и наглой лжи! И он приказал солдатам 56-го полка открыть ворота.

Юнкера без выстрела заняли Кремль. Приказали 56-му полку построиться, бросить оружие. А в проулке между Арсеналом и противоположным зданием уже стояли пулеметы... Вот тут-то, по безоружным, и открыли огонь юнкера!

Выстрелы в Арсенале громом прокатились по Москве. Вне себя от гнева, поднялись заводы. Была объявлена всеобщая забастовка. Ожесточились уличные бои.

В Москву, к штабу МВРК, подтягивались отряды из области. Из Старицы прибыли 300 солдат 5-го запасного саперного полка — их вел тверской большевик Баклаев. Подоспели и отряды из самой Твери. Явился в МВРК прапорщик Реутов — один из немногих офицеров, оставшихся верными своим солдатам. Он вошел, скромный, подтянутый, доложил по-военному:

— Прибыл в ваше распоряжение с полком из Подольска. Прошу направить туда, где труднее всего!

Аросев послал его к Никитским воротам — там с боем прорывались к центру отряды с Красной Пресни. Там дрались за каждый дом, каждый двор.

Товарищи с завода АМО прислали несколько санитарных машин. Их привела молодой врач Раиса Азарх. У Аросева моментально сверкнула идея: вот и разведка! Санитарные машины могут разъезжать где угодно — Красный Крест. Пускай оказывают помощь раненым обеих сторон, заодно смогут точно выяснить расположение

сил. Ведь четкой, определенной линии фронта не существовало, позиции менялись что ни час. Слоеный пирог! Александру невольно вспомнился октябрь 1905 года в Казани... Да, ровно двенадцать лет тому назад! Там было нечто похожее: самый центр у противника, но в центре несколько точек наших — учительская семинария, пасаж, университет, а по окраинам рабочие отряды. И тут, Кремль у юнкеров, районы наши, а в центре чересполосица: к примеру, на Тверском бульваре, в доме градоначальника, — юнкера, а по соседству Скобелевская площадь с «Дрезденом» и домом генерал-губернатора — у нас.

Через несколько часов после того, как к Никитским воротам ушел Подольский полк с прапорщиком Реутовым, Аросев узнал о гибели этого славного молодого человека. Пала смертью храбрых замечательная девушка Люсик Лисинова. Погиб в бою командир рабочих Замошворечья Петр Добрынин. Пуля сразила четырнадцатилетнего добровольца Павлика Андреева. Потери, потери... Каждая смерть болью отзывалась в душе, усиливая гнев и желание подавить, скорее подавить врага.

И где-то там, в этом гибельном огне, поднимает, ободряет, ведет рабочие отряды Виктор, самый близкий друг.

Были и радости. Разведчики Сокольнического ВРК обнаружили на запасных путях Казанского вокзала вагоны... с винтовками! Сорок тысяч винтовок!

Симоновцы захватили пороховые склады!

Революция уже не была безоружной.

Аросев приказал выдавать оружие строго по мандатам МВРК. А то уже стали являться за винтовочками неизвестные люди, возможно, из стана противника.

Пытаясь охватить разумом все, что вершилось вокруг, Александр представлял себе такой образ: бурлит крутой водоворот в сердцевине Москвы, втягивая в воронку все ближнее и дальнее; подчиняясь этой центростремительной силе, рвутся к нам рабочие районы с периферии города; но и за пределами Москвы — это становилось все яснее из поступающих сведений — такое же центростремительное движение; из подмосковных городов спешат отряды Красной гвардии, но спешат и воинские части с фронта: Духонин «уважил» настоятельные просьбы Рябцева. Програв в Питере, буржуазия надеялась отыграть в Москве...

Впрочем, большинство этих частей не дошло: путь им преградили рабочие Смоленска, Вязьмы, Можайска.

Как, бывало, защищали эти города родную землю от иноземных захватчиков, так теперь грудью встали они на защиту революции!

Далеко не все об этом было известно штабу восстания. Да и не до того было. Юнкера прорвались с тыла к самому Моссовету! Раздавались уже голоса о необходимости немедленно эвакуироваться — например, в Сухаревскую башню или в Замоскворечье, один из самых надежных оплотов восстания. Здесь крепки были рабочие отряды, решительно действовал штаб Красной гвардии во главе с профессором Штернбергом. Здесь работали большевики Волин, братья Косиоры. Здесь трамвайщики придумали нечто вроде бронепоездов: завалив стенки трамвайных вагонов мешками с песком, проносились по городу, стреляя из винтовок и пулеметов под прикрытием этих мешков.

Аросев, поддержанный некоторыми товарищами, энергично воспротивился идее полной эвакуации.

— Хорошо! Пускай уезжает, кто хочет, а штаб не имеет права бежать. Мы не просто штаб, штаб — это знамя! Оно не должно пасть!

На тех же санитарных машинах часть МВРК переехала в Замоскворечье. В доме генерал-губернатора остались Аросев, Ведерников, Муралов, Саблин, Тихомирнов, Усевич. Кое-кто из женщин — Темкина, Орлова, Виноградская — тоже отказались покинуть осажденный Моссовет.

А юнкера проникли уже во двор генерал-губернаторского дома...

Александр выбежал в нижний зал, где находилась охрана, отдыхали солдаты и красногвардейцы, выведенные из боя на короткую передышку, куда приводили пленных, приносили раненых.

— Кто может — за мной, на защиту Моссовета! — крикнул он и первым кинулся во двор. Словно вернулись времена мальчишеских драк. Тот же боевой задор, та же веселая ярость несли его. За ним с криками «Ура!» хлынули солдаты.

Завязалась рукопашная.

Лица, лица, разинутые оружие рты, бешеные глаза, сплетение рук, крики, хлопки редких выстрелов — стрелять в такой каше несподручно, — вопли, хрипы, ругань...

Кто-то наваливается на Александра, тот отпихивает его, рвется вперед, рукояткой уже разряженного револьвера лупит кого-то по голове, спотыкается, падает, а па-

дать нельзя, затопчут, он упирается рукой в то, обо что споткнулся,— раненый? убитый? — только не задерживаться, вперед, бей их, вон полезли на ограду двора, вон уже выбегают через подворотню, в Чернышевский переулок, а там же наши, наши...

Отбили.

Аросев без шапки, потный, растерзанный, но веселый вернулся в комнатуху ВРК, чтобы снова сидеть у телефона, направлять движение отрядов, принимать донесения, писать приказы.

— Э, да у тебя кровь! — заметила Полина Виноградская, показывая на голову Александра. — Ты ранен?

— Где кровь? — Александр стер около уха то, что казалось ему простой струйкой горячего пота. Но это была кровь. — А, пустяки, я и не заметил.

— Наверное, зацепило пулей, кожу содрало.

— Заживет, как на собаке. — Он приложил к ране платок. — А вот мой новенький головной убор — тютю! И рука ноет, — поработали, как на молотбе...

В разгар боевой страды — вдруг — звонок Ногина: Рябцев предлагает перемирие. Этого ультимативно потребовал Викжель.

— О, господи! — У Александра затосковала душа. Такое неудовлетворенное чувство, словно тебя остановили на бегу. Тело еще стремится вперед, в нем еще живет движение, задержка неорганична, вызывает протест во всех мышцах...

И опять спорили, опять кипятился Аросев, убеждая товарищей, что это очередная хитрость Рябцева, что он явно хочет выиграть время, давно ждет подкреплений. И опять сторонники перемирия одержали верх. Впрочем, может быть, и впрямь нашим тоже нужна передышка...

Огромное значение Октябрьской революции заключается в том, что она сохранила суверенность нашего государства. Если бы власть осталась за буржуазией, если бы укрепились у нас буржуазные порядки, расхватили бы Россию по сферам влияния более сильные хищники, для приличия именующие себя ее союзниками; растащили бы по концессиям, по иностранным банкам с английским, французским, а вероятнее всего — американским капиталом. Это подтверждает весь опыт последовавшей интервенции четырнадцати государств, накинувшихся, как бан-

диты на раненого человека, на изможденную, разрушенную, разграбленную Россию. Какое невероятное счастье, что был у нас Ленин, были большевики, сумевшие поднять миллионы людей на нечеловеческий, жертвенный, спасительный подвиг!

Мы ходим по улицам Москвы, пользуемся плодами великого героизма тех простых, тех безвестных людей — и воспринимаем это как должное, уверенные, что иначе и быть не могло.

Ох, могло!

Улицы, конечно, изменились. Булыжник заменил асфальт, снесены старые дома, возведены огромные новые кварталы: Москва ныне совсем другой город. Даже старые названия исчезли. Быть может, потому и кажется ныне живущим, что все происходило где-то на другой планете, что ли... Только старики помнят еще, что улица Герцена называлась Большой Никитской, улица Воровского — Поварской, улица Фрунзе — Знаменкой, улица Кропоткина — Пречистенкой. Хоть словарь составляй, чтоб понятно было: да нет, не на другой планете, а тут вот, где ты проходишь, где учишься, работаешь, живешь, — именно тут-то все и было!

По этим улицам и переулкам, переименованным, а посему утратившим связь с прошлым, проходила тогда воображаемая линия перемирия. Перемирие... Когда до победы — один шаг!

За четыре дня вряд ли кому из молодых в большинстве своем людей, составлявших руководство восстанием в Москве, удалось поспать более двух-трех часов кряду. И все же они были недовольны передышкой. Их молодость, их разум восставали против промедления.

Но усталость взяла свое.

Александр едва успел расстелить на полу шинель — и провалился в сон, как в омут. Но что-то все время мешало, что-то беспокоило из-под тяжело навалившегося сна, заставляло сделать невероятное усилие — проснуться. И проснулся, только глаза не открыл. Под закрытыми веками еще туманился сон, а мозг уже старался выплыть из омута, ухватиться за что-то... За что? Мысль, мысль, но какая? Что меня тревожит? Ах да, перемирие. Рябцев.

Рябцев! Перемирие — ловушка!

Очнувшись окончательно, рывком сел на полу, скрестив ноги по-татарски. В комнатухе штаба — как в сказоч-

ном замке Спящей царевны. Рядом на полу, уткнувшись своим круглым, детским лицом в сгиб локтя, тихо спит Гриша Усиевич — даже очки не снял. На диване, привалившись к валикам, склоняясь в разные стороны, дремлют сидя Виноградская и Темкина. Между ними, положив голову на стол, похрапывает Николай Муралов.

— Подъем! — закричал Аросев.

Все зашевелились, протирая красные от бессонных почей глаза. Полина глянула на свои часики-медальон:

— Что вы, Саша, мы спали не больше получаса.

— Кто знает, какую пакость выдумал за эти полчаса Рябцев! Николай, есть наши у Брянского вокзала?

— Должны быть... — поднял тяжелую голову Муралов.

А на Брянском вокзале в это время высадилась рота ударников и, захватив Дорогомиловский мост, пробивалась к центру. Но эти полтора человека были единственными, кто добрался до Кремля на помощь Рябцеву. Остальные части, подтянутые с фронта, успели разагитировать большевики, посланные МВРК.

Прорывом ударников перемирие было нарушено, и нарушил его противник — сам же и просивший о перемирии! Как всякая контрреволюция, и эта, московская, пускалась на самые низкие средства борьбы — на обман, предательство, подлость...

Поздним вечером 30 октября МВРК разослал приказ: перемирие сорвано не нами, в бой, товарищи, никакой пощады врагу!

Бои возобновились с новой яростью.

А в Питере Ленин напутствовал моряков Кронштадта, отправлявшихся на подмогу Москве:

«Не забывайте, товарищи, что Москва — сердце России! И это сердце должно быть советским, иначе революцию не спасти...»

Если Москва — сердце России, то сердце Москвы — Кремль. За его стены, под покров святынь забились те, кого уже отвергла история. В надежде уже не спастись, но хотя бы отдалить час своей гибели.

Борение за Москву становилось борением за Кремль.

Ах, то была тяжкая операция — извлекать из сердца инородное тело! Многие спасовали перед хирургическим вмешательством, боясь повредить само сердце, — на это и рассчитывали засевшие в Кремле. Но операция была неотвратима...

На этот раз Аросев не участвовал в яростном споре: как овладеть Кремлем? Он думал, слушая, как сталкивались разные мнения его товарищей. И казалось ему — то не слова летают в воздухе, то сшибаются на лету снежки, снежки — такими ненужными, не главными, не решающими казались ему теперь всякие слова. Что-то случилось с ним, с Александром, что-то такое, в чем он сам себе не отдавал отчета. Повзрослел, что ли?

Ясно одно: пока не возьмем Кремль, не будет победы. Как его взять? Штурмом? Александр успел усвоить за полгода в школе прапорщиков, что атаке должна предшествовать артиллерийская подготовка. Значит, обстреливать из орудий Кремль?

Кремль?!

В руках он комкал очередную «ругательную» записку Штернберга — тот резко бранил МВРК за нерешительность. Действительно, надо кончать — дело и так затянулось на целую неделю. Стыдно перед Питером, перед Лениным!

В то, что артиллерия разрушит памятники старины, Аросев не верил. Он чувствовал — достаточно нескольких залпов, и Рябцев сдастся.

Как хорошо, что с самого начала солдаты артиллерийских дивизионов, рабочие мастерских тяжелой артиллерии, отправляясь на восстание, «прихватили» с собой пушки. Часть их обстреливает сейчас Алексеевское училище; несколько пушек под командованием Чиненова бьют по «Метрополю», настает черед и батареи на Воробьевых горах. Оттуда Кремль как на ладони. Солдаты там поди уже матерятся из-за того, что их держат в бездействии...

До слуха глубоко задумавшегося Александра вдруг долетел чей-то уже охрипший от спора и от бессонницы голос:

— Мы отвечаем перед историей. Бить по Кремлю — вандализм, и я не представляю себе, кто возьмет на себя такую ответственность!

Александр встал:

— Ладно. Я возьму.

Все разом замолчали, пораженные сухим, спокойно-решительным, отрешенным каким-то тоном обычно горячего Аросева.

Он подошел к столу, быстро настрочил приказ батарее на Воробьевых горах.

— И не отговаривайте. Это необходимо.

Маленькая бумажка поставила точку.

Грохнули орудия на Воробьевке, с астрономической точностью наведенные Штернбергом. Провизжали над рекой снаряды. В Кремле взметнулись облака пыли, с криками взмыли над куполами соборов потревоженные галки.

Александр правильно рассчитал: многого не понадобилось. После нескольких выстрелов Рябцев капитулировал. Обтекая Кремль с двух сторон, входили в его ворота победители.

Назначенная через несколько дней специальная комиссия установила минимальные повреждения в Кремле. Сердце Москвы было лишь поцарапано.

Глава девятая

3 ноября 1917 года Муралов и Аросев сели в раздрызганный автомобиль и поехали на Пречистенку, в штаб МВО. Муралов, по мандату МВРК, — как новый командующий округом, Аросев — как его заместитель по политической части и по контрразведке.

Александр ехал и думал: нет таких слов в человеческом языке, чтобы передать чувства, обуревавшие его в этот час торжества. Не личного — торжества революции, желанной, долгожданной, за которую так страстно боролись самые прекрасные, самые благородные люди. И жаркая любовь к этим самоотверженным борцам наполняла его душу.

— Как это ты сказал однажды? — нарушил его задумчивость Муралов. — Единственная наша привилегия — брать на себя самое трудное? Так вот, брат: самое трудное-то еще впереди...

И действительно. «Молодая власть, состоящая из вчерашних повстанцев, первые дни буквально была задавлена просителями и искателями... Трудно было сразу перейти к перу (от винтовки), подписывать разрешения, удостоверения, распоряжения...» — вспоминал потом Аросев. Еще не были разграничены, очерчены функции разных советских учреждений, приходилось заниматься самыми невероятными делами. Однажды к Аросеву явилась пожилая пара, рабочий с женой — разводиться по причине несходства политических взглядов. А то пришел

какой-то весьма потрепанный тип, и после его путаных объяснений Александр понял, что это просто бывший осведомитель охраны, предлагающий теперь свои услуги новой власти. Аросев выставил его за дверь и занялся неотложными делами. Различные солдатские комитеты требовали хлеба, сапог, а главное — докладов, докладов, преимущественно о «текущем моменте»!

Текущий же момент был весьма серьезным.

Революции достались в наследство голод, разруха — в стране, кажется, камня на камне не сохранилось. Неоконченная война, разваливающийся фронт, саботаж чиновников, пустые продовольственные склады. Вылез из своих щелей и уголовный мир: грабежи, убийства... Даже патриаршую ризницу ограбили!

Приходилось овладевать опытом управления на ходу, ошибаясь, путаясь, терзаясь мыслями о необходимости действовать решительно — и сознанием неизведанности пути.

На этом страшном фоне было одно спасение: мир! Мир, декларированный в первый же день революции. Правительство Советов без промедления обратилось ко всем воюющим сторонам с призывом прекратить бойню. Союзники — Англия и Франция — даже не ответили. Мир им был невыгоден! Капиталистам нужны кровавые прибыли. Тогда заключили перемирие с противником — с немцами. Начали переговоры о сепаратном мире.

Перед Московским военным округом стояли задачи: не допустить стихийной демобилизации армии, пересчитать и сберечь военное имущество, а главное — формировать отряды для борьбы с контрреволюцией. По наивности своей, в порыве великодушия, после московских боев отпустили пленных под честное слово, что не выступят против нас с оружием в руках. «Слово» контрреволюционеров! Слово-то дали — и тотчас махнули на юг, ко всем этим калединым, красновым, корниловым, поднимавшим мятежи на Дону и на Украине. Опять та же суть: благородство революции — и низость ее противников. Так было, и так будет впредь!

Но нужно было еще помогать установлению Советской власти в других городах. И снова мы видим Аросева и других большевиков то в Нижнем Новгороде, то в Калуге, то в Туле, то в Казани — выступающими с горячими речами, с докладами, формирующими Советы и отряды Красной гвардии... 12 ноября Александр приехал в «свою» Тверь и на совместном заседании рабочих и сол-

датских депутатов говорил об организации Советской власти. Тверяки выбрали его тогда делегатом на Учредительное собрание, а работницы Морозовской фабрики преподнесли ему алую кумачовую ленту с вышитой надписью: «Дорогому товарищу Аросеву от работниц Твери». Эту ленту да еще разбитое пенсне своей матери Александр хранил всю жизнь, как самое драгоценное.

14 ноября Ленин подписал приказ об увольнении из штаба МВО генералов и старших офицеров и о замене их солдатами и офицерами большевиками. Эта сложная работа по отстранению одних и подбору других была возложена на Аросева. Он занялся этим с глубоким интересом, считая, что жизнь выдвинула целый ряд вопросов коренной перестройки армии.

В тот же день был распущен Московский ВРК и произошло слияние обоих Советов — солдатских и рабочих депутатов.

Потом подоспел декрет Ленина об организации рабоче-крестьянской регулярной армии. Пришлось заняться набором бойцов.

Между тем немцы на переговорах о мире выдвинули требование территориальных уступок за счет западных частей страны. Ленин считал необходимым поступиться пространством, чтобы выиграть время, необходимое для того, чтобы собраться с силами. И тут он натолкнулся на резкое сопротивление Троцкого с приверженцами, Бухарина с «левыми коммунистами», да и многие большевики были сбиты с толку. Поднялись крики о том, что Ленин предает пролетариат западных областей России. Договаривались до того, что во имя всемирной революции стоит даже пойти на гибель едва родившейся Советской власти. Сколько же терпения, труда, уговоров, волнений стоило Ленину единственно правильное, хоть и адски тяжелое решение! Тысячу раз был он прав: любой ценой, даже ценой потери огромной территории, необходимо было сохранить этот маленький, этот хрупкий росток социализма, дать ему окрепнуть, вырасти, принести плоды!

11 января 1918 года на расширенном заседании Московских городского и окружного комитетов большевиков Е. М. Ярославский сделал доклад, в котором отвергал подписание мира на немецких условиях. И заседание приняло резолюцию, объявлявшую такой мир отказом от

принципов социалистической революции и требовавшую прервать переговоры!

Двумя днями позже на общегородской конференции РСДРП(б) Ярославский повторил свое положение. Ему резко возражал Аросев, выступивший с содокладом.

— Да поймите же, товарищи, нам необходима передышка! — Он вынужден был напрягать голос, чтобы перекрыть шумные протесты. — Да, мир с Германией — компромисс, но иной раз в компромиссе больше революционности и смелости, чем в громких словах!

— Неужели компромиссы во время октябрьских боев ничему тебя не научили? — крикнул Муралов. — Да ты просто запутался, как запутался Плеханов в защите английского империализма!

— Пускай мы погибнем, а на компромисс не пойдем! — поддержал кто-то Муралова.

Александр не сомневался в абсолютной честности большинства из тех, кто отвергал позицию Ленина, в их полной преданности революции, но его бесило непонимание ими того, что самому ему казалось таким неопровержимым. Он готов был наговорить резкостей товарищам — и взорвался бы, если б Виктор, сохранявший больше хладнокровия, не дернул его вовремя за рукав. И все же Александр не удержался от реплики:

— Да мы перестаем быть марксистами, пугаясь мирного договора! Нужно революционное дело, а не революционные фразы!

Виктор чуть ли не силой усадил друга на место и встал сам:

— Вношу резолюцию!

— От чьего имени? — крикнули из зала.

— От своего и Аросева! Резолюция такая: одобрить заключение мира, но одновременно усилить обороноспособность...

Он не смог договорить, поднялись крики:

— Долой!

— Позор!!

— Даешь революционную войну!!!

Конференция приняла резолюцию, осуждающую заключение мира. Только двое воздержались: Аросев и Тихомиров.

Троцкий, возглавлявший советскую делегацию на переговорах о мире, вопреки настоятельному и однозначному указанию Ленина покинул Брест, выставив дикий

лозунг «Ни мира, ни войны!». Переговоры были сорваны. Немцы, естественно, тотчас двинули войска к Петрограду. И — по сепаратному соглашению с образовавшейся украинской Центральной радой — на Украину.

21 февраля обнародован декрет Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности!».

Перед лицом смертельной угрозы многие образумились. Переговоры возобновились.

В Москве 23 февраля был создан Чрезвычайный штаб МВО, в который вошел и Аросев. Московский комитет РСДРП(б) объявил всех партийцев мобилизованными. Вскоре из Москвы отправилась на фронт первая партия бойцов — 4000 человек.

3 марта 1918 года мир был заключен — только на еще более тяжелых условиях. Дорого пришлось платить за «революционные фразы»!

VII экстренный съезд РКП(б), собравшийся тотчас после заключения мира, подтвердил правильность такого решения. Однако немцы продолжали наступать.

В марте Советское правительство переехало в Москву.

Теперь Аросев чаще встречался с Владимиром Ильичем. И многие из этих встреч побудили его впоследствии собирать материалы к биографии этого необыкновенного человека.

Вспоминая позднее совещание ЦК с военными, когда поначалу собравшиеся начали произносить горячие речи и Ленин, председательствовавший на этом совещании, быстро пресек пустословие, поставив совершенно конкретный вопрос — как спасти материальные ценности, ибо остановить немцев мы пока не в силах, — Александр Яковлевич с присущим ему юмором писал: «Собрание закончилось без величественного решения, зато очень практическими результатами».

В начале июля Аросев получил задание закрыть все буржуазные газеты, не перестававшие поливать грязью Советскую власть. Переговорив с ним по телефону, Ленин вызвал его в Кремль, и Аросев представил Владимиру Ильичу свои соображения, показал план Москвы, на котором были отмечены типографии этих газет. Операцию следовало провести одним ударом, за ночь, и Ленин подробно вникал во все детали, советовал, обговаривал всякие могущие возникнуть препятствия или ос-

ложнения. И потом, в течение всей ночи, следил за этой акцией, требуя от Аросева докладывать ему по телефону чуть ли не каждый час.

30 августа 1918 года Александр был на митинге в Басманном (ныне Бауманском) районе, где выступал Ленин. Когда он закончил, к нему подошел какой-то человек и стал возмущаться: что ж это, в Басманном районе собрались и Ленин, и Ярославский, и другие ораторы, между тем как в Лефортове нет никого! Человек очень просил Ленина поехать к ним. Владимир Ильич с некоторым смущением ответил, что уже уговорился выступать на заводе Михельсона, в Замоскворечье, его там ждут... Решили, что в Лефортово поедет Аросев, а Ленин — на завод Михельсона.

Как горевал потом Александр, что не уговорили тогда Владимира Ильича отправиться в Лефортово! Как казнил себя за то, что не поменялся с ним!

Потому что вечером, когда Александр приехал домой, позвонил Виктор: в Ленина стреляли.

И вспомнился Александру недавний его разговор с Ильичем. Тот спросил:

— Что вы думаете об эсерах?

Ответ Александра чем-то не удовлетворил Ленина, и он вспыхнул:

— Да ведь они делаются заговорщиками против Советской власти! Они просто стрелять в нас будут!

Злое было лето 1918 года. Убийство левыми эсерами германского посла Мирбаха. Левоэсеровский мятеж — правда, быстро подавленный. В тот самый день, когда эсерка Каплан стреляла в Ленина, в Петрограде убит председатель Петроградской ЧК Урицкий. На юге уже полыхала гражданская война, развязанная генералами Корниловым, Красновым, Калединым, Дутовым. Подняли мятеж чехословаки.

Это последнее казалось Александру противоестественным. Ведь он сам, еще 15 декабря 1917 года, подписал приказ МВО, в котором простыми, доходчивыми словами объяснялось, что правительство России — защитник угнетенных всего мира, что оно борется за свободу и самоопределение всех народов, которым всегда ненавистна война. Этот приказ обязывал все учреждения, всех командиров облегчать судьбу военнопленных, не чинить им препятствий в создании своих комитетов, профессиональных и политических организаций. Как же теперь чехи и словаки, сами ведь угнетенная нация, кото-

рую триста лет давила австрийская монархия, — как же они теперь выступают на стороне угнетателей?! »

Он не знал тогда, что в этих двух народах, в чехах и словаках, всегда жила надежда на освобождение с помощью братской, славянской, могучей силы — России. Мобилизованные в армию ненавистной Австро-Венгрии, чехи и словаки, попав на фронт, массами сдавались в плен русским. Не из трусости — из нежелания поднимать оружие против братьев. За время войны таких военнопленных в России скопились многие тысячи, и осенью 1917 года им разрешили сформировать собственные воинские части. Так образовался Чехословацкий корпус, который сами они называли Легией.

Легия готовилась пересечь всю Россию, от Киева до Владивостока, чтобы, перебравшись через Америку и два океана, влиться во французскую армию и там, на Западном фронте, воевать за независимость своей страны против Германии и Австрии.

В рядах легионеров произошел раскол. Классово сознательная часть солдат решительно встала на сторону революции, но большинство поверило своим офицерам, своим политикам, твердившим: большевики — враги славянства, они заключили мир с немцами, предали наши чаяния...

Эшелоны Легии, двинувшиеся на восток, подобно запальному шнуру, пронизали толщу огромной страны, и всюду на их пути вспыхивали взрывы. Отлично вооруженная и организованная, Легия сражалась против «красных предателей».

Во взаимодействии с белогвардейцами чехословаки 7 августа заняли Казань.

30 августа прогремели выстрелы Каплан. Весть об этом удесятирила ярость красноармейцев, двинувшихся отбивать Казань. Свердлов обратился к новой 5-й армии с воззванием — ускорить освобождение этого города. И сам Ленин, тяжело раненный Ленин, нашел в себе силы ободрить наступавших.

5-ю армию с северо-востока поддерживала Арская группа 2-й армии, а с реки — Волжская военная флотилия. На этом важном участке Восточного фронта республика сумела собрать даже значительные по тому времени силы авиации: шестнадцать аэропланов участвовало в боях за Казань.

Казанскую операцию Ленин считал первой крупной победой уже не только в гражданской войне, но и в войне

против иностранной интервенции — таковой с полным правом можно было назвать действия Легии, вставшей под начало французского командования.

Уходя в сентябре 1918 года из Казани под натиском Красной Армии, белогвардейцы вывезли хранившуюся там половину золотого запаса России — что-то около семисот миллионов, столь необходимых разрушенной, голодной и холодной, яростно отбивающейся от врагов республике.

И тут Александра оглушила страшная вестъ: убита мама.

Осень. На Волге туман, туман... Невесомый, а давит. Пароход стал. А там, в трюме — гроб матери.

Горе? Слишком слабое слово. Отчаяние? Да нет, не то. Пусто. Как это — без мамы?

В тумане кричит пароход. Жалобно так, словно плакальщик. Помогите-и-те!

Никто не поможет. Протяни за помощью руку — ладонь исчезнет в тумане. Над всем взбесившимся миром — туман. Одна реальность: гроб мамы в недрах парохода.

Как недавно виделись! Александр приезжал в Спасск, где муж мамы, Виктор Вертынский, работал врачом. Вырвался на денек из Москвы, едва успел — накануне того, как наши оставили Казань. Приезжал, чтоб увезти маму с собой. Не согласилась, упрямая. Не хотела бросать Виктора, дочерей. И — дело, любимое, святое, за которое — как это она писала год назад? — ей грозили «снести башку».

И снесли.

Когда белые ворвались в Спасск, люди прятали Марию Августовну. Тайком переправляли из деревни в деревню. Так и дожидла бы до того времени, когда Красная Армия отбросила беляков. Но выдал ее богатый лабазник.

Все недолгое время, пока белые стояли в Спасске, Мария Августовна просидела в тюрьме. Чуть ли не каждый день — допросы: «Где твой сын? Кто твои сообщники? Говори!»

Отвечала с достоинством: неужели вы можете полагать, что мать выдаст сына? Как вы низки! Сообщников же у меня не было: я сама, по собственным убеждениям, вела пропаганду того, что считаю справедливым и верным. Того, что отрицает вас...

Белые ушли из Спасска ночью, крадучись. На рассвете муж и дочери, вместе с родными других арестованных, кинулись к тюрьме. Выходили освобожденные. Марии Августовны среди них не было. В ее камере нашли только один ботинок. Увели! Так поспешно, что не дали даже обуться...

Ее и девятерых рабочих расстреляли в десяти верстах от Спасска.

Дочери и муж долго бродили по полю, где свершилась казнь, пока кто-то из них не споткнулся о ступню в изодранном чулке — торчала из земли. И засыпать-то толком не успели, спешили бежать, оставив за собой кровавый след.

Труп Марии Августовны лежал поверх остальных убитых. Это об ее ступню споткнулись... Прикончили ее последней? Пуля попала в левый глаз, разбила пенсне. Кроме этого, на теле ее насчитали семнадцать штыковых ран.

Ей было сорок пять лет.

Александр примчался в Спасск, когда Марию Августовну уже похоронили. И уже не было в городе Виктора Вертынского — сразу после похорон жены он ушел с отрядом Красной Армии, врачом. И след его затерялся в хаосе гражданской войны...

Александр попросил вырыть гроб матери — и вот везет его на случайном пароходике в Казань. Пускай мама упокоится возле отца.

В трюме у гроба сидит сестра Надежда. А на Волге туман, туман, и кричит пароход о помощи, не может двинуться дальше. До слуха Надежды долетают смутные, тревожные толки команды: туман-то оттого, что на пароходе мертвец. Выкинуть покойника в Волгу — и туман поднимется... Дочь решает: не отдаст, обоймет руками, всем телом прикроет гроб, пускай и ее с ним бросят в воду.

Александр стоит на палубе. В нагрудном кармане френча — футляр с разбитым пенсне и медальон, который мама всегда носила на шее. На медальоне выгравировано: «Смерть» небольшое слово, но уметь умереть — великое дело!»

Предчувствовала, что конец ее будет трагическим?

Тянутся, тянутся мысли Александра, обволакивают паутиной.

Как это она писала? «Умирать когда-нибудь да надо». Да, конечно. Но эти семнадцать ран! Истерзали

ее живую — звери, звери! — или набросились на умирающую, на мертвую? Как больно ей было! Быть может, рвалась, кричала от боли, от горького сожаления, что умирает в темноте, что скалятся ей в глаза зверские рожи, что последнее ее впечатление на этой земле — боль и ужас.

Каждую из твоих семнадцати ран, мама, ощущаю всеми нервами! Всей живой плотью своей! Как жгутся...

А она ведь добра желала людям. Как все мы, большевики.

Я сказал Муралову, что все революционное во мне — от нее, но от нее во мне больше, гораздо больше. Все нравственное, все прямое и честное во мне — от мамы. Вся наша семья держалась ею. А теперь — где наша семья? Сергей убит, мама убита, Ави́ва носят где-то грозные вихри, и не знаю, жив ли наш младший. У Августы уже своя семья, и живет где-то жена Вячеслава с маленькой дочерью...

Споткнувшись об имя брата, Александр невольно усмехнулся. Полгода назад Вячеслав появился перед ним совершенно в своем стиле. Александр тогда еще занимался делами контрразведки при МВО. Однажды дверь в его кабинет распахнулась, и на пороге появился вооруженный красногвардеец.

— Товарищ комиссар, контру поймали! — возбужденно доложил он; за его спиной слышалась какая-то возня. — Погоны снимать не желает! Хотели к стенке, да командир не велел, допросить, мол, надо!

— Еле приволокли, сопротивляется, гад! — подхватил второй красногвардеец из-за плеча первого.

Они втолкнули в комнату молодого поручика в полевой шинели, несколько уже помятого. Александрглянул — и ахнул:

— Вечка!

— Шуничка? — с каким-то ироническим изумлением отозвался тот.

— Все в порядке, ребята, это мой родной брат, я за него ручаюсь! — обратился Александр к красногвардейцам.

Те вышли, смущенно пересмеиваясь. Братья обнялись.

— Нет, что же ты, действительно, погоны не снял? Сейчас это опасно — могли шлепнуть, — слегка отстранившись, чтобы лучше разглядеть брата, произнес старший.

— Я эти погоны в окопах кровью заслужил! И снял бы сам, а насильно — не желаю!

— Все хорохоришься, дуралей. Ну ладно, рассказывай, откуда? Как в Москву попал?

— Нет, сначала — что мама?

Мама... Мама тогда была еще жива. И вот ее нет, а на моих руках — две сестры, одной семнадцать, другой пятнадцать лет. И я обязан заменить им и отца, и мать. А как это сделать, пока идет жестокая, проклятая, навязанная нам гражданская война? Но клянусь тебе, мама, пока буду жив — не оставлю сестер!

Пока буду жив...

Что такое — смерть? Как понять ее нашим земным, таким еще несовершенным разумом? Что такое — небытие? И зачем его ужасаться? Не ужасаемся же мы тому, что когда-то нас не было!

Ах, это философия утешения! Это ты себя успокаиваешь, отгоняешь ужас перед смертью — и твоей собственной тоже.

Печальным было возвращение Александра в Казань. Она лежала перед ним разбитая, поруганная. Развалины, пожарища... Разрушения были тем сильнее, что, оказывается, бои шли и внутри города: Казань сама восстала навстречу освободителям, но восстание было погашено в крови.

У Александра мелькнула странная мысль о связанности судеб матери и родного города...

Стояла скорбная тишина, когда гроб опускали в землю. Мать легла рядом с отцом. В стенке ямы виднелись боковые доски отцовского гроба. Заныло сердце.

Опустили. Помедлили. Александр обвел сестер каким-то недоумевающим взглядом. Понял: они ждут чего-то от него. Шагнул вперед, взял горсть земли. Звездочкой рассыпалась земля по крышке гроба. Александр неловко поклонился и отошел, уступая место сестрам.

И тут, стоя в сторонке, вдруг так ясно увидел картину: разверстая яма, означающая смерть; перед ямой шеренга людей — отец, мать, он сам, братья и сестры. Отец упал первым, потом Сергей, к краю подошла мама, телом своим прикрывая его, Александра, от этой ямы. И вот упала в нее, и он, Александр, стоит теперь один перед смертью, никем больше не защищенный.

Тихо плакали, обнявшись, Надя с Вивеей. Вдруг за их плечами Александр увидел глаза — большие, карие, бархатные глаза под трагическим изломом бровей. Низко

над бровями прямой чертой — белая, с красным крестиком, косынка. И в обрамлении этой косынки — бледное узкое лицо. Средневековый рыцарь в белом шлеме... Да это же Оленька Гоппен! Как он мог забыть ее? Ведь еще тогда, в шестнадцатом, облик этой девочки поразил Александра какой-то гордой беззащитностью — или беззащитной гордостью? Какая необычная судьба: в раннем детстве лишиться отца, при живой матери — не знать матери. Из стерильной атмосферы института благородных девиц прямиком окунуться в обстановку полевого госпиталя, переболеть тифом, видеть смерть, раны, гной, страдания людей. Два года на войне — с шестнадцати до восемнадцати! — и не утратить кротости карих глаз, застенчивости институтки, этого пронзительного выражения гордой беззащитности...

Над могилой Марии Августовны стояла та, которой суждено было стать женой ее сына и матерью трех его дочерей.

Вернувшись в Москву после похорон, Аросев получил новое назначение: комиссаром Главного управления Красного Воздушного Флота.

Ленин придавал огромное значение техническому оснащению Красной Армии, прекрасно понимая, что на одном энтузиазме и героизме, одними трехлинейками да штыками не одержать победы над интервентами и белогвардейцами, которых зарубежные доброжелатели в изобилии снабжали деньгами и самым совершенным оружием. Авиацией же Владимир Ильич заинтересовался еще в годы парижской эмиграции. Вместе с Надеждой Константиновной он частенько ездил смотреть учебные полеты французских авиаторов.

В Москве во время войны существовала школа авиации. В дни Октябрьских боев эта школа, размещавшаяся на Ходынке, вместе с ходынскими артиллеристами встала на сторону большевиков. Столь же сознательной оказалась и часть фронтовых летчиков, особенно из 11-го истребительного авиаотряда, которым до своей героической гибели командовал сам Нестеров, а после него — Иван Николаевич Виноградов. После заключения мира этот отряд не сдал своих аппаратов немцам, а вместе со всей техникой вступил в Красную Армию.

В гражданскую войну авиация оказалась весьма действенным средством не только для разведки и бомбоме-

тания, но и против конницы. Проносясь на бреющем полете над казачьими лавами, поливая их сверху из винтовок и пулеметов, аэропланы сеяли панику: кони бесились, скидывали седоков, разбегались... Аэропланы сыграли свою роль, особенно когда кавалерийские части Мамонтова и Шкуро рвались к Москве.

Александр Аросеву пришлось заниматься формированием авиаотрядов, их снабжением (нередко запасные части отыскивали на «кладбищах» аэропланов). Но главной была работа с людьми. Следовало отсеять из летного состава контрреволюционные элементы и готовить своих, верных революции летчиков, наладить четкую систему их обучения. Здесь много помогли «старые» летчики и механики. Общее собрание Московской школы авиации выбрало своим начальником заслуженного фронтового летчика Бориса Константиновича Веллинга. Свой немалый опыт охотно передавали учлетам «летающий моторист» Александр Иванович Жуков, старший механик Андрей Матвеевич Гусев и многие другие.

Но у противника была и другая военная техника. Артиллерия, бронепоезда, броневики, даже новое английское изобретение — танки. И вскоре создается Центральное броневое управление РККА. Аросев, в дополнение к своей прежней должности, назначается военкомом этого нового управления. И опять организация, формирование, учет матчасти, снабжение — и люди, люди!

Постепенно становились традицией полеты над Красной площадью во время праздничных парадов. 1 Мая 1918 года единственным воздушным участником первого после Октября праздника был старенький «нюпор», ведомый Иваном Виноградовым. А 7 Ноября, в первую годовщину революции, пролетел над Красной площадью комиссар Главвоздухофлота Александр Аросев, разбрасывая листовки с боевыми призывами. Самолет вел Борис Россинский. И Ленин, едва оправившийся от ран, наблюдал за полетом с трибуны, наспех сколоченной на том самом месте, на котором пять с небольшим лет спустя воздвигнут первый, деревянный еще, мавзолей...

Красная Армия уже не была чисто добровольческой, как вначале. Советская власть вынуждена была объявить мобилизацию. Теперь в армию вливались не только сознательные рабочие, но и люди несознательные, порой даже враждебные. Необходимо было вести усиленную разъяснительную работу. Военспецы, то есть офице-

ры царской армии, привлеченные по необходимости, за недостатком военных знаний у красных командиров, не всегда были надежны. Случалась и самая черная измена с их стороны. Немало столкновений происходило и между самими красными командирами. Одни были заражены эсерством, другие анархизмом, у третьих низок был уровень культуры. Но главное противоречие в командовании Красной Армией возникло между ленинской концепцией ведения гражданской войны и линией Троцкого. Были и неумение, и ошибки...

В таких условиях в Красной Армии еще весной 1918 года был введен институт комиссаров-большевиков. Партия слала на фронт самых опытных, самых надежных своих членов. Был в их числе и Александр Аросев. В марте 1919 года ЦК направил его на Украину. Комиссар штаба 10-й армии Аросев развернул активную работу в воинских частях, опираясь при этом на помощь таких большевиков, как комиссар 38-й дивизии Поздняков, комиссар 39-й дивизии Свиридов или комиссары бригады царицынский токарь Ткачев и сын железнодорожника Васильев. Была там еще чудесная девушка, ровесница века,— Рузя Черняк. Работала она заместителем начальника политотдела 38-й дивизии, но Александр мог встречать ее еще в Москве, в Октябрьские дни, когда Рузя Черняк, в свои 17 лет уже имевшая солидный стаж подпольной работы, организовала Союз рабочей молодежи «III Интернационал». Впоследствии она вышла замуж за командира бригады 39-й стрелковой дивизии той же армии Александра Тодорского.

Александр Иванович Тодорский, большевик с 1918 года, талантливый командир Красной Армии, так писал впоследствии о значении и роли комиссаров в гражданской войне:

«Могучим оружием в арсенале красных частей была пропаганда коммунистических идей, агитация большевистской правды, культурно-просветительная работа. Каждой военной победе предшествовала и каждую военную победу закрепляла до мельчайших деталей продуманная и великолепно организованная партийно-политическая работа среди войск, населения, а также агитация в рядах противника».

Но комиссары не пользовались бы авторитетом у бойцов, если бы занимались только пропагандой. Нет, они показывали пример мужества и воинской доблести непосредственно в боях. Недаром комиссар 38-й дивизии

Поздняков первым из политработников 10-й армии был награжден орденом Красного Знамени. А ведь тогда орденами удостоивали куда строже!

Грозные тучи войны — войны гражданской и войны против иноземных захватчиков — все сгущались, заволакивая горизонт дымом пожарищ, разрывами снарядов, необозримыми массами казачьих лав — и кровью, кровью... Сколько же их было, ополчившихся на нас! Юденич, Колчак, Деникин, Врангель, Дутов, Краснов, Петлюра, Махно, Савинков... Монархисты, анархисты, эсеры, офицеры, казаки, кадеты, бандиты, разноцветные «бабки». И с ними — англичане, американцы, французы, японцы, немцы... Не перечести! С бешеной злобой рвали, топтали, топили в крови Россию — а все, в сущности, из эгоистических, классовых интересов собственности, которую осмелились аннулировать большевики! Извечный лозунг зажавшихся: «За свое добро горло перегрызу!»

Республика Советов оказалась в огненном кольце. Опали — по разным причинам — Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, Бессарабия, Дон, Крым, Армения, Грузия, Азербайджан, Сибирь, Дальний Восток, Поволжье, Урал, Средняя Азия... Республика съежилась чуть ли не до размеров древней Московии. И внутри этого смертельного кольца — голод, тиф, разрушенные фабрики, обезлюдившие деревни, заросшие бурьяном поля. Гибель смотрела в очи. Апокалипсическая ночь спускалась на Россию. Но, измученная, — она жила! Истерзанная — сражалась!

Вдумайся, нынешнее поколение советских людей! Вдумайся — и низко склони голову перед сверхчеловеческим, жертвенным мученичеством предков!

И свершилось чудо. Голодная, разутая, плохо вооруженная армия не только выстояла, но и победила, отогнала, перемолола сытого, прекрасно — на чужие деньги — вооруженного, многоликого, многоязыкого, разноmundирного противника!

Впрочем, чудом это казалось только тем, кто не понимал сущности революции. Кто, подобно немецким полководцам в ту, прошлого века, Отечественную войну, вымеянным Львом Толстым, рассчитывали на бумаге: «Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert...» Как гсворится, гладко было на бумаге, да за-

были про овраги! Революции опрокидывают всякую арифметику. Это доказали еще и Великая Французская революция, и опыт Парижской коммуны. Тот, кто делает революцию, должен владеть высшей математикой. Так, как ею владел Владимир Ильич Ленин.

Не в последнюю очередь здесь сыграло роль и то, о чем так скромно упомянул Тодорский: «...а также агитация в рядах противника». Большевицкая агитация постепенно, но верно проникала в массу обманутых казаков и украинских крестьян, солдат, даже офицеров белых войск — и солдат иноземных армий. До того, что эти последние пришлось эвакуировать на родину во избежание назревавших бунтов.

Александру же, этому неисправимому, хотя и тайному фантазеру, представлялась такая картина: ревущим морем затоплен материк, подобно некоей древней Атлантиде; остался лишь небольшой островок — но вот мало-помалу, медленно, тяжело поднимается, выплывает из пучины земля, сначала вокруг островка, потом все дальше и дальше, а взбесившиеся воды не желают выпустить добычу, с грохотом бьются о берега, но те все выступают, выступают на вольный воздух, и никаким силам не остановить этого движения. Нехотя стекают уже бессильные воды, оставляя на суше все исковерканным, переломанным, занесенным грязью...

Кончалась одна страда — начиналась другая. Отдыха не было. Эту вновь обретенную, поруганную землю надо было приводить в порядок. Разгребать грязь, чинить поломанное, выпрямлять погнутое, строить новое, небывалое. И все это надо было делать самим, теми же утомленными военной страдой руками.

В начале 1920 года Александра Аросева посылают в освобожденный — вторично освобожденный! — Харьков, столицу только что провозглашенной Украинской советской республики. И вручают ему острейший инструмент очищения: Революционный трибунал Украины.

Но (вот что примечательно!) тогда же — чем не символ перехода к мирной жизни, знак неразрывной связи революции с духовной жизнью! — Аросев одновременно с Ревтрибуналом возглавил и республиканское издательство.

Подлинное искусство шло об руку с революцией.

История Октябрьской революции и гражданской войны в России изучена и еще изучается. О них создано много превосходных произведений литературы — таких,

как «Железный поток» Серафимовича, «Как закалялась сталь» Островского, «Оптимистическая трагедия» Вишневского, «Разгром» Фадеева, «Тихий Дон» Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого, повести Булгакова, Бабеля, Всеволода Иванова, стихи Светлова, Багрицкого, Голодного, Бедного...

Писал и Аросев. Но если упомянутые произведения возникли некоторое время спустя, то Александр писал в самой гуще событий. Не говоря о его первых опытах, скажем, о «посеянной» в тундре во время побега из ссылки повести, или о той, которую он предъявлял для критики Горькому на Капри, — с 1916, 1917 годов появляются его статьи в самых разнообразных органах печати, и все на животрепещущую тему; а в Харькове, еще в 1920 году, вышла его книжечка «Революционные наброски». Писал он по самым непосредственным впечатлениям, писал урывками, жертвуя немногими часами сна, писал наспех. Он считал себя просто обязанным оставить честное, правдивое свидетельство виденного, пережитого, передуманного. Всего этого хватило бы на толстые тома, но не было у Александра времени спокойно заняться литературным трудом, к которому он имел не только тягу, но и немалые способности, увь, не осуществленные в полной мере.

И если литературную работу Александр воспринимал как отдушину, отдых, счастье, то как же тяжки были ему обязанности председателя Ревтрибунала! Тогда еще не были выработаны законы нового жизнеустройства, судить приходилось по собственному разумению, соразмеряя свои решения с революционной совестью. Насколько же легче было в бою — и даже в подполье! Там все было ясно, четка была разграничительная линия между соратниками и противником. Здесь надо было решать судьбу конкретных живых людей.

Да, Александр знал, понимал прекрасно, что и это — необходимая защита революции, ибо если революция не защищается, она гибнет. Но где критерии? Как может, как смеет один человек определять судьбу другого человека, тем более решать — жить ему или умереть?

Обладая широкой и притом артистической натурой, Аросев способен был вдуматься, вчувствоваться в состояние другого человека, и это затрудняло ему такую работу. Как завидовал он некоторым своим товарищам, не знавшим сомнений! Он просто заболел, когда приходилось выносить смертные приговоры. А делать это при-

ходило нередко. Много было у Советской власти врагов, явных и скрытых, ушедших в подполье, злобных, беспощадных. Александр отлично знал о зверствах белой контрразведки, о пытках и издевательствах над пленными красноармейцами и коммунистами. Он полностью принимал необходимость противопоставить белому террору — красный. Но тяжело ему было, тяжело! Он облегченно вздыхал, когда выяснялась невинность подсудимого или такая его вина, которая заслуживала не смерти, а только заключения.

Впоследствии, с удовольствием вспоминая или рассказывая детям эпизоды из своей подпольной и боевой жизни, он никогда ни словом не касался этой своей мучительной работы.

Не диво, что очень скоро Александр рухнул под этим бременем. Отказало сердце, не выдержали нервы.

Не будем забывать, что, вступив в революционное движение с пятнадцати лет, он не знал передышки. Постоянное напряжение, на каждом шагу опасности, вечная настороженность, физические лишения, смертельная угроза, горечь утрат — все шло с нарастающей силой. Конечно, были, как мы теперь называем, «положительные эмоции», на какое-то время они снимали нагрузку. Но трудного было больше. И не могло не быть в столь эпохальной схватке рождающегося нового мира со старым, который зубами и ногтями дрался за свое существование.

Правда, на заболевании Александра, быть может, отозвалась и некоторая семейная предрасположенность. Недаром же его отец, Яков Михайлович, два брата — Вячеслав и Авив — и самая младшая из сестер, Вивея, скончались от болезней сердца, не дожив и до пятидесяти. Станным образом эти оба брата и сестра и внешне были похожи на отца. Остальные — Александр, Сергей, Августа и Надежда — удались в мать, Марию Августовну. И лицом, и крепким здоровьем.

Но вот, несмотря на свое поистине богатырское здоровье волжанина, Александр свалился.

К тому времени кончилась гражданская война. Возникла возможность некоторой передышки. Аросева, как и других товарищей, изнуренных непосильными перегрузками, партия отправила на лечение — в Германию, к немецким профессорам.

То был его первый отпуск за шестнадцать трудных лет.

И — первая возможность мирно пожить наконец с семьей.

Ибо у Аросева уже была семья.

Осенью восемнадцатого года, похоронив мать в освобожденной Казани, Александр встретил ту девушку, Ольгу Гоппен, и уже не расставался с ней. Она то следовала за ним в его опасных поездках, то останавливалась где-нибудь в более или менее безопасном месте — ждала ребенка.

Этот ребенок родился в декабре девятнадцатого — здоровенькая, крепкая, как репка, девчушка. Александр был счастлив — он стал отцом! Он работал тогда комиссаром штаба армии, стоявшей в Казани, Ольга — в женсовете. Кстати, в этом женсовете она познакомилась с Полиной Жемчужиной, вышедшей потом замуж за аросевского друга Вячеслава Скрябина.

Вскоре, однако, Александру пришлось уезжать под Царицын, и в штабной «теплушке» ехала с ним Ольга с младенцем...

Когда Аросева послали лечиться в Германию, он взял с собой жену и полуторогодовалую дочь.

Часть
третья

НА ЗЕМЛЕ ПОД СОЛНЦЕМ



Но жизнь не может
стоять на месте,
Забыть не хочет
былых шагов...

Из неопубликованного стихотворения
Виктора Тихомирнова

Глава десятая

Отец взял с собой в Германию и меня с мамой. Мне тогда было года два, и я никак не могу помнить тамошнего нашего житья-бытья. Лишь туманно бродят в голове названия, слышанные, конечно, позже: Бад-Наухайм, остров Рюген. Мама рассказывала — отец был так слаб, что даже не мог поднять меня на руки.

Смутно мелькает в подсознании и название Риги. По-видимому, мы останавливались в этом городе на обратном пути из Германии — кажется, у папы были там дела. Насколько я теперь понимаю, сопоставляя даты и события, отец должен был участвовать в работе комиссии, устанавливавшей дипломатические отношения между РСФСР и новой республикой — Латвией. И еще сохранился у меня в памяти, привязанный к местечку Асари на Рижском взморье, образ закрывавших небо кустов красной смородины. Гроздья их сладких, ярких ягод качались высоко над моей головой. Хозяйка запрещала их рвать.

А потом уже была Москва. Наконец-то постоянная квартира в домике на окраине, не доходя до Новодевичьего монастыря. Помню нетерпеливую мою радость, когда папа однажды пришел веселый и объявил, что меня пригласили на елку «к дедушке Ленину». Но некоторое время спустя папа грустно сказал, что елки не будет, потому что «дедушка Ленин» заболел. Я расстроилась.

Все эти разрозненные, как бы в тумане качающиеся зачатки воспоминаний перекрыло самое яркое — и первое связное — впечатление от дней детского страха и тьмы.

Вижу себя четырехлетним ребенком. Папы и мамы нет дома — сколько уже? День, два, три? Я еще не владела понятием времени. Я стою в детской — розовые обои, в двух углах полукругловогнутые белые печки; на недостижимой высоте светится молочно-белый плафон. Я не знаю, который час, но, конечно, уже поздно. Ма-

ленькая Ленка посапывает в своей кроватке, а меня никто не приходит уложить. Я чую какую-то небывалую беду — иначе разве бросили бы нас одних?

Мне страшно. За окошками — черная ночь, и оттуда, из этой тьмы, прижимается к стеклу какое-то безглазое чудище, ищет меня. На память приходят все страшные рассказы о мертвецах, вставших из могил, которыми так упивается наша кухарка Шура. Кладбище-то рядом...

Не выдержав пытки страхом, опрометью бросаюсь через две темные комнаты в кухню — слава богу! Там светло — и там Шура!

Она сидит за большим белым столом, уронив на руки свою черноволосую с белым пробором посередине голову. И рыдает. Вид плачущей взрослой прогоняет мой страх, я мгновенно успокаиваюсь, чувствую даже некоторое превосходство над ней — ведь я-то не плакала, хотя мне было так ужасно одиноко и страшно. Вместе с тем возникает горячее желание утешить Шуру.

— Ты чего плачешь? — спрашиваю ласковым тоном.

Она поднимает голову — ее курносое лицо вспухло, некрасиво покраснело от слез — и с какой-то горькой обидой всхлипывает:

— Да-а... Ленин умер!

Понятие смерти тоже не имело еще власти над детской душой; зато проснулось любопытство: кто же он такой, Ленин, этот «дедушка», у которого я так и не побывала на елке?

— А кто был Ленин?

Сколько буду жить, не забуду ее ответа. С каким-то надрывом отчаяния, от которого у меня мороз пробежал по спине, Шура, эта малограмотная деревенская девушка, выкрикнула:

— Всехний отец!

И бухнулась головой об стол, завывала, как воют по мертвому русские бабы.

„А стужа над землею
Такая лютая была,
Как будто он унес с собою
Частицу нашего тепла,

И пять ночей в Москве не спали
Из-за того, что он уснул.
И был торжественно-печален
Луны почетный караул... *

* Из стихотворения Веры Инбер «Пять ночей и дней». 1924 г.

Пять ночей и дней мои отец и мать стояли у гроба Владимира Ильича. Сменялись, конечно, но не покидали Дома союзов, бывшего Благородного собрания. Отдыхали в боковой комнатухе и снова занимали свое место. А мимо текли, текли, текли реки человеческого горя, которое не выразить словами. И днем и ночью улицы, промерзшие, ледяные январские улицы Москвы заполняли толпы потрясенных людей. И тихо было на этих улицах, только потрескивали костры да слышались глухие хлопки — люди согревались по-извозничьи, ударяя себя крестнакрест руками по бокам, постукивали ногой об ногу, топтали валенками по заледенелому булыжнику и терпеливо, часами, ждали, когда можно будет пройти мимо гроба, мельком увидеть восковой профиль, низко ему поклониться...

Смерть Ленина была тяжелым личным ударом для отца. Она завершала собой целое пятилетие невосполнимых утрат, начало которым положила трагическая гибель матери. Пали в боях Гриша Усневич и Алексей Ведерников. Безвременно оборвалась жизнь Якова Михайловича Свердлова, так недавно — и так успешно — возглавившего высший законодательный орган республики — ВЦИК. Свердлову было всего тридцать три года. Виктору Тихомирнову и вовсе тридцать. Этот любимый, этот старый друг умер от тяжелого воспаления легких, которое тогда было страшной бедой, которое не умели лечить так, как сегодня, — да еще в голоде и холоде гражданской войны... Скончался комиссар 5-й армии Павел Карлович Штернберг, простудившись насмерть после того, как провалился с лошадью под лед сибирской реки. Все боевые товарищи, соратники по великой священной борьбе. Необычайно точно звучали для Александра слова старого похоронного гимна революционеров: да, эти дорогие ему люди «жертвою пали в борьбе роковой, в любви беззаветной к народу». Отдали все, что могли.

А теперь — Ленин. Такой живой, стремительный, острый... Казалось Александру — явился к нам пришелец из будущего, поднял — гигант! — мощными руками своими наш темный мир, поднял — и надорвался...

Аросев стоял у гроба, смотрел в мертвое лицо — и не верил. Он знал, что Ленин был болен, болен давно и неизлечимо, знал, что мозг его не вынес невероятного напряжения огромных мыслей, — и все равно не верил. Уже и тело набальзамировали и положили на Красной пло-

щади, во временном, деревянном мавзолее, а Александр по-прежнему не верил. Не плакатно, не лозунгово лелеял в себе ощущение, что Ленин не покинул нас, он где-то здесь, только невидимый... От этого рождались странные мысли. Если мы — материалисты и смотрим на мир с материалистической точки зрения, то следовало бы признать: материальна и мысль, движение мозга, излучающего какие-то токи, колебания каких-то материальных частиц. Значит, не могут они исчезнуть, эти колебания сохраняются в пространстве, в которое были брошены, они вокруг нас; гибнет лишь оболочка — да и то не гибнет, просто приобретает иную материальную форму. Быть может, когда-нибудь наука найдет подтверждение этой догадке?

Однако и о реальном думал Александр. Еще при жизни Владимира Ильича, 31 марта 1923 года, Московская партконференция постановила образовать при МК Институт Ленина. Осенью того же года институт перешел в ведение ЦК и по решению Политбюро объявлен единственным хранилищем всех материалов о Ленине.

Аросев был избран членом совета, членом правления и ответственным хранителем института. Тогда-то, занявшись приведением в порядок всего архива, документов, постепенно поступавших от старых товарищей (первой, еще в марте 1923 года, передала в институт документы «из чемодана Фрея» * Надежда Константиновна Крупская), Александр начал собирать материал о жизни этого человека. Задумал писать его биографию. Ему хотелось сохранить, удержать в памяти людей все, что Ленин сделал, пережил, передумал. Рождались короткие рассказы о некоторых моментах его необыкновенной судьбы.

Аросева можно по праву считать зачинателем ленинской темы в литературе.

Как же нужно было любить Владимира Ильича, как знать его до мельчайших черточек, жестов, чтобы суметь впоследствии так написать о нем:

«Художник Кропило сидел высоко на галерее, а Ленин произносил речь внизу с трибуны.

Отчетливее всего Кропило виднелись говорившие губы Ленина. Они так двигались, так вздрагивали, и верхняя губа так выпячивалась, словно он сгорал от жажды и беспрерывно просил омочить губы. Временами, склонив

* Фрей — один из псевдонимов В. И. Ленина.

свою лысую голову сначала направо, потом налево, он вдруг опускал глаза долу, как хитрый китайский бог, и произносил что-нибудь смешное, например:

— Мы заметили, как в переговорах с нами Ллойд Джордж так это кругом, кругом ходил,— оратор сделал своим коротким указательным пальцем несколько выразительных кругов в воздухе,— вокруг вопроса об Интернационале. Хорошо, дескать, если бы в Москве у вас его не было,— намекал нам Ллойд Джордж. А мы ему ответили,— оратор опять склонял голову то направо, то налево, опустил ее, опустил глаза, опустил слегка вытянутые губы, сложил короткопалые руки на животе и мягко, даже жалостливо и остро выговорил: — Ну что ж, пожалуй, мы не прочь: разрешите Коминтерну устроиться в Лондоне, кстати, у нас в Москве и квартирный кризис...

Зал готов был разорваться от смеха...

А оратор опять поднял брови, заострил зрачки, поднял руки и запустил их в жилетные прорезы, опять рот сделал рупором, так, словно выговаривал одно слово: «жажду» — и продолжал... Продолжал не говорить, а исторгать слова.

Это были не головные выкладки и не сентиментально-сердечное лепетание, а слова из нутра, из всех кровеносных сосудов, из жил, из нервов, из костей. Из такой глубины исторгалось то, что он говорил, что казалось, от слов шел пар. Стремление передать себя через глаза и уши слушателей было так сильно, что ни один из слушавших не мог ни о чем другом помыслить, как только о том, что слышал. И мысли, слетавшие с его рупорных уст, становились все интереснее и интереснее, острее и увереннее...

Кропило воспылал мыслью именно тут его и зарисовать. Карандаш его послушно побежал по бумаге. И так хорошо и удачно этот человек с его губами, с рыжей бородой клинышком, с усами, подстриженными на манер казанских татар, с лысиной, как солнце, с морщинками, как трещины песчаных холмов, с жестами горячих рук ложился на бумагу под карандашом Кропило, что у него сильно билось сердце и наполнялось той большой радостью творчества, какая хорошо известна всякому художнику и мыслителю, когда вот-вот подошел он к разрешению научной загадки или интересного положения. Вот-вот еще несколько штрихов — и готово, и положение найдено.

В это время оратор отступил немного от рампы трибуны. Держа руки все еще в прорезах жилетки, высунув оттуда указательный палец левой руки и стал расстановисто сам себе дирижировать в такт вырывающимся словам...

Кропило перестал рисовать, ожидая, когда кончится непонятное ему состояние жестов. Кропило слышал речь:

— Они создали комиссию для исчисления убытков, которые причинила их гражданам наша революция...— Оратор вдруг подошел к самому краешку трибуны так, что левая нога его, слегка вздрагивая носком, опиралась в самую рампу, всем корпусом вытянулся к слушателям, склонил голову слегка направо, прищурил правый глаз и, не вынимая рук из жилетных вырезов и сделав губы фитой, тонко отчеканил: — А мы составили свою комиссию для исчисления убытков, которые нам нанесла и х интервенция... Мы уже теперь насчитали препорядочную сумму: посмотрим, кто окажется должник...

Кропило дрожащей рукой провел большой крест по тому наброску, какой он только что сделал: все, все черты этого человека после сделанного им жеста — все это не то, не то... У Кропило был зарисован хороший, заправский, распорядительный, радетельный, веселый и хитрый хозяин, а тут вдруг пахло чем-то другим. Профессор, что ли, или банкир. Нет, скорее профессор... Взглянул Кропило на слушателей: они все показались ему молокососами, студентами первого курса, упоенными тем познавательным счастьем, какое испытывают на университетских скамьях вчерашние гимназисты. Они без затруднений и с наслаждением глотали продукты чужой огромной работы мозга. «Профессор, безусловно гейдельбергский профессор», — думал про себя Кропило.

Хотел рисовать профессора. Еще раз взглянул на оратора.

А оратор опять стал другим. Он весь сощурился, так что глаз уже не видеть стало. Все лицо его глиняного цвета потрескалось еще многими, многими морщинами. В довершение всего оратор трагикомически всплеснул руками и воскликнул, играя веселостью своего голоса:

— Как мне жаль их, — оратор разжал руки. Правой уперся по-удалецки в бок, левую приподнял, сжав ее в кулак, и стал по очереди разжимать пальцы левой руки, начиная с указательного. Перечислял: — Их всего четыре министра: английский, — из кулака разжался указательный палец, — французский, — выскочил средний па-

лец,— итальянский,— он соответствовал безымянному,— японский,— это мизинец,— их всего четверо, и они не могут столкнуться,— оратор раскрыл было глаза, но опять их прищурил, выкинул было руки вперед, но быстрым движением закинул их назад, за спину, и отчеканил негромко, а так, что слышно стало на весь мир: — А нас полтораста миллионов, и мы дотолковались!

Кропило тихо, чтоб не шуметь бумагой, сложил свои два начатые наброска. Сунул бумагу в карман и стал слушать.

Под конец речи оратора слышать можно было, как пролетит муха. Слышно было затаенное дыхание массы. Были потеряны все чувства, кроме одного: чувства слуха.

Оратор закончил...

Кропило схватился опять за карандаш и бумагу, чтобы поскорее не пропустить настоящего момента. Вот, вот он, кажется, настоящий. Но нет, нет, пропустил Кропило: отирая платком вспотевшую красную шею, оратор быстрыми шагами засеменил к комнате президиума и, прежде чем попасть в эту комнату, утонул в толпившихся около трибуны людях. В зале стоял туман от аплодисментов, криков, от овации.

Больше не видел его Кропило. И не пытался больше облик этого человека, оставшийся у художника в сердце, переложить на бумагу. Что бы он, художник, ни начал рисовать: профессора, или хозяина, или банкира, или трибуна народного, или калмыка хитрого и веселого, или самого бога Пана — все это не то, что вот этот настоящий человек!...» *

И еще в других своих литературных работах Аросев все возвращался к образу Ленина, не мог от него оторваться.

Он отлично понимал: со смертью этого человека воспрянут его идейные противники. И опасался смуты, разброда, раскола в партии, среди людей, от которых зависело движение государства. Ленин, хоть и больной, лишившийся речи, одним своим огромным авторитетом, неистовой своей мыслью все еще сдерживал их. Он был надежным компасом революции. Компас разбился.

Как важно теперь вновь и вновь напоминать о Ленине, как необходимо вновь и вновь мобилизовать вер-

* Из романа А. Я. Аросева «Сенские берега», выпущенного в 1928 г.

ных ленинцев, всю их энергию, чтобы не сбиться с пути, начатого столь блестяще. Отдыха нет, не может быть отдыха для большевиков!

Как он был прав, мой отец...

В быстротечности нашей напряженной жизни, переполненной информацией, событиями, открытиями, редко случается нам остановиться, оглянуться на пройденный путь. А право же, он того заслуживает. Ведь это — история. История, какой еще не знало человечество. Да, в школах и вузах читаются курсы истории КПСС, истории СССР, но как недостаточно всего этого! Учебники скользят по датам, фактам, съездам, а глубинного, человеческого во всем этом так мало...

Чем старше я, тем глубже задумываюсь о нашей Революции; пытаюсь, сквозь факты и даты, создать себе некий образ. И вижу:

От мощного толчка трещинами пошла Европа. Рухнули три самые ненавистные силы тьмы: российская монархия, годом позже — германская и австро-венгерская. Романовы, Гогенцоллерны, Габсбурги ушли в небытие. Нет, они где-то еще жили, пытались еще что-то сделать, вернуть былое — но не было уже на свете силы, способной повернуть историю вспять. Потому что родилось первое, самое первое в мире, родное наше, такое беззаветно-смелое, такое благородное и героическое — социалистическое государство.

Но как тяжело, как трудно было вначале...

Мои детские глаза видели то, что давно исчезло. А детская зрительная память остра, и запечатленное ею остается на всю жизнь. Я помню Москву булыжную, извозничью, помню стены ее домов, выщербленные пулями; помню асфальтовые котлы — асфальт постепенно заменял булыжник — и ночующих в этих теплых котлах беспризорников; помню мужиков в лаптях и баб, лузгающих семечки. Ах, какая скудная, какая бедная, трудная была жизнь! Но ходили по улицам первые пионерские отряды и колонны комсомольцев, пели: «Мы фашистов не боимся, пойдем на штыки»... Старушки отплевывались при виде девочек в трусиках и красных платочках (трусики тогда носили пышные, схваченные резинками на бедрах); повсю звонили колокола церквей, сгоняя с крестов тучи галок; ходили по улицам разносчики, держа на головах деревянные подносы с овощами, во дворы забредали старьевщики-татары, и до сих пор стоит у меня в ушах их заунывный призыв: «Старью биром-пку-

паим!» Когда на нашей окраинной улице в кои-то веки показывался автомобиль, со всех дворов сбегались мальчишки — глазеть; некоторые ухитрялись прицепиться сзади, а уж о том, что цеплялись ко всем ломовикам и извозчикам, и говорить нечего. Неудачники, не изловчившиеся уцепиться, от зависти предательски орали: «Дядя, сзади!» — и возчики оборачивались, грозили смельчакам кнутом...

Жили мы тогда на самой окраине Москвы, в маленьком желтом доме с мезонином. После нас по Большой Пироговской было еще два-три двора, а там — большая белая церковь, за нею так называемый «круг» — конечная остановка трамвая и Новодевичий монастырь. Та часть его, где сейчас музей, была действующим кладбищем, густо заселенным могилами, они уже налезали друг на друга, и почти ежедневно привозили новых покойников. Это было любимым зрелищем ребятишек. Надо было слышать радостный вопль: «Похороны! Похороны!» — и все мы лезли на забор — глядеть.

А уж за монастырем, там, где сейчас спорткомплекс Лужники, начиналась деревня: избы, огороды, коровы...

Напротив нашего дома стояли бревенчатые корпуса клиник, огороженные проволочным забором. Мостовая была булыжная, и посередине ее, между рельсов, шли трамвайные столбы — мне всегда казалось, они куда-то идут, раскинув руки.

Двор наш, типичный «московский дворик», был раем для нас, детей. То была поистине родина нашего детства — увы, исчезнувшая не только из нашей жизни, но и с поверхности земли. Где теперь заросли сирени и акаций, грядки с табаком, белые цветы которого так сладко пахли по вечерам и, казалось, освещали сумерки прозрачной своей белизной? Где крокетная площадка под могучим каштаном, на котором мы устроили «гнезда», привязав к развилкам детские плетеные креслица? Где дровяной сарай, в пахучем таинственном сумраке которого мы прятались? А высоченные сугробы снега, который ломовики свозили с улиц и сваливали на заднем дворе! Какие воздвигали мы крепости из этого крепкого, плотного, морозного снега, как отважно сражались снежками...

На месте сказочного детского мира выросли скучные огромные дома. Нет больше каштана, нет березок у поломанной изгороди, нет подорожников, которыми мы залепляли ссадины на коленках. Жалко! Нынешние мос-

ковские дети не знают такого приволья. Мне кажется, рассудочность и эгоизм, которые многие замечают у нынешнего молодого поколения, отчасти оттого развиваются, что детство их протекает в прямоугольниках огромных корпусов, на жестком асфальте, когда во двор надо спускаться на механическом приспособлении — лифте. Не побежишь, не выскочишь из окна на призывный свист товарища, не вынесешь кукольную мебель, чтобы поиграть в «дочки-матери». И не видят нынешние дети живого огня в доме, не сидят вечерами у печки, зачарованно глядя на таинственное деяние, вершащееся в огненной пасти, смутно и счастливо мечтая о чем-то неведомом. И не приходят во дворы шарманщики с попугаем, который вытаскивает конвертик с таким дешевеньким, но таким драгоценным «счастьцем»... Жалко!

Что поделаешь — прогресс меняет мир, и с ним изменяется духовная сущность человека. Принося человеку много добра, он что-то и отнимает.

Впрочем, рай-то был только для нас, детей. Взрослым приходилось туговато. Совсем непросто было добывать дрова, и рубить их во дворе, и топить печи, и не забывать закрывать выюшки, когда печь прогорит, чтоб тепло не выдуло, и запастись керосином и ламповыми стеклами на частые случаи отключения электричества, а главное — выстаивать очереди в «кооперативках», получать по «заборным книжкам» хоть какой-то харч. Хлеб тогда был серый, и колотый сахар — серый, и серым был основной фон одежды. И серыми — лица людей, наголодавшихся и наголодававшихся за две войны. Но красными были знамена и песни, красными — платочки работниц, и галстуки нарождающейся пионерии, и плакаты, зовущие строить невиданное. Невиданным было самоотвержение этих людей, яростно бросившихся штурмовать неслыханные высоты. Прекрасными были мечты и героическими — труды взрослых и игры детей.

Самый ранний образ отца запечатлен в моей памяти таким: молодой, веселый, черные волосы мысиком выступают на лбу, а глаза — небольшие, серые — широко расставлены; между высоких скул — прямой, хотя и толстоватый нос. Ямочка на подбородке — одно время он не носил усов и бороды — придавала его лицу выражение какой-то беззащитности и доброты.

По утрам он пел полюбившиеся ему арии из оперетки «Дочь мадам Анго», причем врал отчаянно, и мама, зажимая уши, кричала ему: «Шуничка, перестань! Уши вянут!» А он хохотал и, округлив локти, подтанцовывал к ней этаким опереточным шажком, продолжая:

Так беззаботно, вольно, смело,
проводя всю жизнь легко,
за нос всех водить умела
знаменитая Анго!

Часто приходили братья и сестры отца. Человек в высшей степени семейственный, отец любил, когда вокруг него собиралось побольше родного народа. И тогда начинался праздник: дядя Авив изрядно играл на пианино, отец на мандолине, дядя Вячеслав со своей второй женой, красавицей Еленой Владимировной, великолепно пели — он баритоном, она глубоким контральто. Их дуэты рождали в моей душе нечто такое, что по праву можно назвать восхищением.

Приходили друзья: неотразимый Муралов в красочной военной форме, напоминающей одеяния былинных богатырей (как жалко, что эту оригинальную, одной Красной Армии присущую форму заменили, так сказать, общемировой!). Такой же огромный — и такой же веселый — Россинский, теперь уже не похожий на д'Артаньяна: Борис Иллиодорович снял не только усы и бородку, но обрил наголо всю свою прекрасной лепки голову. Приходили писатели — Новиков-Прибой, Тарасов-Родионов, Всеволод Иванов, Александр Воронский... Художник Сварог одно время даже просто жил у нас.

А порой заглядывали на огонек самые старинные, самые задушевные друзья юности: сероглазый насмешливый Николай Владимирович Мальцев с женой актрисой Татьяной Павловной, Вячеслав Михайлович — уже не Скрябин, а Молотов — и его строгая, умная жена Полина Семеновна Жемчужина. Не хватало только Виктора Александровича Тихомирнова... Друзья светло поминали его. Переписывались с его женой — сестрой Николая Мальцева, Верой Владимировной, живо интересовались, как растет их маленькая дочка. Дочь Виктора и Веры стала впоследствии знаменитой балериной Ириной Тихомирновой. Скажу тут сразу и о сыне Мальцева. Этот Вовка в детстве был отчаянный озорник. Вырос он красивым парнем, перенявшим лучшие черты обоих родителей: высокий, сероглазый, кудрявый, с такими

же тонкими чертами удлинённого лица, как у отца. В самом начале Великой Отечественной войны, в окружении, Владимир Мальцев был ранен в ногу. Военный хирург в каком-то сарае, отпилил ее обыкновенной пилой. Отлежавшись, Володя — а нога у него была отнята по пах, — хоть и на протезе, хоть и не в строевые части, все же добился возвращения на фронт...

Но до этого было еще далеко, очень далеко. А тогда собиралась у нас вся эта публика, вели разговоры — шуточные и серьезные, пели, смеялись, чаевничали, и главным лейтмотивом было: «А помнишь?..»

— А помнишь, Боренька, как мы с тобой под Царицыном от белых удирали? — начинал, к примеру, отец, и Россинский басом уточнял:

— Это ты про ту вынужденную посадку?

— Ну да! Понимаете, заело у него что-то там в моторе...

— Старая рухлядь, — как бы оправдываясь, ворчал Россинский.

— И сели мы, братцы, как раз позади позиций белых. Борис в моторе копается, а я с маузериком в руке зыркаю по сторонам — не наваливаются ли белаяки, — а они тут как тут! Человек с сотню.

— Ну уж, с сотню! Рыл тридцать и было-то!

— Какая разница! Но Россинский — великий маг по технической части — успел-таки привернуть какие-то там гайки.

— Просто бензопровод продул... вернее, спиртопровод — на спирту летали-то.

— Неважно, что ты там продул, важно, что белые уже совсем рядом, я уже их рожи различаю. Впереди офицер бежит, орет: «Не стрелять! Живьем возьмем!» Тут Борис как гаркнет: «К винту!» Крутанул я пропеллер, тарыхтелка залопотала, мы, как джигиты, вскочили в аэроплан, и поскакал он по кочкам взбесившейся кобылой. Те орут: «Стой, стой!» Куда! Взмыли мы в воздух, они — стрелять. Ничего, ушли, как видите.

— А помнишь, Сашич, как мы с тобой друг друга за шпиков приняли? — хохотнул Молотов.

— Когда это?

— Еще в Казани. Шел я на конспиративное собрание. Вечером. Казанские улицы тогда скудно освещались. Чувствую — кто-то за мной крадется. Я в подворотню, выглядываю — тень человека: филер! Проходит мимо, не заметил меня. Ну, думаю, выслежу-ка я сам шпика,

не все же им за нами таскаться... Придерживаясь мест потемнее, иду за ним. А тот тоже — в подворотню. Ага, хочет пропустить меня вперед! А у нас была такая с ними игра: круто повернуться навстречу преследователю, озадачить его — это нас ужасно веселило!

— Одним словом, столкнулись мы с Вечкой нос к носу! — не выдержал отец.

— Эх, Сашич, весь эффект мне испортил!

— А не растягивай...

Удивительные то были люди. Столько пережили — и не утратили жизнерадостности, не заважничали, даже оказавшись на ответственных постах. Сохранилось в них какое-то мальчишество, что ли. Любили шутку, розыгрыш — и вспоминали-то в основном смешное, забавное. Таково уж спасительное свойство человеческой памяти.

Как я теперь понимаю, в Москве мы жили с большими перерывами и не подолгу: отца направили на дипломатическую работу. Но всякий раз мы возвращались в нашу «Московущечку-старушечку», и встречала нас на советской границе ажурная серая арка с красными буквами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Недолгие месяцы на Большой Царицынской в памяти моей длились дольше, чем годы в городах Европы. Там было чужое, ненастоящее, временное — здесь свое, настоящее, постоянное. Эти месяцы в Москве были для всех нас истинным отдыхом, физическим и моральным.

Первый наш отъезд был в Германию, куда отец отправлялся лечиться, но я этого не помню. Помню уже только, как мы ехали во Францию, отец был в составе первого нашего посольства в Париже. Суматоха, чемоданы, дети. Наркоминдельский автомобиль с провожающим нас сотрудником пришел за нами вовремя, собрав вокруг себя, как обычно, кучу ребятишек с нашего и соседних дворов. Погрузились, тронулись. А на бульварном кольце — прокол! Пока шофер, ругаясь, менял колесо, и родители пререкались, и сестра редела, и я дрожала, не опоздаем ли, — действительно опоздали. Запыхавшись, со всеми чемоданами и узлами выскакиваем на перрон — а поезд уже трогается... На ходу покидали в вагон детей, вещи, маму, и мы, теснясь в коридоре, заваленные багажом, тряслись, что отец отстанет и мы уедем одни, без билетов и денег. Но, слава богу,

он уже вскакивает на подножку — в последний момент, там, где кончается перрон...

Только разместились в купе, разложили вещи, сели, отдуваясь, красные, потные, но счастливые, что все обошлось, — отец со смущенным видом стал похлопывать себя по карманам.

— Шуничка, что еще? — встревожилась мама.

— Билеты...

— Господи! Ты забыл их взять у провожающего!

— Нас теперь высадят? — забеспокоилась я.

Уже не помню, как там устроилось дело. Вероятно, по телеграфу подтвердили наши билеты, а может быть, послали вдогонку. Ведь тогда на границе стояли долго, чуть ли не целый день. Расстояние между рельсами в России шире, чем в Европе, и нужно было пересаживаться в другой состав, стоящий уже на «европейских» рельсах. Тогда еще не придумали менять оси с колесами под каждым вагоном, хотя и эта процедура занимает часа два. А тогда — представляете, пересадить весь поезд, да еще с таможенным досмотром! Мы успевали и погулять, и пообедать в столовой пограничной станции Негорелое — как сейчас помню запах борща и дощатый пол, засыпанный семечной шелухой...

Одним словом, нигде нас не высадили, и мы уже без приключений (хотя и еще с одной пересадкой) доехали до самого Парижа.

Но с тех пор и до сего дня я предпочитаю являться на вокзалы примерно за час до отхода поезда. Мало ли что!

Глава одиннадцатая

До 1924 года дипломатические отношения у Советской России были только с десятью сопредельными (за исключением Германии) странами. Пять из них — Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша — входили ранее в состав Российской империи. С Ираном отношения были давние, традиционные; Афганистан недавно обрел самостоятельность, скинув английское иго, и Советская Россия первой признала это новое государство в Азии. Монгольская революция произошла с товарищеской помощью Красной Армии, и с тех пор Монголия навсегда

стала нашим искренним другом. Германия и ее союзник Турция были побежденные в войне страны.

Но двадцать четвертый год стал годом признания нашего государства почти всей Европой.

Первых советских дипломатов подбирал, воспитывал и учил сам Ленин, считавший, что где-где, а в области международных сношений нельзя доверять никаким царским «спецам». Народный комиссариат иностранных дел комплектовался исключительно из большевиков. Чичерин, Литвинов, Воровский, Карахан, Красин, Аралов, Коллонтай и многие их товарищи терпеливо, но твердо проводили ленинский курс на мир, на сосуществование государств с различным социальным устройством и на самоопределение наций.

Итак, седьмой год существования Советского государства был весьма урожайным на признания его де-юре другими государствами. Первым — 1 февраля 1924 года — последовало признание СССР Англией. Случилось это под давлением английского пролетариата, требовавшего признать Страну Советов. Только что пришедшее к власти лейбористское правительство Рамсея Макдональда не посмело пренебречь этим требованием, хотя, конечно, оно было ему весьма не по вкусу. И долго еще, уже после официального установления нормальных отношений, это «рабочее» правительство торговалось с Советской Россией, прежде чем заключить нужные договоры.

Затем, в течение февраля и марта, были установлены дипломатические отношения с Италией, Норвегией, Грецией, Австрией, Швецией, а в июне — с Данией. В том же году нас признали Мексика, одно из арабских государств (впоследствии Саудовская Аравия). В Пекине было подписано Соглашение об общих принципах урегулирования вопросов между СССР и Китайской республикой.

Франция пока «держалась»...

Германия, на которую Версальский мир навалил тяжелейшие репарации, главным образом в пользу Франции, буквально голодала. Хитроумные промышленники Германии, и в первую голову рурский магнат Стиннес, организовали в стране глубокую инфляцию и «бегство» капиталов за границу, с тем чтобы представить Германию неплатежеспособной и вынудить уменьшение репараций. Тогда Франция, по приказу Пуанкаре, 11 января 1923 года оккупировала Рур, главный промышленный

район Германии, в виде залога и гарантии того, что репарации будут выплачены.

Советский Союз реагировал немедленно. 13 января ВЦИК обратился к народам всего мира с протестом против оккупации Рура, назвав ее преступлением. Наркоминдел направил германскому посольству в Москве ноту с выражением сочувствия.

Протестуя против оккупации, забастовали горняки Рура. Забастовка охватила 400 тысяч человек. И тогда разоренная, только что вышедшая из гражданской войны Советская страна, верная своему интернациональному пролетарскому долгу, отправляет в помощь горнякам Рура 100 тысяч рублей золотом, 1400 тонн ржи и еще два парохода с продовольствием! Шахтеры Донбасса и Урала провели сбор денег в помощь рурским товарищам...

А Англия и США — стремясь загрести жар чужими руками — выжидали, какую пользу можно будет извлечь из этой заварухи.

Между тем Германия бурлила. Пало правительство Куно, придерживавшееся проамериканской ориентации. Куно сменил Штреземан. В октябре 1923 года в Саксонии и Тюрингии возникли рабочие правительства. Под руководством Эрнста Тельмана восстал пролетарский Гамбург.

И уже вынырнула на политической арене зловещая фигура Гитлера. Правда, его «пивной путч» в Мюнхене еще никого не испугал и фигура его всем казалась скорее анекдотической и шутовской. Как поплатились Германия и вся Европа за такую слепоту! Жизнью пятидесяти миллионов человек оплачена она...

Но в 1923 году ничего этого еще невозможно было предвидеть.

Напуганная новым революционным подъемом, немецкая буржуазия пошла на соглашение с французской.

А в Америке в это время высиживали, под видом помощи Европе, «план Дауэса». Целью его было восстановить германский милитаризм, ослабить европейских конкурентов, пресечь гегемонию Франции, которая очень уж расхлябывалась после войны в Европе, установить собственную гегемонию, а главное, предупредить «большевизацию» Европы, повредить Советскому Союзу экономическим путем.

К исходу 1924 года Франция под давлением обстоя-

тельств решилась наконец признать это непонятное государство, обозначаемое какими-то непривычными инициалами...

Какие чувства испытывает человек, возвращаясь в страну, где он когда-то, совсем еще молодой, гонимый, искал убежище и способы продолжать святую борьбу, которой отдался весь без остатка?

Отец самоотверженно работал здесь на революцию, бедствуя, добывая себе пропитание тяжелым, случайным трудом, — и тосковал, тосковал отчаянно...

Тоска по родине! Нет, тот не может постичь этого злого чувства, кому не приходилось покидать ее. Это как ноющий больной зуб. Как сводящая с ума жажда в пустыне. Как задыхание утопающего. Есть у этой тоски приливы и отливы, но она постоянно с тобой, неотступная, все окрашивающая в серый цвет. К ней можно привыкнуть — говорят, человек ко всему привыкает, — но сильнее всего осознаешь ее, когда вновь ступаешь на родную землю. Стоит пересечь границу — и спадает с тебя какое-то, пускай уже привычное, напряжение, так легко становится и кажется — теперь-то уж ничего с тобой не случится, не может случиться, все хорошо, ты — дома! Звучит кругом родная речь, как торжествующая музыка, а там ты был словно глухой, так утомляли тебя звуки чужого языка, от них не было спасения...

Но бывает — полюбишь и чужую страну, если хорошо узнал ее, если оставил в ней частицу своей жизни. Полюбишь — как прелестную женщину. Родину же любишь, как мать. Совсем разные чувства!

Отец мой нередко говаривал, что готов во Франции хоть камни на дорогах бить.

И вот теперь он ехал во Францию уже не изгоем, не эмигрантом, а официальным представителем своей обновленной Родины. Думаю, его обуревали противоречивые чувства. Радость — да, несомненно, и благодарность к тем, кто его сюда назначил. Но вместе с тем, пожалуй, он испытывал и некоторое опасение — не рассеется ли та очарованность, которой окрашивались его воспоминания о Франции, о собственной бурной молодости?

Прошло четырнадцать лет, в них вместились так много. Империалистическая война, революция, интервенция с гражданской войной, образование Советского Союза, смерть Ленина... Россия изменилась так основательно,

что воспринималась уже как совершенно другая страна, более того, как другой мир.

А что изменилось здесь, во Франции, в этой классической стране буржуазной демократии?

По видимости — ничего. За окнами поезда, как и четырнадцать лет назад, когда отец ехал в обратном направлении, проплывали те же пейзажи с городками и деревнями. И в Париже — тот же вокзал с его гулким шумом и полутьмой, те же носильщики, и возбужденная толпа, и те же ажаны в синих пелеринах и цилиндрических каскетках, всегда расхаживающие парочками. Высокые, старинные дома, ущелья улиц. Такси, имеющие вид закрытых карет, но с открытым всем ветрам и дождям сиденьем для шофера, и то же запутанное, мрачное и грязное «чудо века» — старое парижское метро. Гудки, грохот, шарканье тысяч ног по тротуарам. Сияющие витрины модных магазинов и уютные маленькие бистро, зеленщицы со своими тележками, гамены. Все то же... Все то же?

Да нет, не совсем.

Наша революция «поработала» и здесь. Мало кого она оставила безразличным. Как некий мощный катализатор, она внесла расслоение и во французское общество. Вызвала у одних звериную к себе ненависть, у других — страх, у третьих — укоры совести за собственную пассивность, у четвертых — недоумение, непонимание. Но пролетариату, но рабочему классу Франции, этому традиционному бунтовщику, этому наследнику Парижской коммуны, она внушила надежду, бодрость, восхищение.

И еще важное изменение. Если до семнадцатого года во Францию стекалась преимущественно революционная эмиграция, то теперь, в неизмеримо большем количестве, сюда устремилась эмиграция контрреволюции.

Александр Яковлевич часто мыслил образами. И представлялось ему: неким исполинским поршнем из России выдавилось все ненужное для новой жизни, весь балласт, отходы, грязь. И, расплзаясь по Европе, эта вытесненная масса стремилась к одному центру — во Францию, которая сделалась как бы отстойником. Самые тяжелые, самые враждебные элементы оседали на дне, а то, что было полегче, всплывало на поверхность. Ведь среди толп, обозначаемых общим термином «белоэмигранты», не было никакого единства. Ярые монархисты во главе с великими князьями, каждый из которых мнил

себя наследником русского, давно сметенного престола; битые генералы, офицеры, создавшие целую армию — РОА; кадеты, милюковцы, сторонники Керенского, анархисты, наконец, просто обманутые, роковым образом ошибшиеся, жертвы своей аполитичности или семейных связей... Оставались еще и осколки русского экспедиционного корпуса, посланного сюда по требованию Франции во время мировой войны для военных действий против Германии. И жили здесь старые эмигранты, уехавшие из России задолго до революции и не имеющие с ней никакой связи.

Какая пестрота, какие сложные переплетения! И со всем этим придется иметь дело...

Понимание этого внушало Александру Яковлевичу немалую тревогу. Ибо какие же мы дипломаты?

Как это говорил, напутствуя отъезжавших, Чичерин? Мы и дипломатию нашу должны создавать заново. Это должна быть совершенно новая, на иных принципах построенная дипломатия. Нам скрывать нечего, напротив, нам необходимо как можно убедительнее и выразительнее выносить на суд людской наши цели, нашу политику, нашу правду. Сначала нас не поймут, конечно, будут подозревать в том, в чем виноваты сами, — в коварстве, подлости, стремлении к разбойному захвату...

И действовать придется совсем не в дипломатических условиях. Белогвардейцы в Лозанне убили советского дипломата Воровского, а власти буржуазной Швейцарии сделали вид, будто ничего не могут поделать: мол, это ваши внутренние счета, а наша хата с краю... Значит, за границей большевикам грозит опасность для жизни. Работать, быть бдительным, не поддаваться на провокации — и оберегаться от подобных «внутренних счетов». Да, трудненько будет! Ну ничего, время работает на нас, а мы, большевики, справлялись и не с такими трудностями! Теперь мы здесь защищаем пролетарскую революцию, здесь наш новый фронт и... новая воинская форма: фрак.

Господин Маклаков «со товарищи», представлявшие в Париже Временное правительство, оставили здание русского посольства в невероятном запустении. Вынужденные покинуть его, они вывезли все, что смогли; помещения были загажены, требовался основательный ремонт. Тем более что здание было выстроено в XVII веке

и приспособлено в основном для парадных приемов. Поэтому сотрудники советского посольства поселились пока на временных квартирах.

Наша семья сняла комнату в маленьком пансиончике. Хозяйка его, мадам Маршан, была дородная женщина с черными усиками, энергичная и непринужденная в манерах. Она умела громко, всласть браниться и с таким же сердечным удовольствием громко смеяться или, допустим, преувеличенно ужасаться чему-нибудь. Мадам Маршан обладала добрым сердцем и не очень большим состоянием, заключавшимся в маленьком тесном пансионе, который она с изобретательностью и вкусом истой парижанки сумела сделать удобным и уютным. Скажем, окно нашей комнаты на третьем — самом верхнем — этаже выходило на крышу более низкой пристройки. Мадам Маршан развела на этой плоской крыше садик, этакие висячие сады Семирамиды в миниатюре, и яркие цветы придавали нашей темноватой комнате приятный вид. Внизу, в длинной, узкой и тоже темноватой столовой, не было общего стола, как то водится в других пансионах; нет, мадам Маршан поставила вдоль стен маленькие столики на двоих-троих и над каждым повесила лампочку под красным абажуром. Она была великая труженица, эта «капиталистка». Случаются там и такие. А как готовила! До сих пор помню — хотя и не знаю, как оно называется и из чего сделано, — невероятно вкусное блюдо, запеченное в больших раковинах...

Посольское здание на улице Гренель сменило уже двух хозяев. Первые — царские дипломаты — владели им чуть ли не с петровских времен. Вторые, представители Временного правительства, промелькнули на дипломатической сцене быстролетными тенями. Теперь сюда въезжали третьи, уже постоянные: посланцы Советского Союза.

Посольство смотрело на улицу Гренель через узорную ограду, отделявшую тротуар от квадратного, усыпанного гравием двора. Часть здания, замыкающую двор напротив ограды, почти целиком занимал парадный зал с высокими, от пола до потолка, окнами-дверьми, столь характерными для французской архитектуры; боковые крылья здания подходили к самой оgrade.

14 декабря 1924 года прохожие могли видеть такую картину: во дворе собралась небольшая кучка людей. На ступеньках, ведущих к окнам-дверям, стоял худощавый человек с остроконечной седой бородкой.

Худошавый человек — Лев Борисович Красин, только что назначенный полномочным представителем СССР во Франции, — снял шляпу и заговорил:

— Свершилось чудо! Страна нищих и разоренных оказалась победительницей всех своих врагов, и вот красное знамя, которое было знаменем французских коммунаров, будет теперь официально развеиваться над нашим посольством... А подлинное знамя Парижской коммуны, спасенное от Кавеньяка, французские рабочие передали рабочим Москвы, и те этим летом отнесли это знамя в Мавзолей Ленина.

Тут все закричали: «Ура!» По флагштоку пополз кверху красный флаг со звездой, серпом и молотом. И когда он добрался до верхушки флагштока, грянул «Интернационал»; я не знала тогда, что играл оркестр французских коммунистов. А мы пели — дружно, громко, даже вызываяще. Тогда ведь каждый ребенок знал наизусть этот героический гимн, пускай даже не понимая значения некоторых слов.

Я сидела на плечах отца, и у меня, пятилетней, от звуков этой песни, от вида развернувшегося по ветру родного флага в груди несказанно прекрасное и высокое чувство гордости, преданности и любви и к флагу, и к «Интернационалу», и к этим малочисленным людям, товарищам моих родителей.

За узорной оградой давно маячили, как бы прогуливаясь, подозрительного вида господа, косо поглядывая на то, что происходило во дворе посольства.

— Шпики! — шепнул мне отец.

Что такое шпики, я знала. Почти каждый вечер, укладываясь спать, я требовала, чтобы папа рассказывал мне о своей подпольной и военной жизни. Эти рассказы мы называли «быльками».

— Шпики нас не арестуют? — забеспокоилась я.

— Рады бы — да не могут! Вон как смотрят, прямо волки... Да им теперь нас не достать! Теперь мы — сила!

Когда мы запели «Интернационал», на улице стали собираться любопытные. Еще бы! Их, французский, пролетарский, запрещенный гимн вдруг в полную силу зазвучал в Париже! Только поют его на незнакомом, не французском языке.

Полицейские принялись разгонять народ...

Затем последовали приемы, банкеты и, наконец, официальный новогодний прием у президента Франции Думерга. Сохранилось довольно подробное описание этого

приема в очерке отца «Москва — Париж». Поэтому, не мудрствуя лукаво, просто приведу часть этого очерка, написанного по свежим следам.

«По стенам зала толпились расшитые мундиры, фраки, сюртуки — основной тон толпы: золото на черном... У большинства в руках либо треуголки, либо цилиндры. Лишь турок был в феске да перс — в бараньей шапке. Маленькие японцы, расшитые золотом, высокие англичане, удушенные высокими белыми воротниками, американцы, тихие, независимые, в черном. Немного испуганное лицо мексиканца. Черный негр. Поляки, латыши, финны, как молодые практиканты, берущие уроки дипломатии. Папский нунций в бордовом облачении, бордовой шапочке, в бордовых перчатках, в очках. Лицо у него простое и веселое. Может быть, это оттого, что он будет произносить речь от всего дипломатического корпуса — президенту. А рядом с китайцем, в отдалении, косясь в нашу сторону, — двое: представители Грু-зни...

Сначала по стенам вспыхнули люстры.

Потом — три огромные люстры у потолка. Чей-то голос в глубине зала громко сказал:

— *Monsieur le président de la Republique!* *

Все еще более подались к стенам, будто из середины зала развернулся порыв какого-то дуновения.

В правом конце зала появился низенький старичок с благородной осанкой, с выдающимся несколько, породистым, аристократическим затылком. Седовато-серые волосы, усы по-английски, немного как у Ллойд Джорджа, без бороды. Сероватый цвет лица и несколько прыщиков на нем. В черном сюртуке, который не блестит, а кажется каким-то поблекшим, но сохраняющим все свои высокие благородные качества.

Как только президент вошел и стал, перед ним появилась бордовая ряса нунция.

Старейшина дипломатического корпуса, папский нунций, монсеньор Черетти, поздравлял президента республики с Новым годом и выражал от имени дипломатического корпуса пожелание, чтобы настоящий мир, основанный на справедливости и уважении к праву, воцарился в новом году на свете. Еще много осталось работать для того, чтобы восстановить все разрушения, и для преодоления всех многочисленных препятствий не-

* Господин президент республики! (Фр.)

обходима международная солидарность, постоянная взаимная любовь.

В общем речь выражала уверенность в том, что и в настоящем году Франция будет так же процветать и укреплять всеобщий мир.

Нунцию отвечал президент. Он тоже прочел по бумаге свою речь.

Идеалом Франции, сказал он, к осуществлению которого он прилагает все меры, является консолидация мира международными соглашениями, организация арбитража, который заменит разрешение конфликтов кровавым путем, обеспечение безопасности, необходимой всем народам для мирного развития, уважение к политическим и экономическим трактатам, поддерживающим мир.

Необходимо, чтобы каждое отдельное правительство искренне работало бы на пользу всеобщего мира. В истекшем году Франция показала в этом отношении пример, разрешив вопросы, затрагивающие ее жизненные интересы, в духе справедливости, примирения и той человеческой солидарности, о которой упоминал в своей речи нунций.

Он кончил речь. Тишина наступила, тотчас же нарушившись не то шорохом, не то страстным шептанием, как будто шепчут секреты. Это президент начал, сопровождаемый всеми министрами, обходить послов, здороваясь с каждым за руку и говоря одно-два слова...

За президентом шли министры. Каждый из них по-разному улыбался, по-разному кланялся, по-разному пожимал руки. Всех равнодушной и холоднее был министр военный в простом сером френче, очень скромном. Он производил впечатление человека, у которого болят зубы, но он сдерживает боль.

Министр внутренних дел Шотан вопросительно смотрел, когда пожимал руку, на каждого.

Министр финансов Клемантель был тих в движениях, важен, красив собою, в поклоне его была та особая деловитость, которая присуща людям, не умеющим много разговаривать, людям дела. Может быть, от этого его поклоны, когда он здоровался, походили на поклоны прощания. Будто он уходил. И я видел по его походке, как, подходя к каждому, он своим поклоном прощался и уходил.

А в общем все почти министры были в сюртуках. Все скромны, не блестящи, то есть без золота, галунов, ме-

далее, красных и голубых лент. Зато среди всего раззолоченного собрания они блистали тем особенным демократизмом, гражданством, каким блещут самые высокие аристократы страны, давшей истории Декларацию прав человека и гражданина.

Но все непременно должны были улыбаться, потому что ведь только что была произнесена речь о всеобщем счастье человечества под заботливым демократическим покровом Франции, представленной такими скромными сюртуками. Это ученое, университетское правительство, даже не правительство, а скорее президиум академии наук, и притом вовсе не тех наук, которые вырабатывают удушливые газы, а наук о том, как превратить Европу и Америку в милый детский сад, где все любят друг друга и дарят друг другу конфеты и игрушки.

Из собрания никто не возразил на речи о мире всего мира. Нунций говорил от имени всех. И каждое государство в лице своего посла получило в лице Думерга приятную улыбку себе. И послы отвечали улыбками. Даже министру финансов Клемантелю американский посол пожимал руку не как представителю французского долга Америке, а как милому, доброму знакомому. Английский посол, правительство которого солдатским сапогом врезалось в Кёльн и не хочет уходить, тоже делал улыбки мира. И испанец, соотечественники которого уже несколько месяцев проводят в боях с марокканцами, тоже жал руку во имя мира. Сам Думерг, глава Франции, прочитавший о мире и горячо, по-равному пожавший руки всем, как будто запечатывал, что французские пушки на берегу Рейна смотрят черными глазами на немецкую землю и что только совсем недавно французский парламент вотировал военные кредиты.

Как хороши улыбки мира. Как горячи, сердечны были рукопожатия.

И люди, послы, которые стояли по стенам, после этого казались существами без ушей и без глаз. Казались каменными. Не люди, а сплошная золотом расшитая стена, и по ней, как тень сделанного из пальцев зайчика, прыгала мирная улыбка Думерга. Улыбка-тень. Улыбка нереальная...»

На советское посольство сразу набросились разного рода дельцы, коммерсанты, попрошайки — и даже покупщики целых пароходов бывшего общества РОПИТ.

Приходили желающие репатрироваться в Россию; на щедрые посольские банкеты разоренной страны являлись великосветские снобы — из любопытства; крупные промышленники и банкиры, чающие рынка сбыта; бывшие акционеры, хлопочущие о возмещении за национализацию их предприятий в России; правительственные чиновники, закидывавшие удочку насчет возвращения денег по царским займам; наконец, просто проходимцы — поесть черной икры, да и в карман сунуть вкусные вещи...

Все эти сложности, весь этот хаос послевоенного, послереволюционного мира обрушились на наших дипломатов.

И надо было «пробивать окно» к общественному мнению через прессу. Это и было задачей Бюро печати посольства, которое возглавил отец.

В образном представлении Аросева работа его походила на распутывание пряжи, безнадежно сбившейся в комок. Найти конец нити, осторожно потянуть, чтобы не порвалась, не захлестнулась, расслабить узлы, разглядеть, в какие петли продет конец нужной нити. Терпение, осмотрительность, легкость движений... А руки, а пальцы не привыкли к такой мелкой, тонкой работе. Учиться приходилось на ходу, а это требовало огромного напряжения и мысли, и нервов.

Но отец обладал и необходимым для такой учебы упорством, и счастливым свойством привлекать к себе людей. Привлекать непринужденностью, с какой он умел держаться в любом обществе, юмором, способностью понять собеседника, остроумно парировать нападки. К тому же он прекрасно говорил по-французски.

Благодаря всему этому он вскоре нашел контакт с французскими журналистами, что и было его первой задачей. Уже через месяц он послал в Наркоминдел свой первый отчет: есть связь с газетами «Эр нувель», «Эксельсиор», «Эвр»! Встретившись несколько раз с сотрудником «Эр нувель» Луи Мерлэ, Аросев договорился с ним помещать в этой газете сообщения, «продиктованные нами», но как бы и «не от нас исходящие». Соредактор газеты «Эксельсиор» Марсель Раюс, писал в отчете Аросев, «вызывал меня на некоторые авансы, но, имея разноречивые сведения о личности этого журналиста, я ограничился устными авансами, никого ни к чему не обязывающими...».

Постепенно поле деятельности Бюро печати расширялось. Не довольствуясь одной французской прессой, отец

устанавливает личную связь с Лондонско-Парижским телеграфным агентством, убедив его директора Макри публиковать экономическую информацию из СССР, на которую сразу возник большой спрос.

Бюро печати организовало интервью посла Красина бельгийскому журналисту Морису де Сория, который и опубликовал его добросовестно. Это обстоятельное интервью сыграло значительную роль в развитии бельгийско-советских отношений.

Наметились контакты с венгерскими и румынскими журналистами. А однажды Аросева посетил даже представитель арабской газеты из Танжера. Он интересовался точкой зрения СССР на мир и на самоопределение наций. Тут уж отец многое мог сказать!

Работа разворачивалась, дел было по горло...

Бюро печати обязано было ежедневно сообщать послу Красину о содержании газет. И еженедельно посылать аналогичную информацию в Отдел печати Наркоминдела, причем эти сводки должны были освещать важнейшие в ту пору проблемы, а именно: об отношениях между Францией и Англией, а также между Францией и Малой Антантой, в которых было немало неясного и спорного; далее, о Прибалтийских странах, так называемых «лимитрофах», или «санитарном кордоне», который буржуазная Европа воздвигла вокруг СССР; о колониальном вопросе; и наконец, о внутренней жизни Франции, ее экономике, позиции отдельных партий и т. д.

Для этой цели Бюро печати выписывало французские и русские заграничные (то есть эмигрантские) газеты, центральные советские органы печати, французские и русские журналы и книги. Кроме того, для информации французской прессы о жизни СССР Бюро печати должно было регулярно, каждые два-три дня, выпускать бюллетени на французском языке.

И на все про все в штате Бюро печати кроме заведующего (Аросева) было три референта, один переводчик да две машинистки!

С каким же напряжением должны были все они трудиться!

Отца мы практически не видели. Он приходил домой поздно ночью и сразу, в полном изнеможении, валился спать. А с утра опять исчезал. Лишь иногда, по воскресеньям, он имел возможность перевести дух в кругу семьи. И часто говорил: «Да, брат, камни-то бить на дорогах куда легче...»

К тому времени мы жили уже в заднем крыле посольского здания, кое-как приспособленном под жилье для сотрудников. Отдельных квартир не было — были отдельные комнаты и просторная общая кухня, в которой жены сотрудников и сотрудницы готовили еду на примусах, как в московских коммунальных квартирах.

...Мама стояла перед зеркалом в новом черном крепдешиновом платье, сшитом по тогдашней парижской моде, без рукавов, без ворота, без талии, до колен. Подол был разрезан на продольные полосы, оканчивающиеся треугольниками, и на каждом треугольнике нашита крупная роза из черной муаровой ленты. При ходьбе эти полосы колыхались, открывая черный атласный чехол. В этом изысканно-простом туалете мама была удивительно хороша со своими большими карими глазами и орлиным носом; ее коротко стриженные прямые каштановые волосы прикрывали уши, словно шлем. Мама была маленькая, но довольно полная; только лицо ее оставалось удлиненным.

— Ольга, что ты делаешь? — вскричал вдруг папа.

— Я ничего... Просто немножко подмазала губы.

— Смажь сейчас же! Этого еще не хватало.

— Но, Шунчик, все дамы...

— Ты не дама, а сотрудница советского посольства. И вообще — тебе это не идет!

Маме это действительно не шло, накрашенные губы простили ее лицо. Она безропотно стерла помаду.

Они ушли на какой-то очередной прием, оставив на меня полуторагодовалую сестру Елену. И разумеется, этот ребенок, спавший при маме как убитый, теперь проснулся и поднял рев. Она орала и орала, уже и слез у нее не было, только пронзительный крик, и я ничего не могла с ней поделать. Я ее укачивала, брала на руки, пела ей... Нет, колыбельных я не знала; мама, усыпляя ее, напевала полусонным голосом:

Белая армия, черный барон
снова готовят нам царский трон...

До сих пор от слов этой боевой песни мне вспоминается темная спальня и мамин сонный, монотонный голос.

Когда я была уже в полном отчаянии и готова была задушить капризницу, к нам поднялась мадам Маршан

(мы еще не переселились в посольство). Я тогда не умела говорить по-французски, но мадам Маршан и без слов поняла, в чем дело, взяла у меня Елену — и та мгновенно замолчала!

Вскоре вернулись родители, мадам Маршан передала ребенка маме, со смехом что-то объясняя. А я стояла в сторонке, раздосадованная тем, что не справилась с такой важной задачей, и чувствовала себя как бы лишней — а это очень тягостное чувство. Папа мгновенно заметил мою обиду и, пока мама занималась Еленой, заговорил со мной:

— Что нахохлился, Воробышек?

— Да, почему она у меня не хотела замолчать, а у нее сразу утихла? Мадам Маршан ведь чужая.

— Как тебе объяснить... Видимо, младенцы сразу чувствуют, чьи руки их держат — такие маленькие, неопытные, как твои, или взрослые.

— А я так старалась!

— Верю. Ну, теперь все прошло — живей в постельку, а я тебе быльку расскажу!

Папа всегда умел утешать. Досаду мою как рукой сняло, я моментально улеглась, и папа, прямо во фраке, подсел на мою кровать и стал рассказывать. Что именно, я уже не помню — сразу заснула.

Мама действительно поступила на работу в полпредстве, кажется, секретаршей, не помню. Это вызвало необходимость выписать бабушку для присмотра за нами, детьми. Бабушке было в ту пору всего пятьдесят с небольшим лет. Стройная и сильная, как в юности, с горячими черными глазами, неграмотная, но умная и насмешливая, она поражала своей приверженностью к старушечьей одежде. Вечно ходила в очень чистом, но бесформенном сером платье до пят, в вытянутой вязаной серой кофте и в платке, стянутом под подбородком. А волосы у нее были густые, черные, как вороново крыло. Одеть ее по европейски — поспорит с любой красавицей!

Эту бабушку, тоже Марию, как и мать отца, но с другим отчеством — Петровна — я ввожу не только из чувства справедливости (если писала об одной бабке, надо же хоть несколько слов сказать и о другой), но и потому еще, что, во-первых, она была фигура колоритная, а во-вторых, присутствие ее выявляло кое-что и в характере отца.

Марию Петровну называли цыганкой, но цыганкой она была только наполовину. Некогда чистокровный цы-

ган Петр Шумилка бросил родной табор, отчаянно влюбившись в голубоглазую и золотоволосую русскую девушку Василису. Василиса была простой крепостной крестьянкой, но так велика была любовь цыгана, что он — вольный сын степей! — добровольно стал крепостным, только чтоб жениться на ней. Недолго, однако, прожили они: умерли оба в один год от какой-то эпидемии, оставив десятилетнюю дочку Марию. Пошла сиротка в соседний город, Вышний Волочек, на парфюмерную фабрику — флаконы мыть. Потом в прислуги нанималась. Так и попала в дом казанского прокурора Вячеслава Валериановича Гоппена. Родила от него дочь Ольгу.

С зятем, Александром Аросевым, у Марии Петровны отношения сложились не то чтобы враждебные, но почему-то скорее иронические. Он называл ее «мадам де табór», с ударением на последнем слоге — на французский манер; она его — попросту — «каторжник» и «арестант»: намек на те времена, когда отец мыкался по царским тюрьмам и ссылкам. Ни тот, ни другая на прозвища не обижались, и перепалки их носили юмористический характер. Серьезных споров не происходило, хотя отец и бабушка были людьми прямо противоположного склада. Если Марии Петровне бывало что-то не по вкусу, она выходила за дверь и там отводила душу, произнося в пространство что-нибудь язвительное. После чего, как ни в чем не бывало, возвращалась в комнату. Она и к дочери своей, моей матери, относилась с иронией, а потом перенесла это отношение и на выросших внушек. Не забуду, с какой насмешкой во взоре, но молча наблюдала бабушка впоследствии, как я по утрам делаю зарядку. Взгляд ее словно говорил: «Чем руками махать, полы бы помыла!» В ее характере, как, впрочем, и в характере всего семейства большая была доза актерства. Бабушка нашла для этого свойства — как в металле отчеканила — емкую формулу: «Встаю в балагане, ложусь в балагане»...

Два человека поднялись по кривым улочкам на холм. Отсюда открывалась панорама Парижа, всегда завуалированного сиреновой дымкой, и долетал сюда смутный, слитный гул огромного города. А здесь тихо. Здесь кладбище. Знаменитое Пер-Лашез.

Отчего так бьется сердце — от подъема? Нет. В бытность Александра эмигрантом в Париже, когда он был

молод и сердце еще было здоровое, всякий раз сильно билось оно, когда поднимался сюда. Потому что вот они, уже видны в своей каменной стене, тени расстрелянных.

— Здесь, правда, тоже расстреливали — где только тогда не убивали коммунаров! — говорил спутник Александра Яковлевича, смуглый невысокий француз с резкими и твердыми, будто тоже из камня высеченными чертами лица — сотрудник «Юманите». — Но эти, — он показал рукой на стену, — пали не здесь. Ведь это не просто символические фигуры: это изображение реальных людей, убитых в мае 1871 года на улице Розье у дома номер 6. На Пер-Лашез их только зарыли в общей яме, без могилы, без имен. Скульптор Моро Бантье был очевидцем расправы. И позже, когда кладбище обносили новой кирпичной стеной, он упросил муниципалитет оставить для него кусок старой стены. И высек здесь лица, которые запомнил в момент их смерти.

Аросев, взволнованный тем, что видит навек запечатленные черты тех легендарных, но реальных героев, приблизился. Вот один: спокойное лицо, окладистая борода, широкая рабочая блуза, складки ее уходят в серый камень. Знает, за что умирает. Рядом — молодой, рвет рубаху на груди: стреляйте, гады! Пала на колени женщина, в смертном крике разинут рот, а там, где должно быть ее сердце, — ямка от пули... от настоящей! Вся стена рябая от пуль, следы их сохранили. И дети! Двое на руках матерей, третий, мальчик постарше, стоит на своих ногах, и глаза его — какие они были — голубые? карие? — теперь они цвета камня... — глаза его уже все понимают, только ничего, ничего не может изменить этот мальчик, убили его.

И еще — лица, руки, силуэты тел. Они как бы силятся выйти из камня, хотят ожить, дожить, досказать недосказанное. Но камень сковал их, держит, утопил в себе.

Бантье высек внизу стены изречение Виктора Гюго: «То, что мы хотим от будущего, то, что мы требуем от него, — это справедливости, а не мести...»

И невольно подумалось Александру Яковлевичу: кто же, когда же и где воздвигнет нечто подобное в память погибших за нашу революцию?

— Давайте посидим, — предложил французский товарищ, заметив волнение советского дипломата.

Сели на скамейку в скверике неподалеку — так, чтобы видеть стену Коммунаров. А кругом пестрела живая

жизнь. Здесь было много играющих детей с няньками, боннами, родителями. Это успокаивало и навевало грустные мысли: какой контраст между этой юной, беспечной жизнью и тем, что скрывает кладбищенская ограда.

Помолчали.

— «Справедливости, а не мести...» — глухо проговорил Аросев. — Какое высокое... нравственное... — Он не закончил фразы, вдруг поняв, что нет в человеческом языке определения для того, что рвалось из его души. — Ах, я всегда знал, и говорил, и утверждаю со всей страстью — революция всегда благородна! И как низки, вероломны, лицемерны и... ограничены ее противники!

— Собственность — это кража, сказал Маркс, но собственность — еще и убийство, иногда быстрое, иногда мучительно медленное... Причем убивает она не только тех, кто ее лишен, но и душу самих собственников.

— Моя жена как-то сказала, — вспоминал Аросев, — что поработанные собственностью — уже не люди. Какой-то психологический сдвиг, разрушение человеческой личности...

— Да. Ваша жена права. Вероятно, это психически больные люди. Быть может, их надо лечить.

— Они опасны, как буйные сумасшедшие. Сумасшедших изолируют.

— Не забывайте — «справедливости, а не мести»! — воскликнул французский товарищ.

— Да, но: что есть справедливость? Это ведь тоже классовое понятие! И справедливость прежде всего в том, чтобы не забывать. А давайте спросим здесь любого ребенка — ибо на детей в первую очередь надо распространять память о прошлом! — спросим, знают ли они, о чем говорит стена Коммунаров?

Спросили.

Один мальчик, помявшись, сказал:

— Ничего я не знаю... — и убежал.

Девочка постарше уверенно ответила:

— Это были злые люди, они нарушили закон. Так им и надо.

— Кто тебе сказал?

— Няня.

— Значит, и тот мальчик, и те маленькие дети — тоже нарушили закон? Их тоже надо было убить?

Девочка смутилась, с обидой посмотрела на странного взрослого, отошла степенно — маленькая филистерка.

— Ну, это не характерно,— словно оправдываясь, пробормотал француз.— Это все дети из буржуазных семей.

— Вот мы и возвращаемся к вопросу о нравственности революции и безнравственности, лживости, трусости ее противников. Ради сохранения собственности, а значит, и власти готовы предать, обмануть весь мир, даже собственных детей...

Свидание со стенами Коммунаров наваяло на Александра Яковлевича много самых неожиданных мыслей. Ну хорошо, Виктор Гюго требует справедливости, а не мести. Не мести — согласен! Но справедливости — какой? К кому? Как это представлял себе великий писатель?

Интересно, живи Пушкин в наше время, на чьей был бы стороне? Неужто испугался бы собственного народа? Нет! Не должен бы — по всей его высоко летящей мысли... Мысль Пушкина, его дух витали где-то гораздо выше его современности, они парили над тогдашними понятиями, и с этой высоты как далеко было ему видно... Разглядел же он «звезду пленительного счастья»! С такой верой писал, что «Россия вспрянет ото сна». Боже мой, какая емкость в простоте! Воспрянет ото сна — значит, не мертвая — спящая Россия! Не лежит задушенная — спит, и таятся под этим сном такие силы, что, когда проснется... Проснулась! Как много сказано у Пушкина каждым словом. Например, это: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык...» Не говоря о пророческом видении, как точно: «ныне дикой» — значит, дикость-то эта временная, преходящая, теперь тунгус дикий, а потом станет в ряд культурных наций.

Ах, Пушкин, солнце наше, Пушкин!.. И как это здорово написал Багрицкий:

Я мстил за Пушкина под Перекопом,
Я Пушкина через Урал пронес,
Я с Пушкиным шатался по окопам,
Покрытый вшами, голоден и бос...

Нет, с нами, с нами был бы великий поэт!

Глава двенадцатая

Александр Яковлевич любил ездить в поезде. Любил стоять в коридоре, высунувшись в открытое окно, и смотреть, смотреть, хотя и рисковал при этом получить уголек в глаз. Но ему нравилось чувствовать движение, а когда на плавных поворотах выдвигались, становясь видимы, паровоз и передние вагоны, он испытывал странное ощущение: стою неподвижно — и стремительно движусь... «Покой в стремленье, покой в стремленье», — скандировал он про себя в такт перестуку колес. Ветер, пахнувший паровозной гарью, забивался ему в ноздри, давил на веки, не давая им как следует раскрыться, но это даже уменьшает опасность засорить глаза угольками из паровозной трубы.

Господи, домой, опять домой! Пускай дома жизнь бедна, скудна, пускай европейский комфорт позади, зато — домой, домой! И бедный дом — все дом!

А наш уже поднимается из руин. Но какие невероятные, нечеловеческие трудности стоят перед нами! Как это говорил Владимир Ильич, легче завоевать власть, чем удержать ее? Мы — остров в безбрежном море вражды. Да и внутри беспокойно — то и дело появляются новые спорщики, то «военная» оппозиция, то «рабочая», то еще какая... Впрочем, закоперщики всех этих оппозиций одни и те же. И все же — собаки лают, караван идет! Идет! Хорошо, что был у нас в самые трудные годы Ленин — не побоялся ввести нэп. Был ли другой выход? А был ли другой выход в Брест-Литовске? Предвидел ли Ленин, что это — ненадолго? Всего полгода просуществовал этот зверский договор, и что же? Те, кто его нам навязали, выброшены на свалку истории. Ленинской смелости, его способности видеть дело таким, как оно есть, а не таким, как хочется, обязаны мы тем, что уже меняется, меняется лицо страны. Начата электрификация. Заработала Кашира. На плакатах, в газетах новые слова: индустриализация! Кооперация! Заем! И уже поговаривают о разработке плана на целых пять лет. Плана! То есть организации хозяйства именно по социалистическому принципу, по заранее продуманным критериям. Конец хаосу в экономике.

Многие не понимают. Но ведь экономическая мощь государства — одно из средств защиты. Это средство по-

сильнее открытых боев, потому что оно не разрушает, а созидает. Другое средство защиты — наша дипломатия, стремление сохранить мир, мир и выгодную торговлю. Да, пожалуй, всю нашу жизнь придется нам отстаивать свою власть.

А страна меняется. Когда подолгу отсутствуешь, перемены резко бросаются в глаза. Это как с людьми. Знал ребенка — а через несколько лет он уже юноша.

И думал Александр Яковлевич о том, что жизнь у него сложилась беспокойная, бродячая. С ранней юности, уже почти два десятка лет, все не остановится. Ссылки, побеги, эмиграция, нелегальные переходы границ, мотание по фронтам гражданской войны, и вот теперь — дипломатическая работа. Едва обживешься на одном месте — снова в путь.

Рига, Париж, Стокгольм. За пять лет — три страны. И — забавно! — каждый из этих этапов отмечен появлением новой дочери. В Риге была одна Наташа. В Париже уже была с нами Леночка. В Швеции в детской появилась еще и маленькая Оля.

Вся жизнь на колесах. Чемоданы, вагоны, дети...

«Сейчас едем из Швеции, где я был секретарем посольства, — вьются под стук колес мысли Александра Яковлевича. — Весна кончается... А туда ехали через зимнюю Балтику. Штормило, ледокольный пароход мотался как пьяный, всех укачало в лежку. Ночью в открытом море терпели бедствие рыбаки — стали спасать. Долго не могли принять на борт людей с разбитой лайбы — волны швыряли обе посудины вразнобой. Спасли! А на берег вышли — земля под ногами качается. Стокгольм... Суров, красив, холоден. Сразу вспоминаешь Песню варяжского гостя: «О скалы грозные дробятся с ревом волны».

Удивительная страна. Монархия, но — демократические формы жизни. Короля, этого высокого худощавого старика, каждый день можно видеть на улицах Стокгольма: идет себе, обыкновенный прохожий, ракеткой помахивает — в теннис играть. О нем поют насмешливые песенки, карикатуры рисуют, но любовно, как о некоем национальном талисмане, что ли. Нейтральная страна. Сколько лет не воевала? А ведь когда-то шведы терзали всю Европу, при сумасшедшем мальчишке Карле XII, этом берсеркере*. Быть может, тогда-то и истратила

* В нордических мифах — одержимый вонтель.

Швеция всю отпущенную ей воинственность — и утихомирилась. Так бывает с человеком: отгорит в какой-то неукротимой страсти — и погаснет. И уже не зажечь его: в душе только пепел да зола. Впрочем, этот шведский нейтрализм был на руку тем, кто вынужден был бежать из царской России. Там был спасительный берег. Сам Ленин жил в Стокгольме...

Страна лесов, озер, мшистых валунов. Лесорубы, рыбаки — и «стальной» король. Черный город в Заполярье, Кируна — столица горняков. На юге знаменитый Уппсальский университет. У каждой кухарки, у каждого школьника — свой велосипед. Много спорта... Прекрасные школы, здоровые дети. Незамужние матери пользуются таким же уважением, как замужние, нет понятия «внебрачный ребенок». Все законно. Все мирно.

Но отчего же, бог мой, столько самоубийств?!»

Слишком недолго прожил Александр Яковлевич в Швеции, чтоб постигнуть ее душу. Разгадать ее загадки. И вот он покидает этот край для иного, где совсем другая жизнь. Опять перестраиваться. А как трудно было после нервно-кипящего Парижа привыкнуть к корректной холодности Стокгольма! Впрочем, француз пылает и блещет — до утомительности! — только внешне; внутренне он весьма трезв и расчетлив. Швед — наоборот: спокоен внешне, молчалив, а внутри что-то играет. Озорство? Удаль? Не познал, не угадал...

Теперь Аросеву предстоит Литва. Уже — в ранге полпреда, то есть человека, ответственного за все, что произойдет в отношениях между этой страной и его.

Кажется, его предшественник там наломал-таки дров. Начать с того, что отказался пойти на новогодний правительственный прием: он, видите ли, коммунист и не желает кланяться фашистам. Ну хорошо, действительно в Литве недавно произошел фашистский переворот. И ты действительно коммунист. Но ты же ведь еще и дипломат! Твое дело — всеми силами налаживать мирные отношения, и тут спрячь свое самолюбие поглубже! Да, гибкости недостает кое-кому!

Надо справиться в Наркоминделе, что за человек премьер и министр иностранных дел Вальдемарас. Или Вольдемарас? У них споры с Польшей. Польша отхватила треть территории Литвы со столицей Вильно и не отдает. Столица теперь в Ковно, по-литовски — Каунас. «Каунас пока у нас», — сложился каламбур; Александр Яковлевич усмехнулся ему. Да, Литва, Польша, Рос-

сия — как далеко в глубь веков тянутся нити их отношений — то союзничества, то соперничества!

Семью оставит пока в Москве: Наташе пора в школу. А Ольга, жена... Разладилось что-то между ними. Только думать об этом сейчас не хочется. Вон она сидит в купе, опершись локтями на столик, тоже смотрит в окно, только в другую сторону. Александру Яковлевичу виден ее упрямый затылок и такое же строптивое плечо. О чем она думает?

А колеса стучат, стучат: «Покой в стремленье, покой в стремленье...» Спешит, пытит паровоз, расстилает по перелескам черный дым, который цепляется за деревья, хочет удержать, остановить бег поезда. Не остановишь! И вот — Москва!

Дети прыгают в нетерпении, вырываются из рук, общее возбуждение всего вагона...

Площадь трех вокзалов оглушила беспорядком, гомоном толпы, лязгом трамваев, криками извозчиков, та-рахтеньем телег по булыжникам.

Автомобиль Наркоминдела стонет, бедный, под тяжестью трех взрослых и трех детей — и чемоданов, кофров. Неужто осилит, довезет?

Довез! Не развалился — чудо...

Еще издали, чуть ли не от Zubовской площади, завиднелась, приветствуя их, колокольня Новодевичьего. Промелькнула слева аптека, в ее единственном широком окне по-прежнему шары с ярко-красной и ярко-синей жидкостями — старый опознавательный знак российских аптек. Справа проплыл бронзовый Пирогов в своем кресле, он так задумался над черепом в руке, что и головы не повернул.

А вот и дом! Сердце, сердце, не надо так. Что особенного, ну, вернулись... Не в первый и не в последний раз.

Выгрузили вещи на тротуар, машина уехала. Семи-летняя Наташа побежала звать на помощь Шуру — ее оставляли в Москве сторожить квартиру. Наташа, ликуя, вбежала в знакомую калитку в высокой ограде (вход в дом со двора), но почти сейчас же вернулась с какой-то растерянностью в лице.

— Ну что, Воробышек? Где Шура?

— А Шуры нету дома. И дверь заперта...

Вот так приехали!

— Боже мой! — хлопнул себя по лбу Александр Яковлевич. — Забыл телеграфировать! И ты хороша, не могла напомнить! — накинулся он на жену.

— Я думала, ты сам все помнишь,— с некоторой неприязнью ответила Ольга Вячеславовна.— Что же теперь делать? Шурка бог знает когда придет, а мы стой тут с вещами...

Крякнув от неудовольствия, Александр Яковлевич решительно зашагал в калитку — и вскоре вышел вместе с дворником, горбатеньким Егором: оба тащили лестницу.

— Что ты затеял? — с некоторым испугом спросила Ольга Вячеславовна.

— Голь на выдумки хитра! — устанавливая лестницу от тротуара к окну, Александр Яковлевич уже ухмылялся, предвкушая занятное зрелище.— Ну-ка, Воробышек, полезай, просунь руку в форточку — видишь, она открыта; дотянешься до шпингалета?

— Дотянусь! — Наташа даже запрыгала, так обрадовалась необычному.

— Открой окно и лезь в дом. Будешь принимать остальных!

А вокруг уже собралось немало зевак. Недоумевали: что это? Воры? Но воры обычно тащат из дому, а тут — в дом. Недоумение рассеяла ребятня, набежавшая со двора с криками:

— Аросевы приехали! Домой в окно лезут!

Под разнообразные замечания и хохот зрителей Александр Яковлевич взгромоздил по лестнице чемоданы, потом младших детей, причем Лена ужасно орала и скрючилась от страха, а толстушка Оля была еще так мала, что ничего не понимала и только таращила свои большие голубые глаза-окошечки. С Ольгой Вячеславовной вышла заминка: стеснялась, юбка-то короткая... Как ни зажимала подол коленями, пришлось-таки показать толпе ножки; благо, хороши были, что и одобрили зеваки.

Бабушка лезть отказалась наотрез. И, ворча себе под нос: «Балаган, как есть балаган», — ушла во двор: сидеть на крыльце, дожидаясь Шуры.

Советские дипломаты по-прежнему привлекали самое пристальное и отнюдь не доброжелательное внимание своих европейских коллег. К ним придирчиво присматривались, подстерегали ошибки, промахи, стремились изучить их характер, отыскать слабую струнку, какую-нибудь деталь в их биографии, в личной жизни, за которую можно бы зацепиться для кривотолков, очернения, кле-

веты. Полиция далеко не усердствовала, охраняя их. В Варшаве среди бела дня белогвардеец застрелил советского полпреда Войкова. В поезде около Риги белые налетчики убили советского дипкурьера Нетте. И ничего, никаких расследований — вежливое сожаление, и только. Швейцарцы выпустили из тюрьмы Конради, убийцу Воровского...

Под представительство СССР в Каунасе выделили небольшой одноэтажный особнячок на углу центральной Лайсвес-аллеи и кривого переулочка, круто взбегающего на холм, поросший дубами. И на двери этого особнячка кто-то систематически разбивал стеклянную дощечку с ненавистными для кого-то буквами «СССР». Враждебный мир окружал наших представителей за рубежом. Они жили как под колпаком. Каждое лыко ставилось им в строку. И, как видим, не было даже гарантии их личной безопасности. Я отлично помню, что отец всегда — на этой, казалось бы, мирной работе! — выходя из дому, брал с собой револьвер. Уже не маузер гражданской войны, а довольно изящный браунинг, легко помещавшийся в заднем кармане брюк.

8 июля 1927 года новый полпред СССР в Литве Александр Аросев вручил президенту республики свои верительные грамоты.

Остерегаясь с самого начала настроить литовцев против себя, Александр Яковлевич тщательно избегал в своей речи всего, что могло бы напомнить о неприятностях с его предшественником. Он больше упирал на историческую и культурную близость литовского и русского народов, полагая это поле более плодоносным для своих дальнейших намерений, которых, однако, пока не высказывал. А намерения его, в соответствии с указаниями наркома, были — вырвать Литву из-под влияния Польши Пилсудского, которая, хотя и отхватила изрядный кус литовской территории, всеми силами стремилась внестись в восточной соседке свой собственный антисоветизм. Целью советской дипломатии было превратить страны так называемого «санитарного кордона» Европы против СССР в своего рода мосты от СССР к Европе.

На мирную речь советского посла Вольдемарас вынужден был ответить в том же тоне, и, конечно же, он не поскупился на то, что стало уже обычной разменной монетой европейской дипломатии, — на прекрасные и возвышенные слова о мире и добрососедстве. А что он там думал про себя — дело другое.

Приближалась годовщина Октября. Предвидя, что с поздравлениями в советское посольство явятся чиновники не самого высокого ранга, Аросев решил, что его присутствие необязательно. Второстепенных поздравителей может принять и первый секретарь посольства.

Однако это была не единственная причина того, что на праздник он уехал в Москву.

Александр Яковлевич с болью следил за несогласиями среди старых товарищей. Единство партии было под угрозой. Но единство партии — это же фундамент, на котором строится все здание Советской власти! Вопреки всем злобным предсказаниям, всем надеждам и действиям врагов Советская власть держится — держится уже десять лет! Только люди, которые, как Аросев, сами ее завоевывали, знали, каких усилий стоит сооружать это здание, под каким дамокловым мечом растут его стены.

Дискуссии понятны: делаем невиданное, неизведанное, нет никакого опыта, никаких аналогов. Тут, конечно, можно и нужно спорить, обмениваться мнениями. Но как? Открыто выскажи свои соображения товарищам. И если тебя опровергли, отвергли твои предложения — подчинись верному решению! Но ведь доходит до того, что противники линии партии сколачивают фракции для борьбы против ЦК! Это уже прямое предательство!

А ряды старой ленинской гвардии тают. Не стало Дзержинского, человека, подобного высокому пламени. Умер на операционном столе Фрунзе. Год назад Аросев ездил из Стокгольма в Лондон хоронить Красина. Кто остался? Калинин, Куйбышев, Орджоникидзе, Киров... И — Сталин, загадочный, непонятный, чем-то настораживающий человек...

Эти-то мучительные мысли, от которых бессонными были ночи Александра Яковлевича, и пригнали его в Москву. Должен он здесь, на месте, понять суть оппозиций. Потому что, следя за всем этим издалека, невозможно составить представление об истине. Отсюда, издалека, Александру Яковлевичу кажется, что вся ожесточенность борьбы происходит от уязвленных самолюбий. Мол, не вышло по-моему — так нате же вам!

Гнала его домой и простая, человеческая тоска по семье, с которой он разлучился впервые. Непривычно и одиноко было ему в чужом провинциальном городишке, каким тогда был Ковно, где по главным улицам еще бе-

гала конка и на весь город насчитывалось всего несколько автомобилей. Вишневый быюик советского посольства нередко путали с таким же — президента...

Но в самой глубокой глубине души, в том сокровенном уголке, в который не дают заглянуть даже самому близкому человеку, — да и сам-то лишь неясно можешь разглядеть, что там таится, — в этом потайном вместилище чувств смутно ворошилось еще нечто.

Непосредственный участник и руководитель московских боев в семнадцатом, Аросев очень редко мог праздновать этот самый для него значительный день дома. Чаще он проводил этот праздник вдали от Москвы, а то и вовсе за пределами Родины. И теперь эту годовщину, это десятилетие своей — своей же тоже, черт возьми! — победы ему страстно захотелось встретить дома. Застряло у него занозой в душе, в самом дальнем, потайном уголке ее какое-то... не то суеверное чувство, не то смутное предвидение: следующего десятилетия ему не видать. Он не мог сказать, откуда вдруг у него, человека жизнерадостного и в общем здорового (если не считать неполадок с сердцем), такие пессимистические мысли. Но они были!

И они его не обманули: к двадцатой годовщине Октября моего отца уже не было среди живых.

Десятый Октябрь!

Старый друг по архангельской ссылке Клим Ворошилов, Климушка, с его круглым лицом и аккуратными усиками, принимает парад, сидя на гнедом горячем красавце коне. А мимо движется, движется Красная площадь, покачивая над собой ровные ряды штыков, ровные полосы розовых лиц, ровные линии остроконечных буденовок, красных «разговоров»* по груди. Идет по площади красная пехота, четко грохая по торцам тысячь сапог.

А следом — конница! Дробный гром копыт, кони, гривы, — кони вихрем, ураганом пролетают по площади, за спиной всадников — бурки черными крыльями, водяными взблесками — шашки над головой, шашки наголо. Воплощенная легенда, развеянная буйными ветрами по просторам Родины...

Морозец восхищения по спине: вот она, наша Рабоче-Крестьянская, Красная! Пускай злобствуют лорды кер-

* Нашивки на красноармейской шинели.

зоны и чемберлены, точат на нас драконьи зубы — есть у нас могучая, непобедимая, неповторимая, первая в мире пролетарская армия, вооружившаяся не ради войны — ради мира на земле.

Смолкла на минуту, опустела Красная площадь — и вот хлынул поток демонстрации. Господи, сколько же людей в Москве! Полею алых маков — платочки рабочих, серой пашней — кепки рабочих, и знамена, знамена! От алости рябит в глазах. Вон несут черное толстобрюхое чучело в цилиндре, карикатура на буржуя, — хохочут люди. Ползет над головами демонстрантов длинный зеленый суставчатый дракон, безобразный, как тот враждебный мир, который он символизирует. На грузовике проезжает макет паровоза: оживают, как человек после долгой болезни, наши железные дороги, эти артерии бескрайней страны.

Стоял, вспоминал, как вышел на балкон Моссовета, когда кончились бои, — ровно десять лет назад. Еще посвистывали шальные пули, а чувство было непередаваемо. Никакими словами не выразить: что же это? Да это же — добились! Дождались! Мы, мы сами сделали чудо, победили! Задышался тогда от невозможности найти слова, от отсутствия слов, от напрасных попыток создать, придумать новые слова, которые бы выразили... Выразили бы вот это все, потому что об этом надо писать, надо кричать, говорить, рассказывать, но как? Какими средствами?.. Нет таких слов в человеческом языке, которые охватили бы то, что распирает грудь, кружит голову, лишает дыхания.

И все же — писал. Урывками, не заканчивая, откладывая — ах, как мучительны были эти откладывания! — но писал, стараясь передать сердцем то, что видел, что думал, что испытывал. Есть уже несколько книжечек — маленьких, на серой плохой бумаге, но в них — самое заветное. А недавно в Берлине вышел первый роман, который назвал необычно: «Сенские берега» — от Сены, парижской реки. От Сены к Москве-реке, к потрясенной, наизнанку вывернутой стране, отыскивающей для себя новую жизнь, пробивающей новое русло, новые берега.

И вот уже десять лет течет эта новая, невиданная река...

Не хочется уходить с площади. Сколько еще будет интересного! До вечера будет проливаться Москва через

главную свою плотину — Красную площадь, что выгнулась куполом, словно именно здесь закругляется земной шар. Но ноги у нас не железные, и папа напоминает, что нам еще через пол-Москвы пилить пешком, пока доберемся до дома.

Мы втроем — папа, мама и я — протолкались против течения с Красной площади на узкую, извилистую булыжную Тверскую, до краев забитую демонстрантами. Вдруг, где-то напротив Центрального телеграфа (на угловом изломе его и тогда уже был огромный глобус), папа затащил нас с мамой в подворотню какого-то старого дома и, приказав не трогаться с места, куда-то побежал. На улице поднялось смятение, шум, гневные крики, улюлюканье, свист.

— Какие-то колонны схлестнулись, — прошептала мама, удерживая меня за своей спиной. — Да стой ты спокойно, не высовывайся. Батюшки, драка! Александру обязательно надо ввязаться...

Отец вернулся без шапки, на пальто уцелела единственная пуговица. Он отфыркивался, как кит, весь еще горя азартом сражения.

— Сволочи, контрдемонстрацию устроили! — отдуваясь, проговорил он.

— Кто — «сволочи»? — не поняла мама.

— Кто, кто... Троцкисты, конечно. Ну, мы их не пропустили. Нечего им делать на нашей площади!

— Советский посол в уличной драке, — насмешливо пробормотала мама.

— А, что ты понимаешь! — Меня поразило, с каким досадливым пренебрежением махнул рукой отец.

Домой мы добрались совершенно без ног. Но когда стемнело, я все же вырвалась во двор, где ожидалось большое торжество, к которому давно готовились ребяташки с нашего двора. Из тонких планочек старшие мальчишки соорудили каркас, девочки натянули на этот каркас аккуратно скроенную и сшитую из кумача пятиконечную звезду, а наш дворник, горбатенький Егор, мастер на все руки, провел электрический провод и приладил внутри звезды сорокасвечовую лампочку. Все сооружение приколотили над калиткой — и какое же поднялось ликование, когда в сумерках засветилась наша звездочка! Мы плясали перед калиткой, и красноватые наши тени плясали на тротуаре, мы до хрипоты орал «Ура!», пели. Никакая самая роскошная, самая дорогостоящая иллюминация позднейших времен не могла вы-

звать у меня большего восторга, чем эта маленькая, са- модельная, трогательно-одинокая на темной окраинной улице алая звездочка...

На другой день к отцу пришли три каких-то человека и заперлись с ним в его кабинете. Впрочем, эту узкую темноватую комнату лишь с большой натяжкой можно было назвать кабинетом: кроме письменного стола там помещались только никелированная кровать родителей да диван, обтянутый тисненой черной кожей. Этот «кабинет» соседствовал с детской, сообщаясь с ней через дверь.

Вначале из-за этой двери до меня доносился только смутный говор. Я не обращала на него внимания, занятая чтением любимой тогда моей книги «Робин Гуд». Но вот голоса зазвучали громче, и я подняла голову. В кабинете спорили. Это было не в новосты — споры между товарищами были тогда в порядке вещей.

Вдруг я четко расслышала слова отца, произнесенные непривычным в таких спорах сердитым тоном:

— За кого вы меня принимаете? Как вы вообще посмели прийти ко мне с этим? Да ведь это заговор! Заговор против ЦК!

Те опять забубнили в три голоса, видимо, уговаривая отца, — и тут их оборвал его неистовый крик:

— Вон из моего дома!

Торопливые шаги, хлопнула дверь, на минуту все стихло. Я сидела ни жива ни мертва — никогда не слышала, чтоб папа так кричал. Я поняла: произошло что-то ужасное!

Потом послышался испуганный голос мамы, она, видимо, вошла в кабинет:

— Что ты так кричишь, Шунчик, как можно так?

— Сволочи... Гады... — отец задыхался. — Ты не представляешь себе, что они... Как они... Это же предательство!

— Да в чем дело?

— А, тебе не понять. Платформа у них, видите ли... особая. Да за это голову снять мало!

— Шунчик, куда ты собрался? Нельзя тебе в таком состоянии! Ну успокойся хоть сначала. Куда же ты? Куда? — взывала мама.

— Раскудахталась! — с непонятной мне злобой бросил отец — и ушел из дому.

Никто не вправе быть судьей между мужем и женой. Как нет двух одинаковых листочков на дереве, так нет двух людей, которые чувствовали бы и думали совершенно идентично. Винить или оправдывать кого-либо в этой области не должно никому.

Я и не сужу. Я просто складываю для себя картину причин, по которым могли разойтись мои родители. Сейчас, когда я уже намного старше обоих.

Думаю, здесь сыграла роль изначальная ошибка. Эти два человека были по природе своей противопоставлены друг другу. Но они поняли это лишь через десять лет после того, как сошлись. А сошлись они на почве романтического увлечения: он — обаятельным обликом большеглазой девочки со странной судьбой, она — не менее привлекательным обликом героя-революционера.

А потом началась совместная жизнь. Жизнь неустроенная, беспокойная — на биваках гражданской войны, в теплушках и избах, с ежедневным трепетом за судьбу другого. Потом — по гостиницам и нетопленным квартирам, наконец — в разных странах Европы, где, быть может, не так опасно, но все равно — временно, неудобно.

Александр Яковлевич, выросший в многодетной, дружной семье, считал высочайшим долгом, священной миссией женщины — всю себя отдавать детям, семье; перед ним был немеркнувший пример его матери.

Ольга Вячеславовна, с раннего детства лишенная семейной атмосферы, не развила в себе вкуса к домашним заботам. Человек одаренный и яркий, она стремилась к самостоятельной духовной жизни. Дважды пыталась она получить образование — сначала в медицинском, потом в филологическом институте. И надо сказать, в обеих профессиях она достигла бы многого, ибо обладала большими способностями. Но всякий раз ей приходилось прерывать учебу, не завершив и первого курса: дети (к двадцати пяти годам у нее было уже трое) и постоянные переезды не оставляли никакой возможности учиться.

Одолевал быт. И одолел, развенчав всякую романтику.

И в это время встретился ей человек, которого она полюбила впервые, всем существом молодой еще, но вполне уже зрелой женщины, полюбила жертвенно и отчаянно, как только может любить русская женщина, без расчета, безвозвратно, без колебаний. И — без колебаний она рассталась с отцом своих детей.

Страшная штука — оскорбленное мужское самолюбие. По моим наблюдениям, редкий мужчина способен смириться с мыслью, что ему предпочли кого-то другого. И если так случается — он мстит.

Месть же — увы! — чаще всего производится посредством детей. И падает на их головы. Дети — орудие и жертвы такой мести. Ими рассорившиеся взрослые побивают друг друга, норовя ранить как можно больнее.

Отец не отдал маме детей. Как ни молила она оставить ей хоть одну дочь — не умолила. Только собравшись в феврале 1929 года на новое место работы, в Чехословакию, отец оставил с матерью меня — временно, до конца учебного года.

Глава тринадцатая

Прага, сердце мое, Прага!

Город легенд, город-памятник — а вокруг, по холмам, могучие заводы... В ту пору, когда мы там жили, с заводов на город слетали тучи черной сажки, облекая траурным флером все, что не было укрыто герметически.

Передам ли красоту и своеобразие этого города, если просто скажу, что глубже всего меня волновало, щемяще брало за сердце сочетание величавой его старины с уютной, домашней какой-то атмосферой, с малыми размерами... Его крошечные, неправильной формы площади, украшенные тут старинным фонтанчиком, там небольшим — в рост человека — изваянием, а то и просто газончиком, где так сладко пахнет — посреди камня! — скошенной травой, где с весны до осени разгуливают черные желтоклювые дрозды.

В Старом городе невероятное количество скульптур, барельефов, фресок на стенах домов. Знаменитый Карлов мост, что, несколько искривленный, стоит неизбежно уже пять столетий, навечно скрепленный раствором на яичных желтках, несет по обеим своим сторонам целое шествие каменных фигур; скульптуры встречаются всюду там, где их возможно уместить: в память исторических событий, или легенд, или знаменитых людей, а то и просто так — символические фигуры.

Кривыми запутанными улочками выберешься на Староместскую площадь, а там — знаменитые часы с двена-

дцатью апостолами, Смертью и петухом, а сбоку, из единственной стены, сохранившейся от старой ратуши, торчит бронзовая, покрытая черным налетом времени голова. На этом месте был обезглавлен один из вождей гуситов, неистовый монах Ян Желивский. Посреди площади памятник самому Гусу, сожженному Констанцским собором в 1415 году. Гус стоит, гордо выпрямившись в своей сутане, а у ног его — толпы людей, устремившихся к нему в чаянии спасения. Он как бы вырастает из этой груды тел, являя с ними одно целое.

Главная площадь Праги носит имя святого Вацлава, покровителя земли Чешской. Конное изваяние этого князя-юноши, убитого собственным братом, царит над Старым городом, а позади него красуется импозантное здание Национального музея, венчающего собой эту длинную, полого поднимающуюся к Вацлаву и к музею площадь.

Пасмурным предвесенним днем двадцать девятого года в Прагу приехал Александр Яковлевич Аросев, новый полномочный представитель СССР, сменивший на этом посту одного из самых популярных в те времена руководителей Октябрьской революции в Петрограде — того самого, который,

...пенснишки тронув,
объявил,

как об чем-то простом

и несложном:

«Я,
председатель реввоскомитета

Антонов,

Временное

правительство

объявляю низложенным» *

В свою очередь Антонов-Овсеенко был в Праге премьерником Павла Мостовенко, члена Московского ВРК. Не примечательно ли, что именно эти, ныне столь редко упоминаемые герои революции были первыми советскими представителями в новой Чехословацкой республике, явившейся как бы одним из плодов их борьбы? Случайно ли это?

Небольшой двухэтажный особняк с садом и хозяйственными постройками на заднем дворе — вилла «Тере-

* Из поэмы В. В. Маяковского «Хорошо!».

за» — стоит на узенькой и горбатой Итальянской (Итальянской) улице. Автомобиль прогудел перед узорными чугунными воротами, из каменной сторожки при воротах выбежал грузный седоватый человек, отпер ворота. По мощеной дорожке, мимо двух псевдодревнегреческих скульптур машина подъехала к парадному. Массивные двери, несколько ступенек вверх, к холлу, — и прибывших встретил бюст Ленина на высоком постаменте.

Квартира полпреда была на втором этаже, куда вела широкая лестница, освещенная четырьмя высокими окнами, на которых матовым, словно морозным узором нанесены аллегорические изображения четырех времен года. Пока вносили багаж и вводили детей, Александр Яковлевич подошел к окну.

Прага окутала себя туманной дымкой, словно продрогла от сырости и тщится укрыться под собственными испарениями. Она лежала перед новым полпредом как на ладони: вилла «Тереза» стоит на холме, на котором пятьсот лет назад король Карл IV приказал разбить виноградники. От них осталось одно название — «Винограды», весь район давно был застроен. Взгляд Александра Яковлевича перелетел над тесной толпой домов и крыш, заслонявших Влтаву, и устремился дальше, к высокому противоположному берегу реки, над которым рисовались в тумане острые очертания Града. Там, в Граде, за дымкой тумана и смога, укрылось правительство Чехословакии. Кое-кто из этих людей много бед принес Советской стране. Они были вдохновителями мятежа чехословацкой Легии, они снабжали деньгами Савинкова — и они же до сих пор упрямо отказывались признавать СССР, хотя прошло двенадцать долгих лет! И вот теперь ему, коммунисту Аросеву, комиссару гражданской войны, надлежало вести с ними мирные разговоры...

Впрочем, за семь лет дипломатической работы он кое-чему научился: его учителем был Лев Борисович Красин!

Александр Яковлевич не мог, конечно, знать — хотя и предполагал нечто в этом роде, — с какой тщательностью правители Чехословакии изучали его досье, причем задолго до того, как он был назначен в Прагу. В архиве Министерства иностранных дел Чехословакии сохранилось немало документов, свидетельствующих о пристальном интересе к его особе.

Еще в бытность Аросева полпредом СССР в Литве его чехословацкий коллега систематически информировал свое правительство о встречах и разговорах с ним. В этих документах мы находим такие, к примеру, сведения:

«Советский посол тепло принял меня (то есть чехословацкого посла в Литве.— *Н. А.*) и в тот же день нанес ответный визит... Разговаривали о положении СССР, которое Аросев считает хорошим (это уже в 1927 году! — *Н. А.*), хотя признал, что Советам нужен заем и они получили бы его, не будь ссоры с Англией... Аросев — человек высокой культуры, широкого кругозора и безупречных светских манер. Буду ему уделять внимание и в дальнейшем, ибо в случае перемен в советском представительстве в Праге думаю, что Аросев относится к числу тех лиц, которые были бы желательны нашему правительству».

В других донесениях чехословацкий посол сообщал, что Аросев прекрасно разбирается в политике европейских государств. Так, в разговоре с премьер-министром Литвы Александр Яковлевич предостерег последнего от слишком наивного доверия к наметившемуся ослаблению напряженности между Литвой и Польшей. Аросев считал это смягчение временным, ибо и причины его — временные: Польшу несколько ослабило недовольство Англии, у которой Польша перехватила скандинавские угольные рынки, потерянные Англией из-за генеральной забастовки английских горняков. А то, что СССР подписал пакт Келлога*, еще больше умалило значение Польши как стража против СССР. В принципе же Англия — против самостоятельности Литвы, так что обольщаться этим временным смягчением Литве не стоит.

Когда Советское правительство назначило в Прагу Аросева, чехословацкий Мининдел тотчас запросил о нем новые сведения, и прежде всего поручил своему представителю в Москве Гирсе точно узнать, кем была расстреляна мать Аросева: чехословаками или русскими? В первом случае трудно было рассчитывать на нормальные отношения. Гирса по своим каналам сумел точно установить, что Марию Августовну расстреляли русские белогвардейцы. Затем Гирса обратился за характеристикой Аросева к литовскому послу в Москве Балтрушайти-

* Пакт Келлога — Бриана 1928 г — межгосударственный договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики.

су и к заместителю наркома иностранных дел Литвинову. Балтрушайтис ответил: «Аросев — интеллигентный человек, отнюдь не «свирепый коммунист». А Литвинов отзывался так: «Аросев — больше писатель, чем политик». На самого же Гирсу при свидании отец произвел самое благоприятное впечатление.

В конце мая, закончив учебу во втором классе, в Прагу приехала старшая дочь Александра Яковлевича. Мать, Ольга Вячеславовна, оставшаяся в Москве со своим новым мужем, просто отвезла девочку на вокзал и передала ее с рук на руки попутчице, новой сотруднице нашего полпредства. Путешествие было утомительным: две пересадки, на границе и в Варшаве, жесткий, холодный и вдобавок без постелей вагон... Не диво, что Александр Яковлевич, встречавший дочь на пражском вокзале, поразился ее измученному виду. Как она еще мала, его старшая дочь, какое на ней некрасивое платьишко, какой скромный чемоданчик держит она в руках! С такими ходят на тренировки спортсмены. Но глаза у Наташи весело блестели, и первые ее слова были деловые и мужественные:

— Пап, а я тебе рукопись привезла! И я так спрятала пионерский галстук, что таможенники не нашли! Я ведь уже пионерка!

Очутившись впервые без жены, но с тремя детьми, Александр Яковлевич на первых порах несколько растерялся. Как наладить быт семьи?

И тогда на сцене снова появилась Бленда Форшберг. Имя этой женщины неразрывно связано с воспоминаниями в нашей семье. Это была молодая шведка, впервые приглашенная к детям еще в Стокгольме. Отец нашел ее через биржу, на которой регистрировались профессиональные воспитательницы, закончившие обучение в специальном учреждении, работавшем, как мы теперь бы сказали, на базе детского дома. Девушек обучали уходу за детьми, давали им основательные познания по медицине, гигиене и педагогике, учили разнообразным детским играм, песням и так далее. По окончании этого замечательного заведения девушки получали диплом и форменное платье: светло-голубое, с белым передником и белой наколкой, а еще — золотую брошь с инициалами училища. Рекомендованная такой биржей Бленда Форшберг жила с нами в Швеции, приехала с нами в

Москву, и вот теперь, после некоторого перерыва, отец вызвал ее снова из Швеции — в Прагу. Это была высокая, с длинным лошадиным лицом девушка, спортивная и веселая, обладавшая достаточным чувством юмора, чтоб посмеиваться над самой собой. Она говаривала: «В комнату сначала входят мои ноги, а потом, через много-много времени, я сама». Она выучила нас шведскому языку, а мы ее — русскому. Мы в ней души не чаяли, а отец был ей глубоко благодарен. Потому что, когда с нами была Бленда, он мог совершенно освободить свою голову от всякой заботы о нас. Она была не просто воспитательницей, она была нашим другом, членом семьи, и я не могу не упомянуть о ней в этой книге.

Александр Яковлевич заехал в школу за дочерью. Узенькая Хорватова улочка изгибалась под прямым углом, и на изгибе ее стояло массивное школьное здание. Александр Яковлевич решил дожидаться конца уроков на улице — слишком хорош был сентябрьский денек, окутанный золотистой дымкой ранней осени, под которой, казалось, порозовели даже серые громады домов. Отпустив машину, он стал прохаживаться перед школой, постукивая тросточкой по тротуару, мощенному маленькими гранитными кубиками, от которых так устают ноги. Но вот прозвенел звонок, несколько минут еще сохранялась та особая тишина, которая царит во всех школах, пока идут занятия, потом раздались детские голоса, и из широких дверей чинно стали выходить девочки — все такие чистенькие, аккуратненькие, воспитанные — одним словом, немецкие. Да, отец отдал Наташу в немецкую женскую школу, рассудив, что если уж придется ребенку учить иностранный язык, то пусть это будет один из общеевропейских.

А немецкое меньшинство в Чехословакии пользовалось большими привилегиями: свои газеты, школы, свой театр, своя партия, свои депутаты в парламенте. Впоследствии они черной неблагодарностью отплатили чешскому народу: именно партия судетских немцев, фашиствующая партия Генлейна, выступила как союзник, как пятая колонна Гитлера...

Наташа выбежала отнюдь не чинно: пальто нараспашку, волосы растрепаны:

— Папа!

— Ну как, Воробышек, начинаешь понимать по-немецки?

— Немножко: шведский путает! Одно и то же слово по-шведски означает одно, а по-немецки совсем другое!

— Ничего, справишься!

Они пошли пешком: невелики расстояния в Праге. Пересекли тесную площадь Юнгмана, через пассаж под ультрасовременным зданием обувного магазина Бати (бетон и стекло) выбрались на Вацлавскую площадь — и остановились, пораженные: площадь забита толпами возбужденных людей, все что-то кричат, гул голосов перекатывается над головами, и весь этот густой поток, то останавливаясь, то закручиваясь водоворотом, медленно всплывает вверх, к памятнику святого Вацлава. Поток этот втянул в себя, увлек за собой и отца с дочерью, тот только успел шепнуть:

— Держись за меня крепче, чтоб не оттеснили!

Тут к ним подскочил какой-то человек в светлом макинтоше и, крикнув что-то непонятное, взмахом руки сшиб с головы Александра Яковлевича шляпу. Теперь Аросев обратил внимание на то, что все мужчины были с обнаженными головами.

— Was erlauben Sie sich?! * — не зная чешского языка, возмущенно вскричал отец, но эти немецкие слова пуще разъярили обладателя светлого макинтоша.

Поняв это, Аросев объяснил:

— Ich bin kein Deutsche, ich bin aus Sowjetrußland **.

Надо было видеть, как разом изменилось выражение лица у нападавшего. Да и у тех, кто мгновенно прихлынул к ним, поддерживая человека в светлом макинтоше, тотчас переменилось отношение. Нападавший забормотал, кажется, какие-то извинения, кто-то поднял с земли шляпу Аросева и, тщательно отряхнув, подал ему; кто-то другой накинулся — судя по интонации, с упреками — на светлый макинтош, кто-то жал руку Аросеву, еще кто-то успокаивающе похлопывал по плечу испуганную девочку; затем несколько человек окружили обоих охраняющей цепочкой и отвели в ближайший переулок, где было гораздо тише. Там к ним протолкался седой, интеллигентного вида господин и на ломаном русском языке объяснил:

* Что вы себе позволяете?! (Нем.)

** Я не немец, я из Советской России. (Нем.)

— Сегодня тысяча лет, когда убили нашего святого Вацлава. Это демонстрация на почест ему *.

Добравшись окольными переулками до виллы «Тереза», с облегчением ступили на этот крошечный кусочек своей огромной страны. И только тут дочь спросила:

— Папа, а кто был этот Вацлав?

— Не знаю, Воробышек,— Александр Яковлевич всегда был правдивым с детьми.— Но я узнаю!

Он действительно распорядился достать для него все сведения по истории Чехии, и о Вацлаве в частности. И потом, вечерами, когда не было другой работы, сидел допоздна над этими материалами, размышляя о судьбах маленького славянского народа, уцелевшего под натиском германской стихии.

История эта поразила Александра Яковлевича непрерывностью противодействия германскому влиянию. Давление соседних германских княжеств, королевств, наконец, так называемой Священной Римской империи никогда не прекращалось. И, по закону физики, действие это вызывало противодействие. Быть может, именно необходимость, во имя сохранения себя как нации, постоянно сопротивляться этому давлению и воспитала в чешском народе любовь к свободе, к национальной независимости, а отсюда и к демократизму? Были взлеты на этом пути, были поражения и компромиссы. Но внутренне это сопротивление, исторически обусловленное, длится и по сей день... Стало быть, история Вацлава куда сложнее, чем об этом рассказывает легенда. Скептическая, склонная к парадоксальности мысль Александра Яковлевича привела его к еретическому вопросу: а не навязали ли чехам этого благодного святого Вацлава германо-филы? Ведь в ту пору немецкий король Генрих Птицелов огнем и мечом «насаждал христианство» среди западославянских племен, искони обитавших в восточной части того пространства, которое ныне занимает Германия. Лютичи, лужичане, стодоране, ободриты — все они исчезли в результате «миссионерских» усилий воинственных немецких князей. А Вацлав хотел мира с Генрихом, хотя бы и ценой уступок... Брат же его Болеслав, а еще пуще их мать Драгомира (поистине шекспировская фигура!) были партией непримиримой войны с немцами. Как теперь решить, кто был прав? Положим, Вацлава предательски убили сторонники Болеслава. Поступок,

* По новейшим данным, Вацлав был убит не в 929, а в 936 году. (Прим. авт.)

конечно, малоэтичный. Но в те времена такой способ избавляться от неугодных правителей был весьма распространен, стоит только вспомнить историю наших, русских князей или ордынских ханов...

Однако повседневные хлопоты мало оставляли времени для глубокого изучения истории. Так, в последнее время накопилось немало жалоб посетителей виллы «Тереза» на то, что по выходе из полпредства их останавливают чины тайной полиции, опрашивают, проверяют документы. Такому обращению подверглись, например, советские писатели Эренбург и Микитенко, ученые — профессор Ильинский, приехавший в Прагу на съезд геоботаников, Дурново из Белорусской Академии наук, Ивашкевич из Дальневосточного университета, Панфёров из Саратовского сельскохозяйственного института, не говоря уж о сотрудниках самого полпредства и торгпредства.

У самых ворот виллы «Тереза» примостился табачный киоск, продавец в котором был несомненно «тайным». А вчера дочери со смехом рассказывали, как они, по их выражению, «водили шпика».

Утром, когда Наташа с Леной бежали в школу, они приметили сзади мужчину в черном пальто. Он все время шел следом, хотя они выбрали путь напрямик, по безлюдному узкому проходу между домами и обрывом к железнодорожным путям. Человек свернул за ними, и Наташа, вдохновленная рассказами отца о веселых проделках его казанской юности в отношении таких же соглядатаев, шепнула сестре:

— За нами шпики! Сейчас мы его обманем!

— Как? — простодушно спросила маленькая Лена.

— Я сверну в тот переулок, а ты иди прямо, встретимся у Вацлава. Интересно, за кем он пойдет?

Убегая в поперечный переулок, Наташа бросила взгляд через плечо: Ленка, гремя пеналом в своем портфельчике, во всю прыть своих тоненьких ножек шпарила дальше по проходу, а «шпики» сначала заколебались, потом решительно двинулись за старшей. Ту охватило сладостное чувство жути; она, конечно, прекрасно понимала, что ничего «шпики» ей сделать не может, но так ведь уж всегда бывает, когда тебя преследуют — в игре ли, всерьез ли... Наташа выбежала на улицу маршала Фоша, вскочила на ходу в удачно подоспевший трамвай и, убедившись, что преследователю ее уже не догнать, показала ему с подножки язык.

Все это Александр Яковлевич суммировал в официальном протесте Министерству иностранных дел. Однако ни табачный киоск не убрали, ни филеров. А дети (в следующем году уже втроем, с малышкой Оленькой) всякий раз, когда выходили из полпредства, продолжали забавляться, причем изобретательности их не было конца. Они осмеливались даже дразнить шпигов пеннием революционных песен, демонстративным ношением пионерского галстука, а то, круто обернувшись, начинали хохотать в глаза «тайным», которым вряд ли когда доводилось следить за столь несносными «объектами».

Подошел двенадцатый Октябрь.

Немногочисленная советская колония, то есть сотрудники полпредства, торгпредства и консульства, собралась на утренник в помещении торгпредства (гостиные виллы «Тереза» готовили к вечернему официальному приему). Торгпредство наше занимало тогда шестой этаж большого серого дома на улице напротив Привокзального сквера. Теперь эта улица носит имя чешского студента Оплетала, убитого нацистскими оккупантами.

После торжественной части, когда докладчик, секретарь партийной организации полпредства, довольно прочувствованно говорил о том, как это трудно — но и почетно! — работать вдаль от Родины, и призывал к бдительности и бодрости духа; после того как все дружно, вдохновенно, мешая мужские и женские голоса с детскими дискантами, стоя пропели «Интернационал», началась часть развлекательная. Сплясали «Яблочко» два мальчика, Наташа прочитала стихотворение «Тише, товарищи, шапки долой, красноармеец погиб молодой», пропиликал на скрипке «Полет шмеля» сынишка торгпредской машинистки. Но гвоздем программы оказалось выступление полпреда.

Александр Яковлевич всегда питал пристрастие к театру, к актерскому искусству. И имел к тому недюжинные способности. Он любил, как тогда называли, декламировать что-нибудь юмористическое, и особенно хорошо ему удавались рассказы Зошенко. Он читал их так выразительно, что — не боюсь сказать — знаменитый Игорь Ильинский, с которым Александр Яковлевич был близко знаком (как и со многими выдающимися артистами того времени), перенял у него немало жестов, интонаций, приемов. Когда позднее Игорь Ильинский стал

читать Зошенко, я так и видела внутренним взором своего отца...

А вечером начался официальный прием на вилле «Тереза». Первый прием Аросева в Праге. Разослано было 450 приглашений, но явилась только половина гостей. В архиве МИД СССР сохранился отчет советника полпредства Калужного с подробным перечислением тех, кто пришел, и тех, кто прислал извинения.

Конечно же блистал своим отсутствием Эдуард Бенеш, министр иностранных дел, — как раз в тот день он был так занят, так занят. И именно в эти дни послы Франции и Польши, как на грех, оказались вне Праги. И никак, ну просто никак не могли вырваться представители Японии и Мексики. Зато полностью явились посольства Германии, Италии, Литвы, Турции, Австрии, Швеции, Греции, Финляндии, Дании. Пришли чины чехословацких министерств, депутаты, явился приматор* Праги доктор Бакса. Вся эта официальная публика чопорно раскланивалась с советским полпредом, вполголоса, солидно, беседовала, разбившись на группки, затем неторопливо проследовала к столу — одним словом, нагнала такой холод, такую натянутость, что, окунувшись в эту атмосферу тотчас после дружественного, почти родственного тепла утреннего праздника в торгпредстве, Александр Яковлевич чувствовал как бы физический озноб. Даже обязательная улыбка на его «официальном» лице застыла, словно замороженная.

К счастью, произнесся несколько ледяных тостов, посмаковав волжскую стерлядь, проглотив приличное количество тартинок с черной икрой и похвалив чистую как слеза русскую водку, официальные лица одно за другим потянулись к выходу. И по мере того как они удалялись, улыбка на лице советского полпреда как бы оттаивала, становилась все более живой и доброй. Ибо оставались еще гости совсем другого толка: ученые, писатели, журналисты, художники, артисты... Профессор Зденек Неедлы, маленький, щупленький, рассказывал о деятельности основанного им общества по сближению с Советской Россией; вспоминал о своей поездке в двадцатом году в Москву, на конгресс Коминтерна писатель Иван Ольбрахт; читал свои стихи поэт Йозеф Гора. Примостившись в уголке, под окном с цветным витражом, на котором три героя в средневековых одеждах со-

* Мэр города.

единяли руки в торжественной клятве, смеялись чему-то две молодые писательницы.

— Наши Марии,— сказал Александру Яковлевичу Ольбрахт, подходя вместе с ним к двум хохотушкам.— Та, что покруглее,— Майерова, а та, тоненькая, будто статуэточка,— Пуйманова. Не сердитесь, дамы, вы ведь знаете, товарищ полпред — наш коллега: тоже писатель!

— Спасибо, что вы подчеркнули слово «товарищ»,— сказал Аросев.

— А как же! Мы ведь все четверо — коммунисты!

Александр Яковлевич подсел к дамам; завязался непринужденный разговор, правда, несколько сбивчивый — «две Марии» неважно владели русским, и неизбежные ошибки всякий раз вызывали веселье.

Дружеские отношения с левой интеллигенцией в Праге установил еще Антонов-Овсеенко. Писатели, поэты, ученые часто приходили на виллу «Тереза»; увлекательные литературные споры нередко переходили в разговоры на серьезные темы. Впоследствии один из величайших поэтов Словакии Лацо Новомеский создал целую поэму об этом, которая так и называется «Вилла «Тереза».

Аросев счел необходимым и полезным продолжать эту традицию и по возможности расширять ее. Он стал выступать со статьями и воспоминаниями в левых журналах, делать доклады в обществе сближения с Советской Россией, и часто в гостининых полпредства толпилась вся эта творческая публика. Многие навсегда запомнили непринужденную, теплую атмосферу таких приемов. Много лет спустя та самая «тоненькая, как статуэтка» Мария Пуйманова в своем романе «Игра с огнем» писала и о вилле «Тереза» как о кусочке огромной Советской страны, где так тепло, так безопасно было чешским коммунистам в годы, когда налегла на Чехословакию черная туча нацистской оккупации, куда они приходили отдохнуть, оттаять душой...

Глава четырнадцатая

— Ах молодец, Готвальд! Вот это по-нашему! — радостно говорил Александр Яковлевич, входя утром сырого зимнего дня в кабинет советника Калюжного.— Читали

его речь в Национальном собрании? Это вам уже не «Вандервельде»!

Последние слова были непонятны Калюжному, но мы знаем, что фамилия Вандервельде стала для Аросева символом «законопослушной», как он называл, европейской социал-демократии.

— Вы посмотрите,— задумчиво проговорил Калюжный,— как Готвальд разбирает внутреннее положение! Фактами доказывает, что новое правительство навалило новые налоги на мелких плательщиков, а демонстрации безработных разгоняет.

— А когда коммунисты в парламенте выступили в защиту безработных,— подхватил Аросев,— их исключили на десять заседаний с лишением месячного депутатского жалованья: наказание «рублем»! Двадцать два у них депутата-коммуниста, а они бессильны! Вот вам и парламентаризм...

Истек срок «наказания» депутатов-коммунистов, и на первом же после этого заседании, 13 февраля 1930 года, они внесли в палату депутатов законопроект о юридическом признании СССР.

Законопроект был отвергнут.

Долгой и мучительной была борьба за это признание.

Чехословацкая буржуазная республика была провозглашена 28 октября 1918 года, и уже на третий день, то есть 31 октября, Советское правительство срочной телеграммой предложило новому государству установить с ним дипломатические отношения.

Чехословацкое правительство даже не ответило.

В феврале 1920 года прогрессивные слои Чехословакии снова потребовали признания Советской России. По республике прокатилась мощная волна демонстраций. Советское правительство повторно обратилось с предложением начать переговоры. Бенеш ответил 10 апреля, что посоветуется с парламентом и союзниками, и 8 мая, «посоветовавшись» с Ллойд Джорджем и Керзоном, согласился на переговоры. Тогда-то и посланы были в ЧСР первые советские представители.

Но тут на нашу страну напала Польша Пилсудского. Генштаб чехословацкой армии, во главе которого стоял французский генерал, разрешил Франции провозить через территорию ЧСР в Польшу военные материалы — естественно, под видом невинных медикаментов и продо-

вольствия. Это обнаружили чехословацкие железнодорожники, пригрозили забастовкой... Но Красная Армия уже гнала белополяков, двигалась на Варшаву. А из далекой Сибири прибывали транспорт за транспортом с чехословацкими legionерами, которые в большинстве своем были уже изрядно «заражены марксистским духом». И эти legionеры грозно потребовали: «Руки прочь от Советской России!»

В 1921 году выделившееся из чехословацкой социал-демократической партии левое крыло образовало партию коммунистов.

Движение в народных массах за признание СССР не прекращалось, но постоянно наталкивалось на сопротивление Масарика и Бенеша.

Как приходилось им балансировать между гневными требованиями народа и упорной ненавистью к Стране Советов! Сколько раз обещали начать переговоры, столько же раз уклонялись под разными предлогами. Даже переговоры об экономических отношениях, о торговом договоре, выгодном для самой Чехословакии, и то все откладывали, виляя и выкручиваясь. Это уже становилось смешным, тем более что и Франция, и Англия, на которых любили ссылаться правители Чехословакии, давно установили с СССР нормальные отношения.

Одним из таких предлогов были возникшие вдруг провокационные слухи о том, что Красная Армия якобы концентрируется у границ Румынии с целью отвоевать Бессарабию. Кто бы ни породил и ни распространял эти слухи, они оказались весьма на руку правителям Чехословакии, которая занимала ведущее положение в Малой Антанте. Теперь можно было еще потянуть дело... Советский полпред официально опроверг эти слухи и готов был привести доказательства их ложности, но нарком иностранных дел Литвинов посоветовал ему ничего больше Бенешу не объяснять — хватит, мол, и опровержения в советской печати. Но какой же удивленный вид соорудил сам президент профессор Масарик, когда Аросев, явившись к нему 6 марта 1930 года с поздравлениями с его 80-летием, заявил, что никаких передвижений наших войск у румынской границы нет. Да, очень удивился старый «социалист». От неловкости, видимо, стал заверять советского полпреда, что никогда ЧСР не примет участия в антисоветских делах, и сам даже заговорил о признании, тут же, впрочем, поправившись, что оно может состояться не ранее как через два-три года.

— Но это, господин президент, будет зависеть и от того еще, долго ли мы-то сумеем сохранять такие неурегулированные отношения,— ответил Аросев.

Это было в марте, а в мае, во время очередной встречи с советским полпредом, Бенеш произнес нечто вроде того, что теперь-де открывается возможность начать переговоры о торговом договоре.

Еще бы! Надвигался кризис. Тот грозный, всеобъемлющий кризис тридцатых годов, постигший весь капиталистический мир, поразивший не только Европу, но и Америку, заставивший правящие классы дрогнуть перед отчаянием и негодованием страдающих народов.

Правда, это случилось несколько позднее; сейчас кризис лишь начал подавать сигналы тревоги, хотя уже и вполне явственные. Увеличивалась безработица.

Безработица! Оно уже стерлось, это слово, ибо каждый божий день слышим мы его сейчас по радио, по телевидению, читаем в газетах. Стертое, оно не показывает нам страшное свое содержание.

А я видела безработицу во плоти.

В проулке позади Немецкого театра стоит молодой человек с интеллигентным лицом в приличном еще пальто. Он играет на скрипке, играет виртуозно — но волшебные звуки никого не останавливают: привыкли. На земле перед скрипачом — табличка с аккуратной надписью: «Выпускник консерватории. Помогите безработному!» И рядом — его шляпа, донышком на земле, в шляпе — несколько мелких монеток.

На Карловом мосту, под изваянием святого Яна Непомуцкого, расположилось целое семейство. Сидят прямо на камнях. Мальчик лет двенадцати играет на губной гармошке. Лица худые, серые, умоляюще подняты, с такой отчаянной надеждой смотрят на прохожих, что у меня переворачивается сердце,— а прохожие равнодушно идут мимо: привыкли.

В нашей школе собирают «подарки» для детей безработных. Богатенькие, сытенские девочки притаскивают в класс огромные свертки — поношенное белье, платье, обувь,— бахвалятся друг перед другом, кто больше дал. Ох, это слово — «дал»! Им легко давать: вещей у них много, одни надоели, другие вышли из моды, отчего же не пощекотать свое чувство превосходства, не ощутить себя благодетелем этих презираемых бедных. Какое развращение детских душ! Но и к этому привыкли.

Мы ехали на машине за город. На ограде каменного

мостика через речку сидел человек. Когда мы были на середине моста, человек этот внезапно кинулся под колеса. Только высокое искусство нашего шофера Якова Шабловского помогло избежать непоправимого. Уж не знаю, каким чудом сумел он так вывернуть машину, чтоб и человека не задавить, и с моста не свалиться, проломив ограду. Остановились, подбежали к упавшему, тот поднимался, ошеломленный. Шабловский набросился на него с шоферской бранью — тот заплакал. Молодой, здоровый мужчина плакал от унижения, от неудачи своей отчаянной попытки — и от потрясения, что остался жив... Безработный.

Мы с отцом поехали в Злин, в «столицу» обувного «короля» Томаша Бати (теперь этот город носит имя Готвальда). Сначала отец беседовал с Батей в его роскошной приемной на шестом этаже административного здания. За широкими окнами открывалась панорама рабочего поселка: аккуратными рядами уютные домики на одну семью, садики, цветы, фруктовые деревья — рай, да и только! Потом пошли осматривать цеха.

В дубильном цехе, где в огромных чанах мокли кожи, стояли невыносимый тошнотворный смрад и адская жара — мы едва выдержали пять минут и поспешили на свежий воздух. Рабочие, задыхаясь, проводили в этом вонючем пекле по восемь часов. В другом цехе, где прошивали заготовки, работали стоя. Перед каждым рабочим висела табличка с цифрой, указывающей, сколько заготовок обязан он прошить за смену. Количество это было рассчитано так, чтоб рабочий не мог отвлечься ни на секунду. Восемь часов подряд одни и те же механические движения: впустить под иглу полукруглую заготовку, затем отбросить ее в корзинку одной рукой, другой одновременно выхватить новую и — под иглу. Не выполнит задания — моментально уволят, а уволят — моментально выселят из домика. Куда тогда денешься с семьей? За воротами — толпы безработных, на твое место сотни найдутся. Другой работы не сыщешь, везде одно и то же — и пойдешь с женой да детьми на улицу Христа ради... И никто во всем мире тебе не поможет!

Воскресным днем, гуляя в лесу под Прагой, мы встретили деревенские похороны. Остановились, пропуская печальную процессию. За открытым гробом — таким странно коротеньким! — шла молодая женщина под черной вуалью. А в гробу... в цветах — восковое детское личико!

Спросили кого-то из задних рядов провожающих (их было очень много, в том числе детей). Оказалось, хоронят девятилетнюю девочку, застреленную во время разгона демонстрации безработных.

А сенатор Штястный, представитель национально-социалистической партии, назвал безработных «негодями и бродягами!».

Безработица...

Нет, мы в Советском Союзе, где безработица исчезла более полувека тому назад, уже ничего не представляем себе, слыша это слово. Этой тоски, этих страданий, этого голода — и страшного чувства, что ты лишний, неполноценный, отверженный, что растоптано твое человеческое достоинство и нет тебе места на земле!

Безработица необходима капиталистам не только как возможность иметь дешевую рабочую силу и как средство давления на работающих. Она выгодна им еще и потому, что ведет к изменению пролетарской психики, к духовной деградации рабочих, а с такими легче справиться.

Удивительно ли, что Советский Союз, изгнавший работодателей, ликвидировавший безработицу, осмеливающийся теперь строить какое-то новое общество, отрицающее то общество, в котором так уютно сидится на денежных мешках, что эта дерзкая страна, противопоставившая себя всему капиталистическому миру и тем дающая пример угнетенным этого мира, — удивительно ли, что этот «зловредный» Советский Союз подвергался бешеной травле? От папы римского до деятелей Второго — Социалистического! — Интернационала все лили грязь и проклятия на то, что станет очень скоро надеждой и спасением человечества. Во всех странах, где только нашли себе убежище белоэмигранты, открыто происходили их съезды, смотры, парады, панихиды... В Прагу явился генерал Миллер. Приезжал Керенский в надежде выпустить в Праге, в белогвардейском издательстве, свои мемуары. Этому помешали только активные действия советского полпреда.

Аросев не раз обращал внимание Бенеша на недопустимость того, что правительство поддерживает деятельность белоэмигрантских организаций. В ноте от 21 марта 1931 года он привел конкретные примеры: в октябре 1930 года советник МИД участвовал в «панихиде по жертвам большевистского террора», во время которой раздавались призывы к свержению советского строя, — об

этом писала чехословацкая печать; в январе 1931 года официальные представители МИД участвовали в вечере так называемого «Общества галлиполийцев» — военной организации белоэмигрантов, — проходившем под патронатом супруги министра торговли Матоушека, причем на вечере присутствовал и сам министр; за несколько дней до этого председатель совета министров Удржал и председатель Национального собрания Малипетр послали официальное приветствие съезду «русских соколов» — тоже военной организации белоэмигрантов; в сентябре 1930 года представители МИД участвовали в съезде «русских воинов-инвалидов»...

В недрах всех этих организаций пригревали негодяя Горгулова, сына кубанского помещика, насильника, будущего убийцу президента Франции Думера. Из запроса правительству, поданного депутатами-коммунистами 11 мая 1932 года, мы узнаем о том, что Горгулов убил Думера, думая тем подать сигнал к нападению на СССР. Несмотря на совершенно явное антисоветское лицо убийцы, буржуазная печать, разумеется, подняла гвалт о том, будто Горгулов агент Коминтерна... В эту шумиху включилась и чехословацкая печать, хотя Чехословакия сама, несмотря на неоднократные предупреждения коммунистов об опасном характере этого человека, давала ему убежище, терпела его безобразия. Когда его художества стали совсем уж невыносимы, чехословацкие власти позволили ему мирно уехать во Францию.

В этом же запросе приведены интересные цифры и факты нежной заботы чехословацкого правительства о белоэмигрантах. Оказывается, в МИДе существовал даже специальный отдел по их делам, а в бюджете — специальная статья, по которой на нужды белой эмиграции в 1930 году было выдано 6 миллионов крон, в 1931 — 5 миллионов и за пять месяцев 1932 года — 3 миллиона. И это — не считая миллионов, расходуемых по статьям «Славянская культура», «Русская акция» и другим. Каждый студент из белоэмигрантов получал ежемесячно стипендию в 600 крон. Компартия Чехословакии неоднократно требовала высылки эмигрантов, роспуска их организаций, и всякий раз Бенеш отвечал, что деньги выдают на гуманитарные цели. Кстати, револьвер, из которого убит был Думер, Горгулов купил именно из этих средств...

А французский премьер Тардье полным голосом заявлял, что «СССР — основное препятствие стабилизации капиталистической системы»; министр иностранных дел

Франции Бриан носился с идеей «Пан-Европы», нацеленной против проникновения в Европу Соединенных Штатов Америки, но главное — против нашей страны.

В Варшаве была раскрыта попытка покушения на советское полпредство — адская машина была заложена в дымоход здания и обнаружили ее только случайно. Организатор этой диверсии был арестован, но сразу выпущен на свободу.

Европа, Америка — вся военная промышленность капиталистического мира лихорадочно производила оружие, оружие, оружие... Тогда-то и возникло впервые выражение «гонка вооружений», столь знакомое нам сейчас. Как видно, идеи капитализма не блещут разнообразием!

На фоне всего этого советские представители за рубежом Родины прилагали огромные усилия для того, чтобы распространять правду об СССР. В Чехословакии в этом им шли навстречу все передовые люди — коммунисты, рабочие, писатели, ученые. Полпред Аросев выступал в левых журналах, писал воспоминания о революции, о грандиозном строительстве, объявшем всю Страну Советов, о Горьком, о советской литературе. Устраивались выставки советского искусства, детской книги, архитектуры; в Прагу приезжали Владимир Маяковский, Лидия Сейфуллина, Илья Эренбург, композитор Глазунов, труппа МХАТа. Здесь они встречались с профессором Зденekom Неедлы, с писателями-коммунистами Витезславом Незвалом, Лацо Новомеским, Марией Майеровой и Марией Пуймановой, с Юлиусом Фучиком, с совсем молодым Иржи Тауфером. Делегации чехословацких рабочих, писателей ездили в СССР, чтобы по возвращении свидетельствовать правду о нашей стране.

Совершая турне по странам Европы, в Прагу приехал профессор Рудольф Лазаревич Самойлович. Прошло уже три года с тех волнующих дней, когда мир, затаив дыхание, следил за походом советских ледоколов «Красин» и «Малыгин», устремившихся в полярные льды спасти гибнущую экспедицию итальянского генерала Умберто Нобиле. Советские полярники кинулись на помощь по первому же сигналу «SOS!», уловленному советским радиолюбителем; пошли, поразив мир своей самоотверженностью и полным бескорыстием. Профессор Самойлович был одним из руководителей спасательной экспедиции ледокола «Красин».

Дождливый мартовский вечер 1930 года; по асфальту растекаются дрожащие отражения уличных фонарей. Узкая Водичкова улица перед залом «Люцерна» забита людьми, уже издали слышатся нестройный гул толпы и выкрики: «At' žije Sovětský Svaz!» и еще почему-то: «At' žije Rudá Armada!» * Наш двенадцатицилиндровый, длинный, мощный автомобиль австрийской марки «Греф и Штифт» с алым флажком у переднего крыла не мог пробиться к подъезду, пришлось Рудольфу Лазаревичу, отцу и мне выйти из машины и проталкиваться через толпу; все эти люди собрались сюда приветствовать Самойловича, выразить свое восхищение героем Арктики. Они стояли под дождем, отлично зная, что не смогут проникнуть в зал, который уже битком набит,— но стояли, не расходились даже и после того, как Самойлович вошел внутрь.

В зале яблоку негде было упасть, Рудольф Лазаревич с трудом освободил местечко для проекционного аппарата: он сопровождал свои лекции, как тогда называли, «туманными картинками», предшественниками нынешних слайдов.

Несколько дней спустя Прага оказалась оклеенной траурными плакатами — простые белые листы в черной кайме, и только два черных слова: «Маяковский умер». Ничего больше, но чуть ли не с каждого дома зывали эти горестные черные слова. Никому не надо было объяснять, кто такой Маяковский, пражане помнили поэта-громовержца, он выступал в рабочих Народных домах, в клубе писателей, в авангардистском театре Бурiana. Высокой, искренней скорби противопоставлено много-словие.

А дипломаты Европы по-прежнему играли в слова...

Глава пятнадцатая

Александр Яковлевичу исполнилось сорок лет... Ты, может быть, вовсе этого не хочешь, но что-то заставляет тебя остановиться на этой грани, прищуриться, озираясь на пройденное: что оставил за спиной, какой след?

* «Да здравствует Советский Союз!», «Да здравствует Красная Армия!» (Чешск.)

Ты еще не стар: сил ничуть не меньше, подвижности тоже, мысль ясна, быть может, яснее (или приземленнее?), чем двадцать и десять лет назад. Зато нет того, несказанного, что называют не поддающимся определению понятием «молодость». В чем главная суть ее? В смелости — от недостатка опыта? В радостном ощущении самого себя в мире — от недостатка знания? В категоричности — от не выработанной еще широты взгляда?

Молодость — страна горных пиков и бездн. Идешь, и со всех сторон перед тобой крутизна, что вверх, что вниз: то от счастья задыхаешься, то от отчаяния... Потом острия пиков стесываются, склоны становятся пологими, провалы засыпаются землей, камнями, сброшенными с круч. Все выравнивается, и постепенно начинает путник видеть далеко впереди то, что было ранее скрыто от его взора, внушая обманчивое представление, будто пути этому никогда не будет конца.

Странно печальным речитативом, где-то в сокровенной глубине вдруг прозвучало:

Уходишь, уходишь,
расплываешься фата-морганой...
Не уходи!
Не мерцай обманным
Облаком в окнах...
Седые волокна
тумана...

Удаляющееся эхо: «Ана... ана... ана...» — и все смолкло. Откуда эти стихи? Ведь это стихи? Читал где-то?

Мгновенным озарением понял: ах, это моя собственная мысль так преобразила тоску по ушедшей молодости! А может, не собственно по молодости, а по тем, кто был со мною тогда?

Потому что, оглядевшись вокруг, увидел себя Александром одиноким.

Где все, кто был дорог сердцу?

Одни ушли навек. Другие просто ушли. Жена, братья, сестры, друзья... Разбежались в разные стороны. Каждый оброс чем-то своим. Неужели таков удел всех людей — тосковать по ушедшему? Или подобную горечь дано испытать лишь немногим, ранимым душам?

Правда, много значит физическое удаление от Родины, где остались все близкие. Нет, что же это он, неблагодарный? Ведь с ним — самые близкие, самые родные —

дочери! Порой ему кажется, не он служит опорой им, а они ему. Часто ловил себя на том, что воспринимает их не как дочерей — как сестер. В последнее время полюбил беседовать со старшей. Иногда по вечерам гуляли с ней вдвоем, он рассказывал ей про звезды, про Пушкина, про революцию. Как много у нее всегда вопросов! Как ненасытен ее ум... но — в состоянии ли она понять все? Ей ведь только одиннадцать лет. Не может он взваливать на ее неокрепшее сознание всю тяжесть, весь трагизм своей судьбы.

Трагизм его судьбы... А в чем он? В том ли, что, так любящий семью, это многолюдное, шумное, разновозрастное общество с царицей-матерью во главе, — он лишен этого? Или в том, что слишком поздно понял: невозможно совместить теперешнюю работу, этот каторжный, проклятый и захватывающий, необходимый и опасный труд, — с писанием литературы? В сущности, то и другое — искусство, следовательно, дело призвания. А если у человека два, три призвания? Может же так быть? Необходимо делать выбор. Потому что любому призванию следует отдавать всего себя, целиком. Иначе сядешь меж двух стульев, что и случилось с ним. У него потребность писать, то есть оставить свидетельство виденного, — а видел он кусок подлинной истории своей страны и взаимодействовал с крупнейшими ее творцами: стало быть, писать не только его призвание, но и долг. Однако не меньшая потребность — самому участвовать в сотворении этой истории, пускай в роли скромного «винтика». (На днях в полпредстве смотрели коротенький детский фильм «Винтик-шпунтик». Потерялся винтик, и вся огромная «Динамо-мама» захромала, расстроилась, отказала...) И это тоже не только призвание, но и долг. Вот и разрывайся! Иной раз ощущает, просто физически ощущает, как убегает неостановимое время, пока он занимается бесплодными дипломатическими словопрениями с Бенешами и Вольдемарасами... а ему так нужно докончить одну повесть, отделать главу другой. И вот садится — урывками! — за письменный стол, а мысль отказывается оторваться от сегодняшнего, сиюминутного, от проклятой политики.

Одно хорошо: и в том, и в другом деле он остается — не может не оставаться! — тем, кем был с пятнадцати лет: революционером!

И еще одна причина страдать. Слишком критическим складом ума он обладает, видит много такого, чего не

видят — не хотят видеть — другие. Боятся говорить об этом. Он тоже боится. При царе — не боялся, но это и понятно: власть-то была чужая, дикая. Теперь же — страшное опасение: не повредить бы нашей, собственными трудами и жертвами устроенной, одной против всего враждебного мира стоящей, еще такой неокрепшей, родной власти! К тому же этакое чисто интеллигентское соображение: а откуда ты знаешь, что прав ты?

В общем, к сорока годам мучительно трудно стало жить...

На каких себя распинаешь крестах?
На каких, не сгорая, горишь кострах?
Дум каких на тебя легла печать?
И о чем по ночам твоя печаль?

Прямо насильно теснятся строки, хотя он никогда стихов не сочинял. Все у него не как у людей, усмехнулся про себя Александр Яковлевич. Обычно в поэзию ударяются смолodu, к прозе приходят с наступлением зрелости.

Дверь начала тихонько отворяться, скрип ее прогнал печальные мысли. Александр Яковлевич, заранее улыбнувшись, оглянулся: знал, что последует. В самом деле, чуть ниже дверной ручки в щели показался большой голубой глаз, щель расширилась и в нее вставилась розовая, с улыбкой до ушей, лукавая мордашка младшей дочери Оли, а выше — смуглая, большеносая рожица средней дочери Лены и простецкое курносое лицо Наташи. Будто три шара поставили друг на друга. Увидев, что отец улыбается им, все три ворвались в комнату, повисли у него на шее:

— Папик, поздравляем!

— Папик, с днем рождения!

— Папик, а мы тебе подарок приготовили!

Смешные и трогательные: скопили из денег на школьные завтраки, купили рюкзак и туристскую трость с медальонами.

— Это чтоб нам вместе путешествовать!

И он смел ныть, жаловаться на одиночество!

В отпуск поехал с дочерьми. Решил провести месяц в Австрийских Альпах, много слышал о великолепной тамошней природе: горы, лес. Выбрали по карте городок Фельден на берегу горного озера Вертер-зе, неподалеку от Клагенфурта. Сняли комнаты в пансионате средней

руки — почти весь этот чистенький, благоустроенный, кукольно-красивый городишко состоял из подобного рода заведений. Все здесь направлено к удобству гостей. Перед пансионатом — кусок «своего» пляжа, огороженного ярко окрашенным штакетником; на пляже — качели, кольца, лежаки, кабинки, помост для загорания, даже «лягушатник» для малышей. Вокруг здания пансионата — ухоженные дорожки, клумбочки, скамеечки. Позади — «свой» участок леса. Лес, слава богу, сохранили в его первозданности, со мшистыми валунами, зарослями ежевики, светлячками по ночам, но... понатыкали кое-где — видимо, считая, что без этого лес недостаточно красив, — всяких гномиков, мухоморов неестественных размеров, дев Марий в искусственных пещерках, а вся эта раскрашенная гипсовая чепуха действует на любые иллюзии дикой природы (если таковые возникали) примерно так, как на стайку воробьев брошенный в них камень. А то ткнешься носом в зеленую проволочную сетку: стоп, дальше ни шагу, там — Чужое Владение! Сакраментальными надписями: «Вход запрещен. Частное владение!» — так и пестрят многие участки горных лесов. Вот тебе и дикая природа!

Все невероятно учтивы. Персонал и обитатели пансионата, прохожие, детишки, даже возчики обязательно здороваются при встрече, никто никому не грубит, не бранится, все улыбаются, но... Дети посадили пятно на скатерть — пожалуйста, ни крику, ни негодования, просто сдерут с родителей стоимость новой скатерти, и дело с концом. Как-то пятилетняя Оленька, бегая по лесу, упала и сильно расшибла лоб об камень, до крови. Долго плакала от боли и испуга. Владелица пансионата, сочувственно поохав и постолав, принесла в утешение ребенку целую вазу шоколадных конфет. Какое великодушие! А потом представила отдельный счетик ровно на те три конфетки, которые Оленька съела...

— Да, брат, удобно жить в Европе, но — неудобно! — вздохнул Александр Яковлевич.

От этого «линейного», как он называл, порядка, от всей этой расчетливости, честной пунктуальности и... полной разьединенности людей иной раз хотелось волком выть. Хотелось взбунтоваться, порвать эти путы благопристойности.

Не от этого ли «орднунга» (в котором, впрочем, есть немало хорошего и полезного, но ведь все в меру!), не от него ли происходит некое упорядочение и в душах лю-

дей? Нечто вроде проторенной дорожки, сойти с которой страшно, да и «не принято»...

Александр Яковлевич вспомнил рассказ одной знакомой, сотрудницы аппарата Коминтерна. Проездом в Москву она провела в Берлине два-три дня и вернулась в Берлин только через полгода. И что же? На другой день ей в гостиницу приходит из полиции предписание уплатить штраф в размере... одной марки за загрязнение улицы! Оказывается, полгода назад, выйдя из трамвая, она машинально выбросила на тротуар трамвайный билетик.

Все-таки Александру Яковлевичу удалось отдохнуть в Альпах: прекрасна, величава здешняя природа, на ее лоне очищаешься от будней, отметаешь их в сторону, забываешь. Отмывает она душу от всякого мусора. Часто, забрав с собой старшую дочь, запасшись бутербродами и бутылками минералки (пригодился дареный рюкзак!), уходил он в горы. Особенно полюбилась обоим невысокая, с округлой безлесной верхушкой гора по названию Миттагскогель (нечто вроде «Полуденного купола», что ли). С этой лысой вершины открывался неповторимый вид, какой может только присниться в волшебном сне. Далеко внизу драгоценным камнем блестит-переливается на солнце сине-синее, тихо-тихое озеро с неправильной, причудливо изрезанной линией берегов. К самой воде приникли исполинские, сказочные зеленые звери, напиль — и уснули, грея на солнце мохнатые свои спины. За этим лежбищем приозерных гор тают в бездонной глубине далекие снежные вершины, нереальные, как видение, как белое марево. И гуляет по лысой вершине ветерок, вроде несильный, вроде легкий, а от него перехватывает дыхание и грудная клетка мала, и кажется, летит за ним упоенное сердце... Какое счастье жить!

Чаще всего отец с дочерью оказывались тут в одиночестве: прочие туристы облюбовали другие маршруты. Отец и дочь садились на камни отдохнуть и подолгу молчали. Всякий разговор, любые слова здесь, перед этими горами, перед этим небесным простором, были бы мелки и лживы. Разве что песня... Приятным своим тенорком, тихонько, словно боясь разбудить спящие зеленые чудища, запевал отец:

Далеко-далеко
Степь за Волгу ушла.

В той степи широко
Буйна воля жила...

Песню обрывал, перехватывая дыхание, приступ невыносимой тоски по родине.

Снова — Прага. Работа...

В окно вливалось мягкое осеннее солнышко, Бенеш — благообразный, гладкий, англазированный джентльмен — сегодня, к удивлению Аросева, был невероятно любезен. Он, как и многие культурные чехи, прекрасно говорил по-русски.

— Спешу вас обрадовать, господин полномочный представитель, — начал министр, делая приятное лицо. — Я получил от моих коллег положительный ответ на запрос о целесообразности заключения торгового договора с Россией, так что препятствий больше нет. Начнем переговоры, как только я вернусь из Женевы, куда отправлюсь на днях.

Александр Яковлевич, тоже изобразив приятное выражение на своем широком лице, вежливо хмыкнул, но ничего пока не сказал — ждал, что будет дальше. А про себя подумал: «Улита едет...»

— Правда, — несколько огорчился Бенеш, — я предвижу некоторое сопротивление наших банкиров и промышленников... («Ага!» — внутренне воскликнул полпред, но приятного выражения еще не изменил.) — Не всем, знаете ли, выгодны экономические отношения с вашей страной — конкуренция, и потом эти разговоры о советском демпинге...

— О, господин министр, вы отлично понимаете, что эти разговоры имеют чисто отвлекающее значение, — перебил его Аросев.

— Да, да, возможно, но... Предвидя такое сопротивление и искренне желая его нейтрализовать, я подумал, что, может быть... — тон Бенеша сделался неуверенным, — может быть, вам удобнее... как бы инспирировать письмо в парламент, ходатайство, что ли... в общем, «бумажку», как выражаются русские, от тех промышленников, с которыми вы уже ведете дела и которым выгодна торговля с вами. Это ускорило бы дело.

Не снимая с лица приятной улыбки (пригодились приемы конспирации молодых лет!), Аросев напряженно соображал: что это? Провокация? Или действительно

этот старый антисоветчик хочет деловых связей с нами — перед угрозой кризиса? И у нас же ищет помощи?

А Бенеш, словно прочитав скрытые мысли полпреда, не стал ждать ответа на свое предложение; опытный в дипломатии, он вряд ли надеялся сразу его получить. И заговорил о другом, о давнем.

— Есть у русских хорошая пословица: кто старое помянет, тому глаз вон. Не надо, чтобы неприятности двенадцатилетней давности омрачали сегодняшний день.

(Однако! Мятеж Легии, принесший нам столько бед, он называет «неприятностью»!)

— Должен тут же присовокупить, что я морально поддерживал интервенцию вопреки взглядам президента Масарика.

(Хочет обелить Масарика, так сказать, «благородно» приняв вину на себя, хотя и не полностью: он-де только морально поддерживал, а в реальных делах виноваты французы.)

— Впрочем, если бы потребовалось, — с честным видом закончил Бенеш, — я поддержал бы ее и материально.

— Вы правы, господин министр, такая пословица у русских есть, и она свидетельствует о широте и благородстве русской души. Не будем говорить о тех «неприятностях», хотя я назвал бы это несколько иначе. Сочтем, что во всем виноваты французы, под командование которых вы поставили Легию. Но вы ведь и сегодня ориентируетесь на Францию.

— О нет, вы ошибаетесь! Наша политика совершенно независима. Если угодно, могу доказать.

— Я весь внимание, господин министр.

— Да вот хотя бы недавно: французы в Лиге Наций подбивали поляков выступить против вас, обещая им поддержку Малой Антанты; а я, как представитель ведущего государства Малой Антанты, заявил, что мы лишь тогда присоединимся к интервенции, если ее будут вести по крайней мере три европейских державы: Франция, Англия и Италия.

— И если так случится — Чехословакия действительно выступит?! — резко перебил Аросев разоткровенничавшегося министра.

— А что вы хотите? — тон Бенеша стал сухим. — Чехословакия — европейское государство и будет делать то же, что и все!

(Вот оно и выскочило, искренне-то! К чему тогда

было наводить тень на плетень о несогласии Масарика на интервенцию? Да и печаянно ли проговорился Бенеш? Или это скрытая угроза?)

— Господин министр собирался доказать независимость политики Чехословакии, но доказал полнейшую ее зависимость. Что же касается подобного враждебного заявления, то мы не можем не принять его к сведению и учтем для дальнейшего. В таком случае позвольте спросить, почему же вы протестуете, когда наша печать пишет, что Чехословакия состоит во враждебном нам блоке? И зачем ваш представитель в Москве господин Гирса то и дело заверяет нас, что Чехословакия не входит в антисоветский блок?!

— Но такого блока нет! — воскликнул Бенеш, изрядно смутившись. — И я сделал свое заявление, будучи абсолютно уверенным, что объединение Франции, Англии и Италии для борьбы против России просто неосуществимо... Я сознательно выдвинул неосуществимое требование, чтобы провалить планы интервенции!

Никогда еще Александр Яковлевич не видел Бенеша таким сконфуженным. Но может быть, это игра, чтобы, так сказать, дать задний ход? Запустил зонд — дескать, попробуем попугать Советы, посмотрим, как ониотреагируют? Они не испугались, и теперь надо изобразить, что все сказанное — просто его личное мнение, что он попросту проболтался и теперь сожалеет об этом...

— Господин министр уже второй раз в течение нашей беседы употребил старое название моей страны. России больше нет, а есть Союз Советских Социалистических Республик. Желательно, чтобы правительство Чехословакии наконец-то приняло это к сведению. Что же касается вашей уверенности в невозможности объединения держав против нас...

— Но это же так ясно! — Бенеш даже встал с кресла, заходил по кабинету; Аросев внимательно следил за ним своими небольшими серыми глазами, и под черными его усами таилась саркастическая усмешка. — Судите сами: Италия недовольна нашей близостью с Францией и хочет оторвать нас от нее.

— Вот видите, — вставил Аросев, — даже Италия заметила вашу зависимость от Франции.

Бенеш снова уселся в кресло напротив Аросева и деланно легким тоном заговорил:

— Нет, Александр Яковлевич, поверьте, от союза с Францией выигрываем мы; это мы используем Францию,

а не она нас! И знаете,— Бенеш перегнулся через подлокотник кресла в сторону Аросева, словно поверяя ему некую тайну,— я глубоко убежден, что настоящая дружба у Чехословакии может быть только с Советской Россией.— (Наконец-то пересилил себя, употребил-таки слово «советская»!) — Дружба с вашей страной даст нам все то, что дает Франция, плюс традиционную духовную близость между славянами.

— Но как же сказанное вами сейчас — и сказанное вполне справедливо — увязать с угрозой интервенции?

— Ах, далась вам эта интервенция! Ну да, об этом заходила речь, но я допускаю ее возможность лишь в том случае, если режим Советской России не будет эволюционировать в сторону демократии. Но вы уже эволюционируете,— «утешил» Бенеш советского полпреда.— Этого ждет вся Европа. Не падения советского строя, а его преобразования...

Идея «преобразования советского строя», как изящно выразился Бенеш, промелькнула в этой беседе отнюдь не случайно. То была не оговорка. Видно, крепко запала в голову этого типичнейшего буржуазного политика мечта: изменить саму суть Советской власти, если не силой (пробовали — не вышло!) — так дипломатией.

Бенеш и позже не раз повторял эту мысль. Так, месяца через полтора он на своей пресс-конференции высказался еще яснее. Заявив предварительно (и отнюдь не правдиво), что Министерство иностранных дел Чехословакии выступает за признание СССР и даже считает, что признать его должны все, Бенеш объяснил: это необходимо для того, «чтобы создать единый дипломатический фронт против коммунистического строя и тем принудить СССР приспособиться к Западу...»

Полугодом позже, выступая на съезде национально-социалистической партии, Эдуард Бенеш дал проскользнуть в своей речи такой фразе: «Но мы желаем нормальных отношений с Россией и ее скорейшего возвращения к демократической европейской политике».

Наше полпредство немедленно выразило протест против такого вмешательства во внутренние дела нашей страны. Бенеш велел ответить Аросеву, что, пока советские деятели не перестанут говорить о необходимости мировой революции, нельзя его, Бенеша, упрекать за то,

что он хочет возвращения России (опять «России»!) к европейской демократической политике.

Но, сколько помнит Александр Яковлевич, — а для проверки самого себя он специально еще раз перечитал доклад Сталина на XVI съезде ВКП(б) и резолюцию по этому докладу — никто из руководителей Коммунистической партии и Советского государства и не думал говорить о «необходимости мировой революции». Говорили — и говорят — о неизбежности революционного подъема в капиталистических странах как логического следствия самой жизнедеятельности этой системы, особенно в условиях кризиса. Есть разница между значением слов «необходимость» и «неизбежность»; и слова «революционный подъем» вовсе не идентичны словам «мировая революция»! Передергивает господин «социалистический» министр... Коммунистам прекрасно известна и понятна бесплодность (и безнравственность!) какой-либо попытки экспортировать революцию. Напротив, на XVI съезде было четко сказано о желательности мирного соревнования, торговли и так далее.

Революции, думал Аросев, хоть и интернациональны по духу и по результатам, всегда происходят на национальной почве, в конкретных условиях конкретной страны. Вольно же капиталистам создавать эти условия! Впрочем, они в этом не вольны, как не вольны волки изменить свою натуру.

Но точно так же и мы, коммунисты, не вольны изменить свое существо...

На безрадостном фоне «феномена Вандервельде» вдруг просиял светлый лучик: в марте 1931 года проходил VI съезд Компартии Чехословакии, и в политических тезисах съезду прямо говорилось: вся борьба за положение трудящихся, за социализм и национальную свободу неразрывно связана с борьбой против империалистической войны (к которой явно велось дело в Европе) и в защиту СССР.

Читал Александр Яковлевич эти документы и только побрякивал от удовольствия. Хотелось крикнуть: «Ай да ребята! Ай да молодцы!»

На каждом шагу наталкиваясь в Европе на «феномен Вандервельде», Аросев всякий раз искренне недоумевал: в чем причина живучести этого явления? Почему с таким трудом отдирают себя люди от привычного образа мышления? Ведь если разобраться просто по-человечески, то коммунизм — система, которая вберет в себя

все самое высокое и нравственное, что выработало человечество за долгие века своего мученичества. Эти нескончаемые века в представлении Александра Яковлевича были всего лишь предысторией рода людского. С того злополучного дня, когда кто-то впервые сказал: «Се — мое», история пошла вкривь и вкось; естественные отношения были искажены; обладание собственностью повлекло за собой жажду сохранить, приумножить ее. Отсюда вражда и войны, преступления, умерщвление человеческого образа и в сильных, и в слабых... В сущности, вся история по сей день есть история развития собственности и порожденных ею мерзостей неравенства. Менялись формы собственности, менялись формы неравенства — и соответственно менялись формы борьбы. Давно осознали люди это неравенство, давно ищут способы одолеть его, вот нашли наконец — организацию коммунистического общества.

Даже мыслью не охватить неисчислимые реки, речки, ручьи, подпочвенные воды, напивавшие то огромное, безбрежное море, каким представлялось Александру Яковлевичу учение Маркса, продолженное, развитое, продвинутое еще вперед Владимиром Ильичем Лениным. Коммунизм — это человечество, очищенное от скверны стяжательства и вражды; это такое устройство, когда достигнут будет материальный идеал (в отличие от идеалов отвлеченных, предлагаемых религиями); когда люди найдут наконец такие формы жизни, чтобы всем было хорошо. Тогда-то и начнется подлинная история планеты!

Буржуазный класс — уходящий, для него приемлем приписываемый Людовику XV девиз: «После нас хоть потоп». Капиталисты не задумываются над будущим человечества. Почему-то до сих пор США называют страной свободы. Хороша свобода, построенная на истреблении одного народа и на рабстве другого! Проскочив эпоху феодализма, Америка дала образец чистого империализма, чьи цели — хватать, давить, грабить...

Глава шестнадцатая

Сорока двух лет от роду Александр Яковлевич женился на двадцатидвухлетней пражской танцовщице. Нет, Гертруда Фройнд не выступала ни в балете, ни в варьете.

Она содержала небольшую школу современного танца для девочек.

Со стороны моего отца то была любовь, отчаянная, безоглядная. Серьезный человек, старый революционер, опытный дипломат и писатель, отец трех больших уже дочерей,— он благоговел перед этой девчонкой, приписывал ей бог весть какие достоинства.

А мы, дети, не понимали чувств отца. Как так?! Папа всегда, с самого рождения, был наш. При всей своей занятости он успевал много времени уделять и детям. Это ведь отец научил нас читать и писать — еще до школы — и приохотил нас к чтению; к десяти годам я, например, знала наизусть множество стихотворений Пушкина и Лермонтова. Это отец научил нас плавать, кататься на коньках, на велосипеде. Для нас, девчонок, он купил набор инструментов и придумал строить кукольный театр. Из старых ящиков мы сами сколотили маленькую сцену, сами выпилили и раскрасили декорации, вырезали из картона кукол, сами придумывали и разыгрывали пьески — и все это под руководством отца, который и название придумал: «Театр Старых Гвоздей». Отец водил нас в театры, в музеи, даже на археологические раскопки, пробуждая в нас интерес к истории. Но он и строг был к нам: требуя чистоты и порядка, заставлял самих убирать постели, подметать комнату, чистить ботинки. Он искоренял в нас всякие зародыши «барства», как он называл. Например, мы и помыслить не смели попросить отвезти нас в автомобиле в школу, когда, бывало, опаздывали. Велико было его нравственное влияние на нас и безмерна его любовь к нам. С нами он проводил все свое свободное время.

И вдруг становится между ним и нами чужая женщина. Отодвигает нас от него, а там и вовсе вытесняет из его дома... Горько это нам было, глубоко разочаровывало в отце.

Лишь через много лет после смерти отца, прочитав его дневник, я поняла, как страдал он от враждебности между теми, кого беззаветно любил,— между женой и дочерьми. Он так старался соединить эти части семьи — тщетно! Семья распалась.

Женившись на гражданке Чехословакии, отец не мог оставаться полпредом в этой стране. Пришлось ему оставить незавершенными все свои труды, которым отдал столько сил и ума. Прагу он покинул в 1933 году, а

в следующем состоялся наконец официальный акт признания СССР Чехословакией.

В Москве отцу долго, чуть ли не полгода, пришлось ждать нового назначения. Он уже не знал, куда деваться от тоски. Писал письма в ЦК, просил или работы, или отпуска на «вольные хлеба» — в конце концов он писатель!

Прежние товарищи выказывали холодность. А отец не понимал ее причин. Не понимал, что в глазах товарищей его женитьба на юной буржуазке — вроде отступничества, что ли...

Однако в конце концов вопрос о работе для Аросева решился. Случилось это в 1934 году, когда Советскую страну признали и Чехословакия, и США, так долго упорствовавшие в желании быть слепыми.

В те годы над дымом рейхстага поднялась мощная фигура Георгия Димитрова, грозного обличителя нацизма; во Франции социалисты с коммунистами образовали правительство; вышли на венские баррикады шуцбундовцы; абиссинцы, с их древними духовыми ружьями, героически отбивались от полчищ итальянских фашистов; где-то в Марокко уже готовился сигнал «Над всей Испанией безоблачное небо»...

И, мобилизуя духовные силы человечества, неся над планетой клич Горького: «С кем вы, мастера культуры?»

С мастерами культуры и предстояло работать Аросеву: его назначили председателем правления Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС). То была, пожалуй, наиболее подходящая для него стихия. Здесь он мог использовать и свой дипломатический опыт, и знание языков, и знакомство с европейским обществом вообще. Сам писатель и человек творческий, он мог вести диалог с представителями культуры Запада на равных.

Изголодавшись по настоящей работе, Аросев энергично принялся за дело, найдя здесь поле для приложения своих незаурядных организаторских способностей. Он сумел расширить представление руководящих инстанций о задачах, которые может и должно решать это неправительственное учреждение. Доказал, какое политическое значение приобретает правильно понятая и хорошо поставленная деятельность этого — одного из очень немногих в ту пору — канала контактов с остальным миром, тщательно отгородившим нас от себя пресловутым «железным занавесом».

Работа закипела. Александр Яковлевич сам признавался в своем дневнике: «Почти не пишу оттого, что жизнь переполнена встречами, разговорами, новизной и разнообразием. Не знаешь, на чем пристальнее остановиться взгляд. И жаден ко всему, и осмыслить хочется».

Встречи, разговоры, новизна...

Приехал в Москву Георгий Димитров. Приехал победителем. Весь мир бушевал, требуя его освобождения, — и даже нацистский суд вынужден был оправдать его. И, наученные горьким опытом Лейпцигского процесса, нацисты уже не решились устраивать комедию суда над Тельманом!

Еще накануне освобождения Димитрова наше правительство предложило ему советское гражданство. И нацисты не посмели задерживать нового советского гражданина. И вот этот болгарский коммунист, целый год поражавший мир бесстрашными обличениями фашизма на фашистском суде, встретился в Москве с французским коммунистом писателем Анри Барбюсом. Встреча произошла в ВОКСе, на приеме Барбюса. Были наши писатели Всеволод Иванов, Демьян Бедный, Серафимович, Лахути, был Луначарский — и много иностранцев. Они, как записал в дневнике отец, «переживали нечто особенное: Димитров для них был именем, символом. Они все знали его и по прессе, и по собраниям протеста, и по воззваниям в пользу его освобождения, которое они подписывали. И вдруг он теперь живой перед ними. Это всегда хоть и радостно, а как-то даже жутко, когда символ превращается в живого человека».

Барбюс был уже тяжело болен, но никогда этого не показывал. Отец описывал его так: «Барбюс такой узколицый и весь худой и высокий, то мне все время казалось, что слова мои пролетают мимо него... Такой он тонкий и согбенный, мне трудно попасть ему глазами в глаза, потому что мои соскальзывают с его лица то вправо, то влево».

Анри Барбюс приехал хлопотать о поддержке Амстердамского антивоенного комитета. И о создании интернационального объединения писателей. Заходила речь и об организации Международного конгресса писателей. По этим делам он вместе с Аросевым посетил секретаря ЦК ВКП(б) Жданова. Договорились, что Барбюс изложит свои соображения письменно, чтобы потом обсудить их со Сталиным.

Но прошло немного времени — и Москва провожала тело Барбюса: поезд увозил его гроб на родину, во Францию. До сих пор звучат в моих ушах последние скорбные слова траурного митинга на вокзале: «Прощай, Анри Барбюс!»

Проводы, встречи, хлопоты... В дневнике отца — удивительно меткие записи о характере, о внешнем виде многих людей, с которыми ему довелось общаться. Да не посетует читатель, если я приведу здесь некоторые из них. Ведь лучше и не скажешь!

Октябрь 1934 года. «Принимал вечером двух лейбористов: Хикса и Мак-Линна. Хикс более правый, Мак-Линн левее (угнетенная нация — шотландец). Хикс здоровый толстокостный англичанин. Ленивец, грубоват... Говорил, что в СССР все творится правильно, укрепляется плановое хозяйство (Хикс никогда не сказал «социалистическое»), но что другие страны, например Англия, должны устраиваться по-своему. Вообще в Англии, по его словам, немыслимо то, что делается в СССР. Потому нет и единого фронта, ибо коммунисты вызывают недоверие и отпугивают народ.

Мак-Линн, наоборот, печален и сожалел, что нет единого фронта в Англии...»

«Был у меня сегодня маленький Будда, китайский артист Мей Лань Фан... Он выглядит двадцатипятилетним, на самом деле ему сорок один год. Низенький, широколицый. Очень умный. По-китайски церемонно вежлив. Когда играет женщину — а он только женщин играет, — дает нежный и трогательно кокетливый женский тип. Со своими артистами обращается как феодал... Молчаливый китайский посол использует поездку Мей Лань Фана в каких-то своих видах».

«На балу в английском посольстве видел Идена, лорда-хранителя печати. Иден — худой, высокий, густобровый 38-летний английский министр. 28 марта улыбался светящимися глазами и держал рот чуть-чуть открытым, он будто пожирал славу, которая здесь, в Москве, вдруг поперла на него. 31-го, после разговора со Сталиным, после посещения Большого театра, он выглядел совсем другим. Глаза потеряли блеск, потому что смотрели не вне себя, на окружающих, а в самого себя, чего-то проверяли там внутри. Иден был уже и проще, человечнее, он больше не пожирал славу, он стал задумываться над ней, и над Москвой, и над ее людьми...»

В Москву прибыл первый посол США Буллит. Это

был, по описанию отца, молодой еще человек «с красноватым лицом индейца и с голубыми, будто немного пьяными глазами. В их зрачках светился огонек насмешки над всем, что не Нью-Йорк...»

Буллит решил удивить Москву — и удивил. Первый прием в посольстве США был не похож ни на что подобное. Еще перед отъездом из Америки Буллит телеграфно пригласил гостей — более тысячи человек! Огромные серебряные блюда с яствами утопали в белых лилиях. В глубине, на помосте с искусственными горками, разгуливали живые козы и овцы, под сенью искусственных деревьев резвились три медвежонка. По стенам были развешаны двадцать четыре клетки с петухами. На рассвете петухи закукарекали; пели еще какие-то птицы; козы, овцы и медвежата давно разбрелись по залу, мешая танцующим, и вся эта вальпургиева ночь длилась до восьми часов утра!

Совсем иной характер носил визит в Москву министра иностранных дел Франции Лавалья. Все было сухо, скучно, официально. Почетный караул, гимны. «Марсельеза» — напев французской проигранной революции. За ней — «Интернационал», — замечает отец. И затем: «На завтраке у предмоссвета Булганина. Белый зал... Булганин прочитал по бумажке речь... За ним выступил Лаваль. Сказал, что у нас и у французов одна цель: обеспечить народам мирный труд. Я чувствовал себя Маниловым только потому, что мы спокойно сносим такие речи в таком зале, который видел... Как, как много видел этот зал, в Октябрьские дни он был казармой для восставших солдат. А теперь оказывается, что их цель и Лавалья — одна и та же... А Лаваль — потомок вандейцев, разбивших французскую революцию!..»

Какая горечь в этих словах!

О приезде Лавалья и о значении переговоров с ним отец много говорил со своим старым товарищем Ворошиловым. А тот старался отмалчиваться. Ни одного одобрительного слова не сказал по этому поводу Климент Ефремович. Отец потом записал: «Он какой-то стал тихий и задумчивый. Без всякого сомнения, он что-то глубоко переживает».

Осенью Аросев делал доклад о работе ВОКСа в ленинградском Доме ученых. Посетил он и академика Павлова. «Он очень вспыльчив и переменчив в настроениях, как ребенок. Но нет в нем сомнения маленького человека. Он действительно колосс. Об этом говорят его

маленькие острые глазки. В них какой-то трепет и вечный гимн солнцу и жизни».

«Был также в Петропавловской крепости... Скромно построено, по-провинциальному, но как раз все то, что нужно для заточения — именно не для заключения, а заточения человека. И так все это знакомо мне: тюрьма, асфальтовый пол, толстые стены, железные кровати. Сумрак. И полная тишина. Даже часовые в валенках ходили зиму и лето... В этих маленьких клетушках работали Морозов и В. Фигнер, и другие. Могучая сила мысли у человека: думать о необъятных вселенских просторах, об ослепительных лучах света, о синем небе — в закутке, похожем на отхожее место, почти без света, с крысами... Сколько мыслей, сколько воспоминаний, сколько переживаний ощутил я, проходя по коридорам побежденной тюрьмы...»

Память о героическом прошлом всегда бредила душу отца. И навсегда сохранил он прямо-таки нежную любовь к людям революции. Такую же любовь я знаю у ветеранов Великой Отечественной. Поистине нет душевных уз крепче, чем те, что завязались перед лицом смертельной опасности, в праведном бою! Не об этом ли свидетельствуют немногие фразы из дневника Аросева: «Посетили меня «двинцы», бывшие солдаты, повстанцы 1917 года. Очень чистые люди. Какая в них, во всех людях 1917 года, особая революционная деликатность и скромность!»

В октябре 1934 года на собрании московского землячества красногвардейцев Александр Яковлевич делал доклад о плане кинофильма об Октябре, сценарий к которому писал сам. И вот что находим мы затем в его дневнике: «Нет ничего более трогательного, чем сидеть семнадцать лет спустя среди тех самых товарищей, с которыми в пороховом дыму и громе орудий мы шли на твердыни капитализма за то, чтоб теперь могли строить свои гиганты-заводы и гиганты-дома. Красные партизаны — все люди чувствительные, с поэзией внутри, с романтическим отношением к революции, и все — герои!»

В июле 1935 года Аросеву предстояла поездка в Лондон для того, чтобы установить контакт с английским Обществом культурного сближения с СССР. В это время стало известно, что в Швейцарии хранится значительный архив Карла Маркса и его можно купить у деятелей II Интернационала. Сталин распорядился: «Поручить это дело Аросеву».

Следовательно, из Лондона надо было ехать еще в Швейцарию. Но в тот день, когда отец уже собрался на вокзал, его поразили сильный сердечный приступ, какого никогда еще не было. Вызвали врача, сняли боли, но осталась страшная слабость, сонливость. Только через два дня отец смог отправиться в путь.

В Лондоне на приеме у леди Астор Аросев встретился с Бернардом Шоу. Знаменитый писатель был высок и оттого слегка сутулился, как бы снисходя к людям нормального роста. Старчески розовое лицо, зеленоватобелесые глаза, брови острыми внешними концами чуть приподняты, придавая Шоу наружность отчасти бесовскую. Весь облик чрезвычайно приятен. Шоу, как, впрочем, и другие гости леди Астор, например «толстый молодой лорд с лицом короля Людовика XVI», очень интересовались точкой зрения СССР на итало-абиссинский конфликт. Отец ответил, что конфликт этот не останется локальным: ведь не один итальянский фашизм империалистичен!

Внимательный наблюдатель, отец вынес глубокое впечатление от собравшихся у леди Астор гостей: «Они простые — и не простые. Все и в поведении, и в рассуждениях поражают исключительной непринужденностью... Они делают политику без крупницы идеи, как повар варит суп и соображает, какие лучше специи положить...»

Как и ожидал Александр Яковлевич, дело с приобретением архива Маркса затянулось и усложнилось. Немецкие социал-демократы вдруг отказались продавать архив ввиду политических отношений, сложившихся между Коминтерном и II Интернационалом. Однако всегда упорный в достижении цели, Аросев не отступил. Пока решался этот вопрос, Александр Яковлевич, приехавший в Цюрих, встретился там с немецким эмигрантом, левым социал-демократом Дитманом, другом Карла Либкнехта и Розы Люксембург. «Скромный, энергичный старик. Полный силы и горячей привязанности к революционному делу. С ним у меня разговор по поручению Сталина о продаже нам документов — его архива (письма Меринга, Либкнехта, Клары Цеткин, речи членов социал-демократической фракции рейхстага, много материалов, рисующих социал-демократию во время войны и революции, исключительно интересные

материалы). Еще интереснее его рассказы — он охотно говорит. Глаза у него чуточку поднятые с внешних сторон, азиатские. Эспаньолка, усы. Весь чистый внешне и внутренне. Дитман хочет продолжать работу Меринга «История германской социал-демократии». Меринг свой труд довел до 1900 года. Но Дитман не только историк, он жадно следит за действительностью. Рабочее движение ему — свое, интимное дело. Когда я спросил, на каких условиях он хотел бы продать свой архив, он ответил:

— Мне ничего не надо, только дать возможность работать над историей социал-демократии Германии в течение пяти лет».

Невозможно было побывать в Швейцарии и не навестить человека, перед которым отец преклонялся как перед великим писателем современности. Давно знакомый лично с Роменом Ролланом, отец поддерживал с ним постоянную переписку. Летом того года Роллан гостил в Москве и несколько дней прожил в квартире Аросева, прежде чем переехать на дачу к Горькому.

«Опять я в самом гостеприимном доме, какие когда-либо знал, — у Романа Роллана. Весь вечер прошел в интимной беседе. Это тонкий, наблюдательный, одновременно и жизнерадостный, и страдающий мыслитель...»

Тем временем вожди II Интернационала согласились все-таки продать архив Маркса. Решающая встреча с одним из них, Адлером, произошла у отца в Париже, на квартире Леона Блюма*.

«Адлер не сел, а сразу врос в кресло, раздвинул колени, выпятил неопрятный черный жилет и стал говорить со мной на языке, который он считал французским. Леон Блюм, приветливый, тонкий и очень умный, слушал внимательно, не выдавая своего внимания. Словно намазанное колесо вращался немецкий язык Адлера по ухабам французской речи. Долго, исторгая слова, казалось, из глубины кресла, в котором он сидел, Адлер высказывал все условия, какие они нам ставят. Кроме одного — денег. Я поставил этот вопрос. Леон Блюм немедленно отскочил к окну и встал к нам задом...»

И всякий раз, отмечал с юмором отец, едва заходила речь о финансовых вопросах, Леон Блюм изображал полную свою непричастность к этой стороне переговоров.

* Лидер Французской социалистической партии.

Но вот все решено, осталось перевезти архив из Швейцарии. И тут началось нечто вроде небольшого детектива. Отец почему-то на сей раз получил визу не во все города Швейцарии, так что ехать за архивом ему пришлось как бы нелегально. По этой же причине средством транспорта был избран автомобиль советского посольства в Париже. Помогать Аросеву вызвались профессор Рубакин — еще дореволюционный эмигрант, навсегда обосновавшийся в Швейцарии, и один из его сыновей, поселившийся там же (второй его сын жил во Франции).

Итак, отец прибыл в Женеву без визы. Он деликатно объяснил это обстоятельство старшему Рубакину, на что тот ответил, что вполне понимает ситуацию, ибо сами они тут большие конспираторы и с 1918 года все они — «с Советами».

Эти-то «конспираторы» чуть было не провалили дело. Архив должны были привезти в Женеву из другого места. Отец с обоими Рубакиными поехал на вокзал, попросив остановить машину, немножко не доежая. Так нет — подъехали к главному подъезду. Отец все время говорил по-французски — Рубакины добродушно отвечали ему по-русски. Отец умолял не затягивать прощание, чтоб не привлекать внимания вокзальных шпиков, — так нет, прощались долго, по-русски, с повторениями, пожеланиями, просьбами, рукопожатиями... Чтоб отвязаться, отец двинулся в ресторан — «конспираторы» за ним; отец от них; оглянулся — они «знаки вежливости подают». Наконец отец спасся на перроне, смешался с толпой, а тут и нужный поезд подошел с товарищами, которые привезли архив.

Восемь чемоданов! Поместятся ли в машине? Слава богу, поместились, хотя автомобиль готов был треснуть. Но теперь новое волнение: не задержат ли его на франко-швейцарской границе? Шофер посольства, человек опытный, бросил пограничникам магические слова: «Делегасьон советик» — и машину пропустили. Козырнули даже.

Из первого же французского городка чемоданы отправили в Париж багажом, на поезде, сами продолжали путь на машине. До Парижа добрались поздно ночью. Отец вздохнул облегченно. Теперь уж на вполне законном основании архив Маркса поедет с ним в Москву!

Читаю дневник отца и вижу, как проницательна была его мысль. Он знал, он предвидел жестокую схватку двух

миров, он много говорил мне об этом. И застал еще начало этой схватки — первое военное столкновение с фашизмом на земле Испании.

А я не могу отрешиться от мысли, до чего же прочные, хотя и не всегда видимые нити протянуты от прошлого к настоящему. Наше настоящее грозно повелевает нам объединить все, какие только существуют в мире, силы перед смертельной опасностью ядерной войны. Против малочисленной, но могущественной кучки опасных маньяков, отравленных жаждой власти и богатства и противопоставивших себя всему человечеству.

Эпилог

Время, в которое жил мой отец, было особенным. И пожалуй, интересно проследить, как оно, это время, отразилось на нем, выразилось в нем.

Александр Аросев принадлежал к числу тех скромных героев революции, которые явились в нужное время, сделали свое дело — и ушли, не ожидая похвал и рукоплесканий, ушли без орденов, без памятников, без званий. Кроме одного: большевик.

Если в первой российской революции пятнадцатилетний Саша участвовал скорее из мальчишеской удачи, движимый острым чувством справедливости, привитым ему матерью, то участие «товарища Александра» в Февральской и Октябрьской определилось его зрелым сознанием. Двенадцать лет, протекших между пятым и семнадцатым годами, копил Аросев знания, опыт борьбы — и гнев. Двенадцать лет подпольной партийной работы при ежедневном столкновении с мощным аппаратом подавления, когда приходилось всякий раз мгновенно самому выбирать линию поведения и не было никаких скидок ни на возраст, ни на ошибки, воспитали в нем стойкость, зрелость и независимость мышления.

Александр Аросев был среди тех, кто стоял у самых истоков того, чем мы сейчас живы.

Участник трех революций.

Один из первых организаторов боевой мощи только еще зарождающейся Красной Армии, ее технического оснащения.

Комиссар гражданской войны.

Председатель Верховного Революционного трибунала Украины.

Один из первых биографов Владимира Ильича Ленина, зачинателей ленинской темы в литературе.

Один из первых писателей-большевиков, он, перефразируя Маяковского, не «с высот поэзии бросился в коммунизм», а, напротив, в литературу пришел «из коммунизма».

Один из первых советских дипломатов, работавших в до невозможности усложненных условиях. Польша, Венгрия, Чехословакия, Югославия, носившая тогда название Королевство сербов, хорватов и словенцев, и Финляндия, и все три Прибалтийские республики были тогда «географическими новостями». Старым европейским государствам приходилось строить свои отношения и с ними. А уж что говорить о государстве невиданном, самым существованием своим отрицающем все прежние нормы и формы государственного устройства, что говорить о первом в истории государстве рабочих и крестьян!

Все у нас было новым, все было первым: государство, армия, дипломатия, литература...

Оглядываясь на прожитую жизнь, Аросев мог быть доволен. То, что он делал,— он делал хорошо.

Многие образы носил в душе Александр Яковлевич. Вот он рубаха-парень, удалой волгарь, непринужденно хохочущий с друзьями,— а вот сдержанный по-европейски педант с сухим, тяжелым взглядом. То он поет, шутит, острит,— то вдруг впадает в задумчивость, грустит о чем-то...

Отец много думал о нашей стране. Говорил: «Наше государство, все наше общество впервые строится на научных основах, оно рассчитано заранее и впервые предлагает реальный идеал: хорошо жить всем. Это и будет коммунизм!»

Он считал, что каждый человек — талант и к каждому надо относиться бережно, с уважением. Еще он говорил, что каждого из нас сама жизнь толкает на критику, анализ, на размышления. Анализируя прожитое, добавлял: «Мне никогда не удастся перестать мыслить. Мозги мои всегда останутся беспокойными».

Коротка была его жизнь, оборванная в недоброй памяти 1937 году. Но как много вместилось в эти неполные полвека! Хватило бы и на двоих, и на троих...

Оглавление

Часть первая. КОРНИ	3
Часть вторая. СТРАДА	83
Часть третья. НА ЗЕМЛЕ ПОД СОЛНЦЕМ	149
Эпилог	236

Аросева Н. А.

А84 След на земле: Докум. повесть об отце.— М.: Политиздат, 1987.— 238 с., ил.

Профессиональный революционер, один из руководителей Московского ВРК в Октябрьские дни, комиссар гражданской войны, дипломат, писатель — как много вместилось в короткую жизнь (1890—1937) А. Я. Аросева!

Предлагаемая читателю художественно-документальная повесть о нем написана его дочерью, писательницей и переводчицей Н. А. Аросевой. На основании материалов архивов, в том числе и зарубежных, произведений самого Александра Яковлевича, личных воспоминаний она создала обаятельный образ большевика, шедшего в первой шеренге бойцов партии.

Книга рассчитана на массового читателя.

А 0902030000—162
079(02)—87 246—87

ББК 66.61(2)8

Наталья Александровна
Аросева

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Документальная повесть
об отце

На 1-м форзаце: Письмо А. Я. Аросева в МК РСДРП(б) с просьбой выделить деньги на издание листовки.

На 2-м форзаце: Анкета для вступления в члены Общества старых большевиков, заполненная А. Я. Аросевым.

Заведующий редакцией *К. К. Яцкевич*

Редактор *Н. Б. Чунакова*

Младший редактор *Л. Г. Еремينا*

Художник *В. Г. Фескин*

Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*

Технический редактор *Г. М. Короткова*

ИБ № 4674

Сдано в набор 09.03.87. Подписано в печать 03.06.87. А04718. Формат 84×108^{1/2}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 13,13. Усл. кр.-отт. 14,02. Уч.-изд. л. 13,34. Тираж 100 тыс. экз. Заказ № 2498. Цена ~~80~~ коп.

Политиздат, 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Трудового Красного Знамени типография
изд-ва «Звезда», 614600, г. Пермь, ГСП-131,
ул. Дружбы, 34.